

Альфред де Виньи

СЕН-МАР,

ИЛИ
ЗАГОВОР
ВО ВРЕМЕНА
ЛЮДОВИКА XIII



СЕН-МАР

Альфред де Виньи

Альфред де Виньи

**СЕН-МАР,
или
ЗАГОВОР ВО ВРЕМЕНА
ЛЮДОВИКА XIII**

Роман



*Перевод с французского
Е. Гунста и О. Моисеенко*

Минск
«Мастацкая літаратура»
1989

ББК 84.4Фр
В50

Текст печатается по изданию:

Виньи Альфред де. Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII. —
М.: Худож. лит., 1964. — 412 с.

Главы I—XIV перевел *Е. Гунст*,
главы XV—XXVI перевела *О. Моисеенко*

Предисловие и примечания *С. Сказкина*

4703010100—157

В _____ БЗ 89—89

М 302(03)—89

ISBN 5-340-00602-6

© Оформление. Издательство «Мастацкая літаратура», 1989

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Оригинальность этой книги заключается в том, — писал Альфред де Виньи о своем произведении, — что в ней все похоже на роман, тогда как она целиком представляет собой историю».

С этой оценкой романа самим автором мы не можем согласиться, несмотря на колоссальную предварительную работу по собиранию исторического материала, несмотря на явное стремление Виньи быть верным эпохе, ее запросам и волнениям, ее добродетелям и порокам.

Мы далеки от того, чтобы упрекать автора «Сен-Мара» в исторических неточностях. Они допущены сознательно, в целях более совершенного развития фабулы. Виньи хорошо знал, так же как и мы теперь знаем, что старик Басомпьер (на его стороне все симпатии автора), запертый в Бастилии еще в 1631 году, не мог произносить в 1639 году в кругу своих друзей горестную речь против Ришелье и новых порядков; что отец Жозеф, правая рука Ришелье, не мог принимать участия в событиях, разыгравшихся в 1639—1642 годах, потому что он в это время был уже в могиле (он умер в 1638 г.); что казнь Урбена Грандье, которая имела место не в 1639 году, не могла произвести того сильного впечатления на молодого Сен-Мара, которое определило затем его отношение к кардиналу, ибо Сен-Мар, склонивший свою голову на плахе в 1642 году, когда ему было всего двадцать два года, не мог видеть этой казни во время своего путешествия ко двору Людовика XIII в 1639 году и т. д. и т. п. Все это, повторяем, неточности, допущенные автором в интересах большей концентрации и динамичности действия. И просчеты Виньи вытекают не из фактических неточностей. Истоки их значительно глубже.

В связи с этим представляет определенный интерес предпосланное А. де Виньи к одному из изданий романа «Сен-Мар» теоретическое введение, написанное им в 1827 году, «Размышления о правде в искусстве». В этом введении автор излагает свои взгляды на историю вообще и на задачи исторического романиста в частности. Надо отметить, что теоретические взгляды А. де Виньи были ближе взглядам Джембаттисты Вико, чье сочинение «Новая наука» (1725) было опубликовано во Франции историком Жюлем Мишле. В этой работе исторический процесс рассматривался как великий круговорот воз-

никновения, расцвета и упадка цивилизаций, без надежд для человечества выйти из заколдованного круга.

Пессимизм, лежащий в основе мысли Вико об истории, был весьма близок настроению аристократа Виньи, болезненно переживавшего упадок аристократии по рождению, который начался задолго до революции 1789 года. Смысл истории, считает де Виньи, недоступен человеческому разумению. Философские системы до сих пор бессильны были проникнуть в него: «...деяния рода человеческого на мировой арене представляют собой, несомненно, единое целое, но смысл грандиозной трагедии, разыгрываемой человечеством, виден только богу, и лишь в последние дни существования мира он откроет этот смысл последнему человеку».

История в том виде, в каком ее представляет себе историк, следуя фактам, не удовлетворяет и не может удовлетворить мыслящего человека, хочет сказать Виньи. Человек желает чего-то более завершенного, какого-то обобщения той обширной цепи событий, которую он не в силах схватить взглядом, ибо он хотел найти примеры, которые могли бы послужить для извлечения нравственных истин, предчувствуемых им. История, думает Виньи, в поисках правды не в состоянии удовлетворить эту потребность человека; ее может удовлетворить только искусство, создавая нечто большее, чем правду. Оно создает истину, которая является нравственным изображением жизни. Так в искусстве — и в данном случае в историческом романе, по мнению де Виньи, — создается истина, более высокая, чем верность фактам, чем верность правде истории. Человечество «гораздо безразличнее, чем думают, к *реальности фактов* и всегда старается упорядочить событие, чтобы придать ему великий нравственный смысл». «*Искусство* надо рассматривать не иначе, как в связи с его *идеальной красотой*. Надо признать, что *правдивое* является здесь всего лишь второстепенным элементом, это только лишняя иллюзия, которая украшает собой искусство... Искусство вполне могло бы обойтись без него, ибо *истина*, которой оно должно питаться, есть *истина наблюдений над человеческой природой*, а не правдивость факта. Имена исторических персонажей не имеют здесь никакого значения». «Идея — это все. Собственное имя — не что иное, как пример и доказательство идеи». Идея — это замысел художника, создающего из истории художественную картину, приводящую в восторг зрителя.

Конечно, преобразованная путем искусства история делается более впечатляющей и более интересной. И в этом отношении Виньи прав. Он прав и тогда, когда считает, что силой искусства можно достигнуть большего впечатления в воссоздании духа эпохи, нежели сухим историческим описанием, и для такого изображения допустимы исторические неточности. Но автор хочет еще большего: исторической правде он противопоставляет нечто «высшее» — историческую

истину, постигаемую искусством, и поэтому он настаивает на том, чтобы его роман воспринимался как история. Однако эти притязания автора во многом являются несостоятельными.

В самом деле, раз смысл исторического процесса недоступен для человека и развивается по воле божества и этот смысл станет ясен лишь последнему человеку в последние дни существования мира, когда история закончится и намерение «создателя» станет ясным,— что же остается человеку нашего времени черпать в истории, как не нравственные поучения (весьма сомнительного свойства, ибо в истории далеко не всегда добро торжествует, а зло карается). Но в таком случае на первый план выступают не люди, изображенные в романе-истории, а автор такового, ибо только он дает определение того, что добро и что зло, а это, в свою очередь, обусловлено его классовой принадлежностью. Смысл истории, извлекаемый из самой истории и приводящий нас к представлению о всемирно-историческом процессе, развивающемся с естественно-научной закономерностью от одной формации к другой, не мог быть доступен де Виньи, а поэтому и объективная оценка исторических событий была для него невозможна. Вместо этого выступала интерпретация историка, созданная членом феодального класса в пору его упадка, представителем дворянской аристократии, отесняемой процветающей буржуазией и поэтому вздыхающей о прошедших временах, которые не могут возвратиться вновь. А отсюда и пессимизм и печаль, лежащие на всем романе, романтическая идеализация прошлого. В этой идеализации прошлого не все было неверным. Класс феодалов, как класс воинов, воспитывал в своих рядах высокие понятия о воинской доблести, о верности вассала своему сеньору, высокое понятие о чести, которую каждый член этого класса должен был защищать *isque ad mortem*¹. Мы скажем кратко, что во внутриклассовой морали феодалов было больше идейных мотивов, чем в морали буржуазии с ее стремлением переводить все на язык чистогана. Маркс и Энгельс еще в «Коммунистическом Манифесте» писали: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию,

¹ До самой смерти (*лат.*).

прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой»¹.

Мы задаем теперь, после всего сказанного выше, вопрос, остается ли автор историком, хотя бы и в ограниченном смысле, когда он, пренебрегая хронологической точностью повествования, все же пользуется подлинным историческим материалом и живописует события и действующих в ней людей, стараясь верно изобразить эпоху и ее героев?

Ответ на этот вполне правомерный вопрос может быть дан только после того, как мы поймем, чем был этот роман для самого автора, какое место он занимал в его политическом мышлении, ибо исторический роман, как и сама история, всегда наполнен политическим содержанием, хочет этого автор или нет, сознает он это или не сознает.

Здесь мы сразу наталкиваемся на чрезвычайно оригинальную историческую концепцию, лежащую в основе романа. Характеристики де Виньи далеки от привычной трактовки эпохи и ее людей; свет и тени искусно расположены по замыслу художника так, что знакомый с эпохой по источникам историк сразу воспринимает роман как острый политический памфлет.

В самом деле, в основу сюжета романа положен рассказ о действительно имевшем место в 1642 году заговоре любимца короля Людовика XIII, Сен-Мара, против всемогущего кардинала-министра Ришелье. Сам по себе этот факт не заслуживает особого внимания. Такими заговорами полна вся история Франции XVI — XVII столетий. Но из маленького и отнюдь не великого Сен-Мара художник сделал крупную фигуру политика, воплощающего в себе чуть ли не весь протест того времени против всеокрушающей и сводящей всех к одному уровню политики министра, ставшего символом французского абсолютизма. И наоборот, монументальная фигура кардинала Ришелье превращена чуть ли не в жалкого интригана, в политического выскочку, в честолюбца, хитростью и лестью взбирающегося на головокружительную высоту почета и власти.

Остальных действующих лиц автор романа делит на две группы. Одна — сторонники кардинала, другая — его противники, друзья и близкие Сен-Мара. Если Виньи не решается до конца развенчать самого Ришелье и не может отказать ему в своеобразном величии, мрачном и жестоком, то все окружающие его, во главе с отцом Жозефом, оказываются негодьями, интриганами, продажными людьми, готовыми на всякую низость и жестокость для того, чтобы заслужить похвалу своего господина, которого они, впрочем, тоже готовы предать в ту минуту, когда для них станет ясно, что его власть, осно-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 426.

ванная в конце концов на королевском фаворе, начинает клониться к упадку. Против них стоят друзья и близкие Сен-Мара и их окружение — веселая и блестящая молодежь, жаждущая подвигов и славы, расточительная и великодушная, рыцарски благородная и готовая на самопожертвование и даже на смерть, когда задета ее честь. Контраст проведен и дальше. Вокруг Ришелье и возглавляемой отцом Жозефом толпы его приспешников нет ни одной женской фигуры, — какая-то спаленная демоном властолюбия пустыня, в которой не растут цветы жизни и не благоухает любовь. Грязный и вонючий капюшон, отец Жозеф, на вопрос о том, что такое любовь, отвечает, что это какая-то злая горячка, которая воспалит мозг.

Женщины романа — все сгруппированы вокруг Сен-Мара и так или иначе прикосновенны к его судьбе. И Виньи не скупится на краски. Нежной акварелью романтика он создает тонкие образы героинь, от королевы Анны Австрийской и невесты Сен-Мара Марии Мантуанской до несчастной возлюбленной Урбена Грандье, безумной и прекрасной монахини Жанны де Бельфиль. Сама фабула романа — какое-то непрерывное нагромождение преступлений и политика, удушающего свободу, благородство, вольную жизнь старого дворянства, независимость древних и почтенных учреждений и в конце концов задыхающегося в созданной им самим смрадной теснине подлости и предательства. И наконец еще одна черта, которая дает нам ключ ко всей исторической концепции романа: на всем этом произведении лежит колорит безнадежного отчаяния. Автор черпает свое вдохновение в — увя! — угасших идеалах минувшего навсегда средневековья и напрасно вопрошает о смысле всей человеческой истории, ибо в ответ на это может получить лишь «вечное молчание божества». Никакого другого ответа поэт и романист не может получить, раз он не понимает будущего, не принимает настоящего и убежден, что если в человеческой истории и было что-либо прекрасное, то оно было и прошло и вновь никогда не возвратится.

Откуда эти потоы пессимизма и меланхолии, откуда эта неприязнь к будущему, презрение к настоящему и страстное желание уйти в эстетически преображенное прошлое, затушевать свой протест против действительности созерцанием того, что миновало безвозвратно?

Альфред де Виньи (1797—1863) принадлежал к старинному провинциальному дворянскому роду и гордился своим происхождением, быть может, даже преувеличивая древность своего дворянства, подчеркивая достоинство того сословия, чье господство было сметено вихрем Французской буржуазной революции 1789 года. За революцией последовали будни буржуазного скопидомства, мещанские добродетели накопления, прикрытые громкими фразами обирательство и жульничество, жертвами которых оказались и уцелевшие остатки французского дворянства. То, что так хорошо подметил в той же

эпохе и реалистически отразил в «Человеческой комедии» Бальзак, то дал в переводе на язык меланхолической лирики Альфред де Виньи, скорбный мыслитель и поэт, передавший в образах философского пессимизма и практической бездейственности обреченность класса, сознающего, что его роль сыграна до конца.

Будущее для Виньи не существовало. Слова «революция» и «социализм» наполняли его ужасом. Он жил прошлым. Он находил прекрасное в героике дворянской вольницы феодальных времен, в монархии, окруженной старинными учреждениями, державшейся не хартиями и конституциями, а феодальной верностью вассалов своему сюзерену, феодальным договорам короля и ему равных, его пэров, таких же, исполненных собственного достоинства и независимых государей, как и сам король. Но эти времена давно миновали.

Альфред де Виньи не был тупоголовым реакционером, мечтавшим попросту о восстановлении предреволюционных порядков. Революция вовсе не была случайностью. Она была своего рода наказанием за прегрешения позабывшей свой долг, свою честь и свою былую славу монархии. Падение ее началось давно, с тех пор, думает Виньи, когда на место старой почтенной феодальной монархии, построенной на равенстве и уважении, царивших в отношениях между сеньором и вассалом, стала упивающаяся низкопоклонничеством и лестью абсолютная монархия, уничтожившая старинные доблести, вольный дух и независимость дворянства. Эта монархия была создана деятельностью и злодеяниями Ришелье, и поэтому в его политике следует искать начало тех преступлений, которые потом были омыты кровью революции.

Мы теперь понимаем, почему поэт и лирик Альфред де Виньи начал писать роман из эпохи Ришелье, почему он дал такое странное на первый взгляд освещение событий и людей. Подтверждение такой трактовки он нашел в мемуарах того времени, созданных в среде, враждебной министру-кардиналу. В свою очередь, вельможи, современными Ришелье, охотно подписались бы под всеми обвинениями романиста XIX века. Они согласились бы с ним, что политика Ришелье погубила старую неписаную конституцию феодальной монархии и на место дворянских вольностей водрузила гнет неограниченного произвола абсолютизма.

«А вы что сделали, подавляя нас? Вы отрубили руку у королевской власти и ничего не даете взамен. Да, теперь я не сомневаюсь, кардинал-герцог до конца осуществит свое намерение, знатные семьи покинут свои земли, лишатся своих поместий, а тем самым лишатся и своего могущества; королевский двор теперь не что иное, как дворец, где все чего-то добиваются. Потом, когда при дворе останется только королевская свита, он превратится просто в прихожую; знатные имена послужат к облагораживанию пошлых должностей; но

кончится тем, что в силу неумолимости обратного воздействия должности опошлят знатные имена. Когда дворянство лишится семейных очагов, его могущество превратится в ничто и будет зависеть только от полученных должностей, и если народ, на который дворянство уже не будет иметь никакого влияния, вздумает взбунтоваться...» Последние слова, произнесенные Басомпьером, принадлежат, конечно, романисту XIX века, утраченному перспективой революции. Дворяне XVII века не так уж боялись поднимать «чернь» против своих противников, и междоусобные войны этого времени полны подстрекательствами к мятежу народных масс, задавленных повинностями и налогами и легко поддававшихся на демагогию феодальных вождей, суливших им всяческие блага и затем их обманывавших. Но Басомпьер не только жалуется на новшества — им он противопоставляет старые времена, и симпатии автора целиком на его стороне...

«Вы едете ко двору; в наши дни это скользкая стезя. Мне жаль вас: двор не остался таким, каким был прежде. Раньше он был просто гостиной короля, где король принимал своих друзей, равных ему по рождению: дворян из знатных семей, пэров, которые посещали его, чтобы засвидетельствовать свою любовь и преданность; они играли с ним в карты, сопутствовали ему в увеселительных прогулках и ничего от него не получали, кроме позволения повести за собой вассалов и вместе с ними сложить голову на королевской службе. Почести, которых удостоивался знатный человек, не преумножали его богатства, потому что за эти почести он расплачивался из собственной мощны; каждый раз, когда я получал чин, мне приходилось продать какое-нибудь имение; звание полковника швейцарских стрелков обошлось мне в четыреста тысяч экю, а ради крестин ныне здравствующего короля я заказал себе платье в сто тысяч франков».

Все это исторически верно и точно с точки зрения Басомпьера и его духовного потомка Альфреда де Виньи. Но верно ли это в действительности?

Феодально-абсолютистская монархия XVI — XVIII веков в Европе была политическим новообразованием. Вместо феодального распыления раннего средневековья она концентрировала волю класса феодалов в могущество одного из феодалов, который превратился в неограниченного монарха «милостью божией». Но абсолютная монархия пришла не сразу. В течение долгого времени короли вели упорную борьбу с верхушкой феодального класса, приводя к повиновению тех самых своих «друзей», своих «пэров», которые считали себя равными королю и никак не желали понять, что их время уже миновало. Если короли одержали верх над феодалами, то это произошло потому, что у них оказался могущественный союзник. Таким союзником было новое хозяйство и его организатор — буржуазия.

Опираясь на города, а им для торговли было необходимо объединение крупных территорий, короли сломали власть феодальной вольницы, которая, разделяя страну бесконечными заставами, войнами, пошлинами, взимавшимися на каждом шагу, а подчас и прямым грабежом зазевавшихся купцов, мешала развитию торговли. Рост городов и промышленности, возникновение в городах зачатков капиталистического хозяйства дали в руки королей могучее средство — деньги. Денежное хозяйство позволило королю собирать налоги с самых отдаленных территорий, ибо деньги перевозить и концентрировать в одном месте легче, чем продукты. Деньги освободили короля от необходимости созывать феодальное ополчение своих строптивых вассалов и позволили перейти к наемному, послушному войску.

Все это неизбежно должно было привести к централизации и концентрации власти.

Если буржуазии концентрация власти давала возможность беспрепятственного использования внутреннего рынка, помощь государства в области внешней торговли и гарантию спокойной эксплуатации низших слоев населения, то основная масса дворянства (крупные феодалы ведь были в большей или меньшей степени уничтожены) жила за счет ренты со своих крестьян и службой в королевской армии (последнее являлось важным источником дворянского существования) и находилась в силу объективных условий между крестьянством и крепнущей буржуазией. Поэтому в усилении королевской власти она видела гарантию сохранения своего привилегированного положения. Буржуазия, не чувствуя себя еще достаточно сильной для того, чтобы вырвать власть из рук дворянства, предпочитала, как меньшее зло, налоговую политику централизованного государства прямым грабежам и насилиям «доброе старое время», той самой феодальной вольницы, о гибели которой так скорбел Басомпьер.

И вовсе не случайным было то обстоятельство, что такие министры абсолютной монархии во Франции в пору ее подъема, как Ришелье и Кольбер, были: один — выходцем из рядов среднего дворянства, другой — сыном французской буржуазии.

Но Альфред де Виньи прав. Абсолютная монархия была исторически последним этапом дворянской власти. Дальнейшее экономическое усиление буржуазии приведет в следующем, XVIII веке к потрясению основ абсолютной монархии. Буржуазия протянет руку к власти, и Французская революция 1789 года даст ей эту власть.

При изучении этой эпохи историк находится в очень выгодном положении. Ришелье и Кольбер, министры Людовика XIII и Людовика XIV, оставили нам большое литературное наследство. Сохранилась не только их колоссальная должностная переписка, но и ряд документов, излагающих принципы их политики. От Ришелье оста-

лись многотомные мемуары и небольшое, но примечательное произведение, его «Политическое завещание». У Альфреда де Виньи Ришелье часто говорит словами, которые романист прямо заимствует оттуда. И это естественно. Ришелье изложил здесь существо всей своей политики. Ришелье ясно осознал историческое значение абсолютизма, как средство одинаково важное в его время и для дворянства, и для буржуазии. В его учении «о государственном интересе», о «благое государства» государство становится силой, которой подчиняется все остальное: деятельность сословий, корпораций и учреждений, свобода и счастье отдельного человека. Перед лицом абсолютистского государства и его интересов умолкают жалость и милосердие к людям и остается неумолимая и беспощадная строгость, холодный и не допускающий никакой снисходительности расчет. «Христиане должны забывать оскорбления, наносимые им лично, но правители обязаны помнить проступки, которые затрагивают общие интересы...» — говорит Ришелье в своем «Политическом завещании». «В делах государственных преступлений нужно закрыть двери жалости, презирать мольбы заинтересованных лиц и речи невежественной черни...» — говорит он там же. Само собой разумеется, что его учение о государстве — это лишь выраженное в абсолютной форме господство классового интереса дворянства, как класса в целом, в жертву которому должен быть принесен интерес отдельного человека, хотя бы и принадлежащего к этому господствующему классу.

В полном соответствии с этой теорией протекала политическая деятельность Ришелье, которой не в малой степени способствовали его личное безмерное честолюбие, его суровая, не знающая пощады воля, исключительная изворотливость и умение ответить на интригу еще более искусной интригой. Феодалная знать, утерявшая политическую независимость и власть на местах, теснилась теперь при дворе, добиваясь чинов и пенсий, высоких назначений и просто подачек; здесь плелись тончайшие сети искусных интриг, у которых была одна цель — добиться благосклонности короля, подставить ножку своему сопернику, свалить ненавистного министра и его партию. Но и старые феодальные права не были еще забыты до конца. Знать не мирилась с новыми порядками и вовсе не желала принимать теории Ришелье. Плелись не только интриги, но и заговоры с целью овладеть слабым королем и поставить у власти своих сторонников. Таким примером является мятеж аристократической партии во главе с матерью короля Людовика XIII Марией Медичи и братом короля Гастоном Орлеанским, при содействии губернатора провинции герцога Монморанси, разгромленный Ришелье в 1632 году в Лангедоке.

В своем «Политическом завещании», подводя итоги своей деятельности, Ришелье писал:

«Когда вы, ваше величество, решили предоставить мне доступ в ваши советы и оказать мне великое доверие в управлении вашими делами, я поистине могу сказать, что... вельможи вели себя так, как если бы они не были вашими подданными, а наиболее могущественные губернаторы провинции чувствовали себя на своих должностях так независимо, как бы они были сами государями...» Этот беспорядок до такой степени успел укорениться за время после смерти Генриха IV (1610), что приход к власти кардинала Ришелье (1624) казался придворным, привыкшим к частым сменам министров, временным, его попытки твердой рукой ввести порядок и повиновение — недолговечными.

Заключая это вступление к «Политическому завещанию», Ришелье в кратких словах резюмировал программу своей политической деятельности за восемнадцать лет своего правления (1624—1642): «Я обещал вам употребить все свое искусство и весь свой авторитет, который вам угодно было дать мне, на то, чтобы сокрушить партию гугенотов, сломить спесь вельмож, привести всех ваших подданных к исполнению своих обязанностей и возвысить имя ваше среди других наций на ту высоту, на которой оно должно находиться».

Все это были не только одни слова, но и дела. Рассмотрим их вкратце в том порядке, какой наметил в приведенной выше фразе сам Ришелье.

«Я,— говорит он,— употребил все свое искусство... чтобы сокрушить партию гугенотов...»

Французский протестантизм зародился, как и повсюду в Европе, в недрах феодального общества и был первым выражением недовольства, которое шло из глубин нарождающейся буржуазии против феодальной эксплуатации, осуществляемой самой крупной феодальной организацией — католической церковью. Но французская буржуазия оказалась еще слишком слабой, чтобы направить этот протест не только против церкви, но и против феодализма вообще. Во Франции «ересь» захватила, помимо буржуазных кругов, и часть дворянства, в особенности ту ее часть, которая еще крепко сидела на земле в своих провинциях, была далека от двора и мечтала, обогатившись конфискацией несметных земельных богатств церкви, укрепить свои позиции по отношению к усилившейся королевской власти. Выросшая из недр буржуазии реформа грозила во Франции стать в руках дворянства знаменем «феодальной реакции» в борьбе против королевского абсолютизма. Поэтому протестантизм во Франции стал скоро терять почву под ногами. Та часть дворянства, которая уже связала свою судьбу с королем, и буржуазия северной Франции, работавшая на внутренний рынок и заинтересованная в единстве страны, отошли от протестантизма. Протестантизм во

Франции стал уделом южнофранцузского дворянства, все еще кренко связанного с землей. Тон в религиозном движении XVI века во Франции задавали феодалы, организовавшиеся под знаменем религии против королевского абсолютизма. Наоборот, католицизм стал лозунгом «единой Франции». «Единый король, единый закон и единая вера» — таково политическое содержание правоверия против гугенотской «ереси». Междоусобицы разорили страну и привели ее на край гибели. Центристемительные силы все же одержали верх, и сам глава гугенотов Генрих Бурбон, король Наваррский, которому по наследству достался престол Франции, понял, что быть французским королем может только католик. Париж не открыл ему ворот, прежде чем он не согласился переменить веру. А так как Париж «стоил католической мессы», то Генрих Бурбон стал королем Франции — Генрихом IV.

Но партия гугенотов была еще сильна. Умный и ловкий политик, Генрих IV, учтя всеобщее утомление и жажду мира, пошел на компромисс. Нантский эдикт 1598 года признавал до известной степени за гугенотами свободу вероисповедания. Им дали право иметь в качестве опоры и гарантии ряд крепостей, в том числе торговую гавань и крепость Ларошель, держать в них свои гарнизоны и устраивать каждые три года политические съезды для решения общих дел.

После смерти Генриха IV знать и принцы крови снова подняли смуты. Готовая организация гугенотов немало содействовала строптивости вельмож, и их послушание королю покупалось дорогой ценой всевозможных пенсий и подачек. Религиозные войны XVI века выродились в придворную склоку XVII века, целью которой была не столько борьба с абсолютизмом, сколько расхищение казны.

Получив власть, Ришелье решил покончить с гугенотами. В 1628 году Ларошель была взята, ее укрепления скрыты, замки гугенотских сеньоров разрушены, их политические собрания запрещены. Но гугенотскую «ересь» Ришелье в общем не преследовал. Для этого политика в красной кардинальской мантии религия была тоже прежде всего политикой. Раз аристократическая оппозиция была сломлена и дворянство, потеряв возможность рядить защиту феодальных вольностей в религиозное одеяние, стало толпами возвращаться к вере короля, в лоно католической церкви, — можно было оставить в покое прочих кальвинистов, «религиозных гугенотов», эту «мещанскую веру» буржуа и мелких ремесленников. Что, кстати сказать, способствовало примирению с абсолютизмом гугенотской буржуазии.

Гугеноты были обезврежены, но зато перед Ришелье и абсолютизмом выросла другая опасность, шедшая со стороны, казалось бы, самого верного союзника королевской власти — католической церкви.

Потрясенная, но не уничтоженная реформацией, католическая церковь проявила удивительную живучесть и выработала в себе перед лицом опасности великую силу сопротивления. Монашеские ордена, усиленные новой боевой организацией иезуитов — воинов Иисуса, — устремились во второй половине XVI и в XVII веке в бой с протестантской ересью, дабы вырвать человеческую душу из огня вечного заблуждения, а папские финансы — из мук перманентного кризиса.

Абсолютная монархия желала иметь в католической церкви прочную опору, но не терпела в ней соперницу. Ришелье позволял монахам устраивать всевозможные душеспасительные процессии и зрелища, выражал радость по поводу всякой гугенотской души, возвращенной к правосерию, особенно если душа эта была дворянской, но монахам воли не давал и зорко следил, чтобы французская церковь не выходила из подчинения государству и не делалась проводником напской политики в ущерб прямым интересам Франции.

А между тем многочисленное монашество, соперничавшее с большим духовенством, готово было придрататься к каждому случаю, чтобы показать свое усердие в деле служения церкви и усилить свой авторитет в низших слоях населения, все еще невсжественного и суеверного. В XVI и XVII веках мы наблюдаем любопытное явление — большое распространение процессов против ведьм, колдунов, необычайную популярность сатаны и его приспешников, с которыми храбро сражаются «святые» отцы-капуцины, доминиканцы, францисканцы, премонстранты и др., которые прилежно занимаются наукой о дьяволе и его кознях, знают по именам больших и малых демонов — его помощников, ведут с ними переговоры через людей, будто бы одержимых нечистой силой, и культивируют особую, сатанинскую, медицину — искусство изгонять бесов из людей священными заклинаниями.

Таков смысл всего дела кюре Урбена Грандье, составляющего содержание одной из первых глав романа и психологически мотивирующего дальнейшую борьбу героя романа, Сен-Мара, с кардиналом. Это дело остается во многих деталях до сих пор загадкой. Но существо его ясно. Это как раз один из многих процессов против дьявола, «избравшего» в данном случае своей плотской оболочкой несчастного священника и сделавшего его орудием великого соблазна.

В XVII веке полем для своей деятельности «дьявол» избрал женские монастыри. До реформации монастырь не очень стеснял светскую жизнь благородных дам и девушек. Монахини принимали гостей, устраивали балы, танцевали и т. д. Такими монастыри оставались и в XVI веке, несмотря на постановления Тридентского собора. Но в XVII веке католическая церковь наложила на них свою суровую руку. Строгие уставы реформированных монастырей высокой

стенной отгородили от мира монахинь, значительная часть которых происходила из бедных дворянских семей и шла туда потому, что не могла найти себе в мире места, приличного для своего звания.

В монастырях стали происходить странные истории. Неудовлетворенная жажда любви и материнства, превращенная в экстаз любви к небесному жениху, часто изливалась на отца-духовника, единственного мужчину, появлявшегося в монастыре и принужденного в силу своих обязанностей выслушивать тайную исповедь блуждающей по самым интимным уголкам женской души. Дело принимало опасный оборот, когда таким отцом оказывался блестящий, красивый и образованный священник. Именно так и обстояло дело с Урбеном Грандые. Нужно прибавить только, что сам Грандые вовсе не был такой овечкой, какой изобразил его Альфред де Виньи. Он вел себя, по-видимому, чересчур галантно и в монастыре, и за его стенами, восстановил против себя многих мужей, жены которых были без ума от изящного кюре, и сделался предметом насмешек среди протестантов, к которым принадлежала большая часть населения в Лудене. Последнее обстоятельство, вероятно, и послужило главным основанием для того, чтобы дать ход делу, которое грозило кончиться великим поруганием церкви и соблазном для верующих. Надо было доказать, что Грандые действует не сам, а по наущению исконного врага рода человеческого — дьявола, и это было «доказано».

Читатель, интересующийся подробностями этого и подобных ему дел, может найти их в интересной книге «Ведьма» французского историка Мишле, многократно переведенной на русский язык. Для нас важно отметить здесь одно. Если на этот раз пришлось жестоко поплатиться Урбену Грандые, против которого свидетельствовали «бесы» через отвергнутую им монахиню Жанну де Бельфиель, а не самой одержимой, то это объясняется тем, что неосторожный кюре чересчур свысока третировал монахов и вел себя вообще слишком неосторожно. К тому же Ришелье желал отомстить Урбену за будто бы написанный им против него памфлет.

Перейдем теперь ко второй фразе «Политического завещания», где Ришелье говорит о том, что он употребил все свое искусство для того, чтобы сломить спесь вельмож и привести всех подданных короля к исполнению своих обязанностей.

Сломить спесь вельмож — такова была задача, ставшая вслед за разгромом гугенотов. Ибо спесь вельмож, их неповиновение, их интриги были лишь жалким отражением в обстановке двора, оппозиции феодалов, в которой Ришелье усматривал мятеж, а они сами — лишь справедливую защиту своих исконных прав.

В абсолютной монархии индивидуальное благополучие дворянина зависит от королевского благоволения. Двор становится настоящим правительством, интриги и фавор — средством движения вверх

по ступеням придворной иерархии. Слабый король — широкое поле для интриг честолюбцев, и слабые стороны короля всячески поддерживаются для этих же целей. Отсюда мы можем понять значение заговора Сен-Мара и расправы Ришелье, так резко осуждаемой Альфредом де Випьи, целиком ставшим на точку зрения феодальной аристократии того времени.

Людовик XIII был бы, вероятно, бравым капитаном гвардейской роты, если бы случайность рождения не сделала его королем Франции и не наградила его болезненным и слабым телом. Он любил военную жизнь и мелочи военной службы, был отважен в бою, несколько мрачен и скрытен. В государственных делах разбирался плохо и охотно сложил тяжелое бремя королевских обязанностей на плечи своего министра и всецело ему подчинился. Иногда в кругу своих интимных друзей Людовик XIII не прочь был жаловаться на деспотизм министра, тогда многие из его слушателей склонны были делать неправильные выводы об упадке влияния Ришелье, но всегда ошибались. Министр умел дать почувствовать своему государю, что без него он, король, бессилен, и странная близость этих двух людей, один из которых повелевал, пользуясь властью другого, обладавшего полнотой власти, но отказавшегося от того, чтобы царствовать даже над самим собой, продолжалась до почти одновременного конца их жизни (Ришелье умер 2 декабря 1642 г., а Людовик XIII — 14 мая 1643 г.).

Но эта власть вовсе не легко давалась кардиналу. Он был всегда настороже, опасаясь, как бы чье-нибудь влияние не оказалось в одну из таких минут королевской досады достаточным для того, чтобы король подписал указ об его отставке, ибо он знал, что «с таких высот не спускаются со ступеньки на ступеньку, а падают прямо в бездну». Большое внимание поэтому кардинал уделял сердечным привязанностям короля, холодного к своей жене, равнодушного к женщинам вообще, но склонного к сентиментальности. Одно время его сердечной привязанностью была мадемуазель Отфор, которую он так и не решился сделать своей любовницей. Когда она показалась кардиналу слишком самостоятельной и потому опасной, он постарался поссорить друзей, и одно время место Отфор заняла красавица Лафайет, которая искренне любила короля, была привязана к его жене Анне Австрийской и охотно выслушивала от него «жалобы» на кардинала. Когда последнему это стало известным, он постарался удалить ее в монастырь.

Ришелье решил сам заняться подысканием королю друга. Так как король все еще дружил, ссорился и мирился с мадемуазель Отфор, Ришелье обратил его внимание на молодого Сен-Мара, сына маркиза д'Эффа, бывшего супоринтенданта финансов. В марте 1638 года восемнадцатилетний Сен-Мар получил звание заведующего

гардеробом короля, и с этого времени король стал осыпать милостями нового любимца. В 1639 году назначил его обер-шталмейстером Франции. Привязанность к Сен-Мару заполнила все мысли короля. Мадемуазель Отфор он сказал, что «она не может больше рассчитывать на его дружбу, ибо он отдал свое сердце целиком Сен-Мару». Новые друзья временами ссорились, и в таких случаях посредником выступал сам кардинал. До нас дошла забавная записка, свидетельство одной из таких ссор:

«Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем перед всеми, кому сие надлежит ведать, что мы довольны друг другом и что мы никогда не находились в таком добром согласии, как сейчас. В удостоверение чего мы подписали данное свидетельство.

Сен-Жермен, 26 ноября 1639 .

Подписи:

Людовик

и «по моему приказу» *Эффиа де Сен-Мар»*.

Таково было начало дружбы, оказавшейся роковой для Сен-Мара. Ришелье смотрел на него как на свою креатуру и был очень раздражен в тот день, когда он заметил, что мальчик пытается играть какую-то политическую роль. Он вздумал третировать его, как мальчишку, посмеялся над его любовью к Марии Мантуанской. Мальчик решил отомстить. Тогда им воспользовались заматерелые в придворных интригах многочисленные враги кардинала. Главная опасность для Ришелье на этот раз заключалась в том, что сам король оказался отчасти втянутым в комплот, во главе которого стояли брат короля Гастон Орлеанский, царственный бездельник и интриган, трус и прирожденный предатель, и старая придворная лисица, герцог Буйонский. Ободренные полусогласием короля, они заручились поддержкой испанского правительства.

С точки зрения Ришелье, это была государственная измена, с точки зрения заговорщиков, которые никак не могли понять, что старые времена прошли, это был обыкновенный и вполне допустимый ход одной партии против другой. Комплот был раскрыт. Ришелье раздобыл даже копию договора с Испанией, и участь Сен-Мара была решена. Так как брат короля, выдавший все подробности заговора, и герцог Буйонский не могли быть казнены, за все ответили Сен-Мар и его друг де Ту, случайно вовлеченный в тайну заговора и пожелавший разделить вину и наказание со своим другом, хотя он в свое время и убеждал его не подписывать договора с испанским министром Оливаресом.

Подробности событий изложены в романе довольно точно, так как Виньи использовал почти все материалы по этому делу. Расправа Ришелье была казнью «изменников государству». Таким путем Ри-

шелье осуществлял еще один пункт своей программы: «Привести всех подданных короля к исполнению своих обязанностей».

Внешняя политика Ришелье была наиболее удачной стороной его политической деятельности. Вмешавшись в Тридцатилетнюю войну, он привлек на свою сторону протестантских князей Германии и Швецию и подготовил таким путем поражение австрийско-испанских Габсбургов, полуторавековых соперников французской монархии. Гегемония Франции в Европе с середины XVII века была делом его рук.

Но это было достигнуто путем полной покорности всех и вся внутри страны, ценой крайнего напряжения ее материальных сил. Средством для приведения всех к покорности было централизованное бюрократическое управление. Вместо прежних губернаторов, назначавшихся из местной аристократии, Ришелье стал посылать из центра на места покорных чиновников-интендантов, в руках которых скоро оказался высший надзор за судом, администрацией и финансами. Высшим судебным учреждениям Франции — парламентам, которым принадлежало право делать представления королю о несогласии его указов со старинными обычаями и правами королевства, Ришелье зажал рот, запретив им пользоваться этим правом. Народные массы должны были безропотно нести всю тяжесть блестящей внешней политики монархии и должны были по-прежнему выполнять повинности в пользу господствующего класса абсолютной монархии — дворянства.

С. Д. СКАЗКИН

СЕН-МАР

Король был негласным главою этого заговора. Обер-шталмейстер Сен-Мар был его душою; именем, которым прикрывались заговорщики, было имя герцога Орлеанского, единственного брата короля, а советником их являлся герцог Буйонский. Королева знала о готовящемся и знала имена заговорщиков.

*«Мемцары об Анне Австрийской»,
сочинение г-жи де Мотевиль*

Кого же здесь обманывают?

«Севильский цирюльник»





Глава I

П Р О В О Д Ы

Fare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee well.

Lord Byron

Прощай, и если навсегда,
То навсегда прощай...

Байрон

Знаком ли вам край, который прозвали садом Франции, край, где так легко дышится среди зеленеющих равнин, орошаемых полноводной рекой? Если вам доводилось путешествовать летней порой по прекрасной Турени, вы долгое время с восторгом следовали по берегу тихой Луары и не могли решить — какому из ее берегов отдать предпочтение, чтобы там забыться вдаль от людей возле любимого существа. Когда едешь вдоль медлительных желтых вод прекрасной реки, невозможно оторвать взгляд от очаровательных уголков, разбросанных по правому берегу. Долины со множеством уютных белых домиков, вокруг которых раскинулись перелески и холмы, то покрытые желтеющими виноградниками, то усыпанные белыми цветами вишневых садов, старинные стены, увитые молодой жимолостью, сады с кустами роз, над которыми вдруг возносится стройная башенка, — все это напоминает о тучности земли, о древности здешних построек и внушает сочувствие к труду местных предприимчивых жителей. Все пошло им на пользу; любя свой прекрасный край, единственную французскую провинцию, на которую никогда не ступала нога иноплеменного завоевателя, они, видимо, искони заботились о том, чтобы ни малейший клочок земли, ни малейшая песчинка не пропадали зря. Вы думаете, в этой древней полуразрушенной башне живут только отвратительные ночные птицы? Нет. Заслышав топот лошадей, из-за густого плюща, побелевшего от придорожной пыли,

высовывает головку улыбающаяся девушка; когда вы поднимаетесь на холм, ошетилившийся виноградными лозами, легкий дымок вдруг оповещает вас о том, что у ваших ног находится печная труба, — оказывается, что даже скала обитаема и что семьи виноградарей ютятся в ее глубоких педрах, где их по ночам укрывает кормилица-земля, которую они заботливо обрабатывают днем. Славные туренцы просты, как их жизнь, ласковы, как воздух, которым они дышат, и крепки, как могучая почва, которую они возделывают. На их смуглых лицах не видно ни холодной неподвижности жителей севера, ни излишней живости южан; в их облике, как и в их характере, есть нечто простодушное, как в истинном народе святого Людовика:* темно-русые свои волосы они все еще носят длинными, зачесывая их за уши, — как на каменных изваяниях наших древних монархов; говорят они на чистейшем французском языке, не растягивая, не глотая слова; колыбель французского языка здесь, рядом с колыбелью монархии.

Зато левый берег Луары кажется внушительнее: вдалеке виднеется Шамборский замок, синие крыши и маленькие купола его напоминают обширный восточный город; в стороне — замок Шантлу, простерший к небу свою изящную пагоду. Неподалеку от этих дворцов более строгое сооружение влечет к себе взор путешественника своим великолепным местоположением и массивным обликом: это Шомонский замок. Воздвигнутый на берегу Луары, на самом возвышенном месте, он опоясывает широкую вершину холма толстыми стенами с огромными башнями; башни кажутся еще выше, благодаря темным колокольням, придающим зданию монастырский, церковный вид, который присущ всем нашим древним замкам и сообщает пейзажам большинства провинций более величественный характер. Это старинное поместье окружено темными густыми деревьями, которые издали напоминают перья на шляпе короля Генриха; у подножья холма, на берегу, раскинулась живописная деревня, и кажется, будто ее белые домики поднимаются из золотого песка; деревня соединена с замком, который оберегает ее, узкой тропинкой, вьющейся среди скал; на полпути между замком и деревней стоит часовня: направляясь к ее алтарю, сеньоры спускались вниз, а крестьяне поднимались вверх, — это место равенства, как бы нейтральный

городок между великолепием и нищетой, не раз воевавшими друг с другом.

Здесь-то, в июньский полдень 1639 года, когда с башни старинного замка, как всегда, прозвонил колокол, сзывая его обитателей к обеду, произошло отнюдь не обычное событие. Многочисленная челядь заметила, что голос маркизы д'Эффия, когда она читала утреннюю молитву в присутствии собравшихся, звучал не столь уверенно, что на глаза ее набегали слезы, а траурное одеяние было еще строже. И ее слуги, и слуги-итальянцы герцогини Мантуанской, которая временно жила тогда в Шомоне, с удивлением заметили, что в замке готовятся к проводам. Старый слуга маршала д'Эффия, скончавшегося полгода тому назад, вновь надел сапоги, которые до этого решил не надевать больше никогда. Этот славный малый, по имени Граншан, неизменно сопровождал главу семьи во всех походах и в деловых поездках; в одних он был его оруженосцем, в других — секретарем; он недавно возвратился из Германии и сообщил жене и детям подробности кончины маршала, который умер у него на руках в Луцельштейне; он принадлежал к числу тех преданных слуг, которые стали редки во Франции, — такие слуги горюют горестями своих господ и радуются их радостям, мечтают о женитьбе молодых хозяев, чтобы воспитывать малолетних отпрысков, бранят детей, а иной раз и отцов, жертвуют ради них жизнью, в годы смут служат им без жалованья и работают, чтобы их прокормить, в спокойные времена всюду их сопровождают, а на обратном пути, завидев замок, говорят: «Вот наши виноградники». У него было мужественное, очень смуглое незаурядное лицо и серебристо-седые волосы; несколько еще не побелевших прядей, как и густые брови, придавали ему на первый взгляд чуть суровый вид; но это первое впечатление смягчалось незлобивым выражением глаз. Голос его, однако, был грубым. В тот день он очень торопил с обедом и лично распоряжался челядью, одетой, как и он сам, во все черное.

— Живее, живее, — говорил он, — подавайте обед, а Жермен, Луи и Этьен пусть седлают своих коней; нам с господином Анри к восьми часам надо быть далеко отсюда. А вы, господа итальянцы, доложили вашей молодой госпоже? Бьюсь об заклад, что она сидит

и читает со своими дамами где-нибудь в парке или на берегу реки. Она всегда приходит к столу после первой перемены, чтобы ради нее все встали со своих мест.

— Дорогой Граншан, не говорите так о герцогине, — шепотом сказала проходившая мимо молодая горничная, — она чем-то очень расстроена и, вероятно, не выйдет к обеду. *Santa Maria!*¹ Мне вас так жаль! Выезжать в пятницу, тринадцатого числа, да еще в день святых великомучеников Гервасия и Протасия! Я все утро молилась за господина де Сен-Мара, но, признаться, никак не могла отогнать от себя этих страхов; а госпожа моя, хоть и знатная дама, того же мнения, что и я; поэтому не делайте вида, будто вас это не касается.

Тут молодая итальянка заметила, что широкие двери гостиной распахнулись, и это так испугало ее, что она птичкой порхнула через большую столовую и скрылась в коридоре.

Граншан не обратил внимания на ее слова, так как был всецело занят приготовлениями к обеду; он выполнял важные обязанности мажордома и строго поглядывал на слуг, проверяя, все ли они на местах; когда обитатели замка один за другим вошли в столовую, сам он стал за креслом старшего сына хозяев; за стол село одиннадцать человек — мужчин и женщин. Последнею вошла маркиза под руку с красивым, пышно одетым стариком, которого она посадила слева от себя. Она опустилась в большое золоченое кресло во главе длинного прямоугольного стола. Другое кресло, несколько пышнее орнаментированное, стояло справа от нее, — но оно оставалось пустым. Молодому маркизу д'Эффиа, занявшему место напротив матери, полагалось разделять с нею обязанности хозяина дома; ему было не более двадцати лет, и лицо его казалось незначительным; серьезность и изысканные манеры юноши обличали в нем общительный характер — и только. Его сестра, четырнадцатилетняя девушка, два провинциальных дворянина, три молодых итальянца из свиты Марии Гонзаго (герцогини Мантуанской), компаньонка, гувернантка маршальской дочери и местный аббат, старый и совсем глухой, — вот и все общество. Место слева от старшего сына тоже оставалось незанятым.

Перед тем как сесть, маркиза перекрестилась

¹ Пресвятая Мария! (итал.)

и вслух прочитала *Benedicite*¹; остальные также осенили себя крестом — кто широким движением, кто только на груди. Этот обычай сохранился во многих французских семьях вплоть до революции 1789 года; кое-кто блюдет его и сейчас, но больше в провинции, чем в Париже, и не без некоторого смущения и ссылки на доброе старое время; причем, когда это делается при постороннем, люди улыбаются, как бы извиняясь: ведь и хорошее вызывает краску смущения.

Маркиза была женщина величественная, с прекрасными большими синими глазами. На вид ей не было и сорока пяти лет; но горе надломило ее, она ступала медленно и говорила с трудом, а если ей случалось повысить голос, она затем на мгновение закрывала глаза, склоняла голову и прижимала руку к груди, как бы умеряя острую боль. Поэтому она была рада, что гость, сидевший слева от нее, по собственному почину завладел разговором и с невозмутимым хладнокровием поддерживал его в течение всей трапезы. То был престарелый маршал де Басомпьер; он был совсем седой, но сохранил удивительную живость и молоджавость; в его благородных, изысканных манерах, как и в одежде, было нечто от старомодного щегольства, — он носил брыжи а-ля Генрих IV и фстончатые манжеты, по моде минувшего царствования, что в глазах придворных франтов являлось непростительным чудачеством. Теперь такой наряд нам кажется не более странным, чем многое другое; но так уж повелось, что в любую эпоху потешаются над привычками отцов, и лишь на Востоке, кажется, не подвержены этому заблуждению.

Стоило только одному из итальянцев спросить у маршала, что он думает об отношении кардинала к герцогине Мантуанской, как старик воскликнул со свойственной ему непринужденностью:

— Ах, сударь, у кого вы спрашиваете? Мне ли уразуметь новые порядки, которым теперь подчинена Франция? Нам, старым соратникам покойного короля, непонятен язык, на котором ныне изъясняется двор, а ему непонятен наш язык. Да что я! Теперь в нашей унылой стране вообще не говорят, при кардинале все предпочитают хранить молчание; этот надменный выскочка* взирает на нас, как на древние фамильные портреты, да время от времени рубит кому-нибудь из

¹ Католическая молитва перед трапезой.

нас голову, но девизы наши, к счастью, остаются. Не так ли, дорогой Пюи-Лорап?

Гость, к которому обратился маршал, был почти его ровесник; но, как человек более сдержанный и осторожный, он в ответ пробормотал нечто невнятное, однако знаком обратил внимание маршала на то, как помрачнела хозяйка дома, когда он напомнил о недавней кончине ее супруга и непочтительно отозвался об ее друге, министре; но это было все — ибо Басомпьер, довольный полуодобрением, залпом осушил большой бокал вина, которое он в своих «Мемуарах» расхваливает как средство против чумы и осторожности, откинулся назад, предоставляя лакею снова наполнить бокал, после чего еще удобнее устроился в кресле и пустился в разглагольствования.

— Да, все мы здесь лишние; намерен я это сказал моему другу герцогу де Гизу, которого они совсем разорили. Они отсчитывают минуты, которые нам осталось жить, и трясут песочные часы, чтобы время шло поскорее. Когда господин кардинал замечает, что где-нибудь собрались три-четыре видные фигуры из числа преданных покойному королю, он сознает, что ему не под силу сдвинуть с места эти железные монументы и что тут требуется рука великого человека; он спешит пройти мимо и не решается помешать нам, ибо мы-то его не боимся. Ему все кажется, что мы затеваем заговор; да вот и сейчас, говорят, речь идет о том, чтобы запрятать меня в Бастилию.

— Что же вы не уезжаете, господин маршал, чего ждете? — спросил итальянец. — Только Фландрия, кажется мне, может служить вам убежищем.

— Ах, сударь, вы меня плохо знаете. Вместо того чтобы бежать, я был у короля перед его отъездом и сказал, что прибыл для того, чтобы избавить от труда меня разыскивать и что если бы я знал, куда кардинал собирается меня упрятать, то сам бы в то место отправился, дабы не пришлось меня туда везти. Он был ко мне очень добр, как я и ожидал, и сказал: «Неужели, старый друг, ты мог подумать, что у меня такие намерения? Ты же знаешь, я люблю тебя».

— Поздравляю, дорогой маршал, — сказала госпожа д'Эффия ласково, — по этим словам я узнаю доброту короля, он помнит, как любил вас его отец, покойный король; кажется, он даже даровал вам все, о чем вы

просили для ваших близких? — добавила она не без умысла, чтобы он сказал еще что-нибудь в похвалу королю и перестал столь громогласно выражать неудовольствие.

— Что и говорить, сударыня, — продолжал маршал, — Франсуа де Басомпьер лучше, чем кто-либо, ценит его достоинства; я буду до конца верен ему, ибо был душою и телом предан его отцу; и клянусь, что, по крайней мере с моего согласия, ни один из членов моей семьи не нарушит своего долга по отношению к королю Франции. Хотя *Бестейны* и были иностранцы-лотарингцы, все же, черт возьми, рукопожатие Генриха Четвертого навсегда завоевало нас: самым большим моим горем было то, что мой брат умер, служа Испании, и я еще недавно написал племяннику, что лишу его наследства, если он перейдет к императору, как разнесся о том слух.

Один из дворян, до сих пор не вымолвивший ни слова, но выделявшийся своим парядом со множеством лент, бантов и шнурков, а также орденом святого Михаила, черная лента которого виднелась у него на шее, кивнул головой и заметил, что именно так должен расуждать каждый верноподданный.

— Право же, господин де Лоне, вы сильно ошибаетесь, — возразил маршал, которому вспомнились его предки, — люди нашего круга могут быть подданными только по велению сердца, ибо по милости божьей мы родились такими же полновластными сеньорами своих земель, как король — сеньор своих. Когда я приехал во Францию, у меня не было иных намерений, как только развлекаться здесь вместе с моими приближенными и пажамн. Я замечаю, что чем дальше, тем больше у нас об этом забывают, особенно при дворе. Но вот входит молодой человек, и весьма кстати — он послушает меня.

Действительно, дверь отворилась, и вошел довольно статный юноша; он был бледен, волосы у него были темные, глаза черные, он казался грустным и рассеянным: то был Анри д'Эффиа, маркиз де Сен-Мар (имя это происходило от названия родового имения); костюм на нем и короткий плащ были черные; кружевной воротничок спускался на грудь; маленькие сапоги с широким раструбом и со шпорами так стучали по каменным плитам гостиной, что шаги его слыша-

лись издалека. Он направился прямо к госпоже д'Эф-
фиа, отвесил глубокий поклон и поцеловал ей руку.

— Итак, Анри, лошади уже оседланы? — спросила
она у него. — В котором часу вы уезжаете?

— Тотчас же после обеда, матушка, если позволите,
— ответил он с церемонной почтительностью, в духе
времени.

Затем он подошел к господину де Басомпьеру, по-
здоровался с ним и занял место слева от старшего
брата.

— Итак, вы уезжаете, дитя мое, — сказал маршал,
продолжая есть с аппетитом, — вы едете ко двору;
в наши дни это скользкая стезя. Мне жаль вас: двор не
остался таким, каким был прежде. Раньше он был про-
сто гостиной короля, где король принимал друзей, рав-
ных ему по рождению: дворян из знатных семей, пэ-
ров, которые посещали его, чтобы засвидетельствовать
свою любовь и преданность; они играли с ним в карты,
сопутствовали ему в увеселительных прогулках и ни-
чего от него не получали, кроме позволения повести за
собою вассалов и вместе с ними сложить голову на ко-
ролевской службе. Почести, которых удостоивался
знатный человек, не преумножали его богатства, пото-
му что за эти почести он расплачивался из собственной
мошны; каждый раз, когда я получал чин, мне прихо-
дилось продавать какое-нибудь имение; звание полков-
ника швейцарских стрелков обошлось мне в четыреста
тысяч экю, а ради крестин ныне здравствующего коро-
ля я заказал себе платье в сто тысяч франков.

— Однако согласитесь, что никто этого от вас не
требовал, — сказала хозяйка дома, рассмеявшись, —
о великолепии вашего одеяния, расшитого жемчугом,
мы слышали; но я бы очень сожалела, если бы и теперь
была такая мода.

— Не беспокойтесь, маркиза, времена былой
роскоши уже не вернутся никогда. Конечно, мы совер-
шали тысячи безрассудств, но они доказывали нашу
независимость; будьте уверены, тогда у короля не от-
нимали слуг и слуги были связаны с ним лишь узами
любви, но король венчал их коронами герцогов и мар-
кизов, где алмазов сияло не меньше, чем на монаршем
венце. Излишне доказывать, что тогда честолюбие не
могло захватить все сословия, ибо такие расходы были
по плечу лишь людям богатым, а золото не валяется

под ногами. Знатные роды, которые теперь с таким ожесточением уничтожаются, не страдали честолюбием, не требовали от правительства никаких должностей и зачастую сохраняли место при дворе только по праву рождения, существовали сами по себе и, подобно одной из таких семей, говорили: *«Королем я не могу быть, герцогом не желаю, я — Роган»*. Так было со всеми семьями, которые довольствовались своей знатностью, и сам король однажды подчеркнул это в письме к своему другу: *«Для дворян вроде нас с вами — деньги не имеют значения»*.

— Однако, маршал, такая независимость не раз порождала междоусобные войны и бунты, например, бунт господина де Монморанси, — холодно и подчеркнуто вежливо прервал его господин де Лоне, вероятно, не без намерения подзадорить старика.

— Черт возьми! Сударь, мне прямо-таки нестерпимо слышать такие суждения! — воскликнул пылкий маршал, подскочив в кресле. — Все эти бунты и войны, сударь, ничуть не умаляли основных законов государства и не более расшатывали трон, чем чья-либо дуэль. Среди всех этих крупных вожakov партий не нашлось бы ни одного, который в случае удачи не положил бы свою победу к ногам монаха, ибо все они знали, что остальные дворяне их ранга сразу же отступились бы от них, как только оказалось бы, что они враги законного государя. Все эти люди поднимали оружие лишь против крамолы, а не против королевской власти, и после междоусобицы все снова становилось на свое место. А вы что сделали, подавляя нас? Вы отрубили руку у королевской власти и ничего не даете взамен. Да, теперь я не сомневаюсь, кардинал-герцог до конца осуществит свое намерение, знатные семьи покинут свои земли, лишатся своих поместий, а тем самым лишатся и своего могущества; королевский двор теперь не что иное, как дворец, где все чего-то добиваются. Потом, когда при дворе останется только королевская свита, он превратится просто в прихожую; знатные имена послужат к облагораживанию пошлых должностей; но кончится тем, что, в силу неумолимости обратного воздействия, должности опошлят знатные имена. Когда дворянство лишится семейных очагов, его могущество превратится в ничто и будет зависеть только от полученных должностей, и если народ, на

который дворянство уже не будет иметь никакого влияния, надумает взбунтоваться...

— Какой вы сегодня мрачный, маршал! — прервала его маркиза. — Надеюсь, что ни я, ни мои дети не доживем до этого. Я слушаю вас и не узнаю вашей обычной жизнерадостности; а я-то надеялась, что вы напутствуете моего сына. А с вами что, Анри; Почему вы такой рассеянный?

Взгляд Сен-Мара был обращен к большому окну столовой; он с грустью смотрел на великолепный пейзаж, растилавшийся перед его глазами. Солнце сияло во всем своем великолепии и заливало золотом и изумрудом песчаный берег Луары, деревья и лужайки; небо было лазурное, река — прозрачно-желтая, островки — ослепительно зеленые; за их округлыми очертаниями виднелись высокие треугольные паруса торговых судов — словно флот, притаившийся в засаде.

«О природа, природа! — думал он. — Прекрасная природа, прощай! Вскоре мое сердце утратит непосредственность и перестанет понимать тебя, и тогда ты будешь нравиться только моему взору; сердце это уже сгорает от глубокой любви, а рассказы о столкновениях человеческих интересов зарождают в нем какую-то неведомую тревогу; итак, надо ступить в этот лабиринт, я погибну в нем, быть может, но погибну ради Марии...»

Тут он очнулся, услышав обращение матери, и сказал, чтобы не обнаружить слишком ребяческое сожаление о разлуке с прекрасными родными местами и семьей:

— Я думал, сударыня, о том, по какой дороге лучше ехать в Перпиньян, а также о дороге, которая снова приведет меня к вам.

— Не забудьте, что вам надо ехать на Пуатье и по пути повидаться в Лудене с вашим бывшим наставником, добрым аббатом Кийе; он преподаст вам полезные советы относительно двора, он в отличных отношениях с герцогом Буйонским, и даже если он вам не будет особенно полезен, все равно вы должны его почтить вниманием.

— Так, значит, мой друг, вы едете на осаду Перпиньяна? — вновь заговорил старый маршал, которому уже начинало казаться, что он слишком долго пребывает в молчании. — Какое это счастье для вас! Черт возьми! Осада! Вот прекрасное начало; когда я прибыл

ко двору, чего бы я ни дал, только бы участвовать в осаде вместе с покойным королем; я предпочел бы, чтобы меня ранили в бою, а не на турнире, как это случилось. Но тогда было мирное время, и, чтобы не огорчать семью своим безделием, мне пришлось отправиться в Венгрию воевать с турками. Как бы то ни было — от души желаю, чтобы король встретил вас так же ласково, как меня встретил его отец. Конечно, король — человек доблестный и добрый, но его, к сожалению, приучили к холодному испанскому этикету, который служит помехой сердечным порывам; недоступным видом и ледяным обращением он сковывает и самого себя, и окружающих; что касается меня, признаюсь, я все жду хоть краткой оттепели, но тщетно. При жизнерадостном и простом Генрихе мы привыкли к другим манерам, и нам, по крайней мере, не возбранялось говорить, что мы любим его.

Сен-Мар смотрел в глаза Басомпьеру, видимо, для того, чтобы заставить себя слушать его рассуждения, потом спросил, чем отличалась речь покойного короля.

— Живостью и прямою, — ответил тот. — Однажды, вскоре после моего приезда во Францию, я в Фонтенбло играл с ним и герцогиней де Бофор, ибо, как он сказал, ему хотелось выиграть у меня мои червонцы и прекрасные португалеры. Он спросил, что меня побудило приехать во Францию. «По правде говоря, государь, — ответил я ему откровенно, — я приехал не для того, чтобы поступить к вам на службу, а просто для того, чтобы некоторое время пожить при вашем дворе, а затем — при испанском; но вы так пленили меня, что я уже никуда не поеду, а если вам угодно принять меня на службу, я готов вам служить до последнего вздоха». Тут он обнял меня и сказал, что лучшего покровителя мне и не найти, — такого, который полюбил бы меня больше, чем он; увы!.. я в этом вполне убедился... и я, со своей стороны, всем пожертвовал ради него, вплоть до любви, и готов был бы принести и большую жертву, если бы было что-либо большее, чем отказ от мадемуазель де Монморанси.

Глаза маршала увлажнились; зато молодой маркиз д'Эффия и итальянцы переглянулись и не могли сдержать улыбку при мысли о том, что теперь принцесса де Конде далеко не молода и не красива. Сен-Мар поймал их взгляды и тоже улыбнулся, но горькой улыбкой.

«Неужели правда, — думал он, — что у любви такая же судьба, как и у моды, и достаточно нескольких лет, чтобы и платья, и чья-то любовь стали посмешищем? Счастлив тот, кто не переживет своей юности, своих мечтаний и унесет в могилу все свое сокровище!»

Но, сделав над собою усилие, он прервал поток этих печальных размышлений и сказал, чтобы бравый маршал не заметил насмешливого выражения на лицах гостей:

— Значит, с королем Генрихом разговаривали очень непринужденно? Быть может, в начале царствования ему необходимо было ввести такой тон, а когда его власть упрочилась, он изменился?

— Нет, нет. Всегда, до последнего дня наш великий король оставался тем же; он не стеснялся быть человеком и с людьми разговаривал мужественно и ласково. Господи! Да я будто сейчас вижу, как он в карете целует герцога де Гиза в самый день своей смерти. Король обратился ко мне с какой-то остроумной шуткой, а герцог ответил ему: «По-моему, вы один из самых приятных людей на свете и судьба предназначила нас друг для друга, ибо будь вы простым смертным, я во что бы то ни стало взял бы вас к себе на службу, по раз по воле божьей вы родились могущественным монархом, мне поневоле пришлось служить вам». О великий муж! Как оправдалось твое предсказание! — воскликнул Басомпьер со слезами на глазах, быть может возбужденный уже не первым бокалом вина — *«Когда вы меня лишитесь — тогда узнаете мне истинную цену»*.

Во время этого рассказа присутствующие вели себя по-разному, соответственно своему положению в обществе. Один из итальянцев делал вид, будто занят беседой с дочкой маркизы, и оба они втихомолку смеялись; другой итальянец ухаживал за глухим стариком-аббатом, который приложил руку к уху, чтобы лучше слышать, и был единственным из гостей, кто внимательно слушал маршала; Сен-Мар, вызвав Басомпьера на воспоминания, вновь впал в меланхолическое раздумье, подобно тому как игрок смотрит по сторонам, пока брошенный им мяч не придет обратно; его старший брат с прежней невозмутимостью исполнял обязанности хозяина; Пюи-Лоран с озабоченным видом глядел на маркизу: он был всецело предан герцогу Орлеанскому и опасался кардинала, а у хозяйки дома вид

был расстроенный и тревожный. Не раз неосмотрительно оброненное слово напоминало ей то о смерти мужа, то об отъезде сына, а еще чаще ее охватывало беспокойство за Басомпьера — как бы он не сказал чего-нибудь, что могло бы ему повредить, и она время от времени толкала его локтем, смотря на господина де Лоне, которого мало знала, но не без некоторых оснований считала сторонником министра; однако такому человеку, как маршал, всякие предостережения были бесполезны; казалось, он их не замечает; наоборот, он говорил громким голосом, умышленно поворачивался к этому дворянину, и именно к нему была обращена его речь, подкрепленная смелыми уничтожающими взглядами. Зато де Лоне старался казаться безразличным и держался с подчеркнутой вежливостью, как бы со всем соглашаясь, — и так продолжалось до той минуты, когда распахнулись настежь двери и слуга доложил о герцогине Мантуанской.

Застольный разговор, который мы здесь подробно передали, все же длился недолго, и, когда прибытие Марии Гонзаго принудило всех подняться со своих мест, обед еще не дошел до середины. Герцогиня была невысокого роста, но превосходно сложена, и хотя глаза и волосы у нее были совершенно черные, от нее веяло ослепительной свежестью. Маркиза слегка приподнялась, отдавая дань ее положению, и поцеловала ее в лоб, отдавая должное ее доброте и цветущему возрасту.

— Мы долго ждали вас сегодня, дорогая Мария, — сказала она, усаживая герцогиню рядом с собой. — Вы останетесь со мной, чтобы заменить мне уезжающего сына.

Молодая герцогиня покраснела и потупилась, чтобы скрыть заплаканные глаза, затем робким голосом произнесла:

— Так и должно быть, сударыня, ведь вы заменяете мне мать.

Сен-Мар, сидевший на другом конце стола, побледнел от брошенного ею взгляда.

Появление герцогини Мантуанской изменило направление разговора; он перестал быть общим, теперь каждый вполголоса беседовал с соседом. Один только маршал время от времени произносил несколько слов, вспоминая великолепие прежнего двора, или турецкую

войну, или турниры и скудость нынешнего двора; но, к его великому сожалению, никто не поддерживал его. Когда часы пробили два удара и все уже собрались выходить из-за стола, на большом дворе появилось пять лошадей; на четырех из них сидели закутанные в плащи и хорошо вооруженные слуги, пятую лошадь, вороную и очень резвую, держал под уздцы старик Граншан — то был конь его молодого хозяина.

— Вот ваш боевой конь! — воскликнул Басомпьер. — Он оседлан и взнуздан. Что ж, молодой человек, теперь вам остается только сказать, как сказал старик Маро:

Прощай же, Двор, прощайте все вы,
Прощайте, дамы, жены, девы!
Прощай, увы, на долгий срок,
Жизнь без трудов и без тревог!
Прощайте, танцы и фигуры,
Кадансы, такт, и па, и туры,
Прощай, и скрипка, и гобой!
Нас барабаны кличут в бой! ¹

Эти старинные стихи и самый облик маршала расшевелили весь стол, кроме трех человек.

— Господи Иисусе! Мне кажется, — продолжал он, — будто и мне, как ему, только семнадцать лет; он вернется к вам, сударыня, весь в галунах; пусть его кресло до тех пор пустует!

При этих словах маркиза вдруг побледнела и, заливаясь слезами, вышла из-за стола; вслед за ней встали и все остальные; она с трудом сделала два шага и без сил опустилась в другое кресло. Сыновья, дочь и молодая герцогиня окружили ее; среди вздохов и всхлипываний, которые вдова маршала тщетно старалась сдерживать, они расслышали ее слова:

— Простите!.. друзья мои... это безрассудство... это ребячество... но теперь я так слаба, что не могу совладать с собой. За столом нас оказалось тринадцать, и причиною этому были вы, дорогая герцогиня. Но с моей стороны очень нехорошо, что я при нем показала себя такой малодушной. Прощайте, дитя мое, дайте я поцелую вас, и да хранит вас бог! Будьте достойны своего имени и своего отца.

Потом она, смеясь сквозь слезы, как выразился Гомер, встала и отстранила его, сказав:

¹ Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, стихи даются в переводах В. Левика. (Прим. ред.)

— Ну-ка, дайте посмотреть, каковы вы верхом, прекрасный всадник!

Притихший путник поцеловал руки матери и отвесил ей низкий поклон; он склонился также, не поднимая взора, и перед герцогиней; потом почти одновременно обнял старшего брата, пожал руку маршалу, поцеловал сестру в лоб и вышел; мгновение спустя он уже сидел на коне. Все подошли к окнам, выходящим во двор; одна только госпожа д'Эффия осталась в кресле — ей было дурно.

— Он пошел галопом, это добрая примета, — весело сказал маршал.

— Боже! — вскричала герцогиня, отпрянув от окна.

— Что такое? — испугалась мать.

— Ничего, ничего, — ответил господин де Лоне, — в воротах лошадь господина де Сен-Мара споткнулась, но он вовремя натянул поводья: вот он нам машет с дороги.

— Опять дурное предзнаменование! — проговорила маркиза, удаляясь в свои покои.

Вслед за ней разошлись и остальные — кто молча, кто тихо переговариваясь.

День в Шомонском замке прошел грустно, за ужином царило молчание.

В десять часов вечера старый маршал в сопровождении камердинера направился в северную башню, расположенную возле ворот и наиболее удаленную от реки. Было невыносимо жарко; старик распахнул окно, накинул на себя просторный шелковый халат, поставил на стол увесистый светильник и пожелал остаться в одиночестве. Окно выходило на долину, освещенную неверным светом молодого месяца; по небу тянулись тяжелые облака, и все располагало к грусти. Хотя Басомпьер по характеру своему отнюдь не был мечтателем, все же ему вспомнился разговор за обедом, и он мысленно стал перебирать свою жизнь и те печальные перемены, которые внесло в нее новое царствование, царствование, словнодохнувшее на него дыханием невзгод: смерть любимой сестры, дурное поведение наследника, утрата поместий и благоволения двора, недавняя кончина друга, маршала д'Эффия, в комнате которого он сейчас находился, — все эти мысли исторгли у него невольный вздох; он подошел к окну, чтобы подышать свежим воздухом.

В эту минуту ему почудилось, будто со стороны леса слышится топот кавалькады, но тут пронесся порыв ветра, и маршал решил, что топот ему только померещился; потом все сразу затихло, и он тут же забыл об этом. Он еще некоторое время наблюдал за тем, как огоньки светильников мелькали в окнах лестниц и блуждали по дворам и конюшням и, наконец, гасли один за другим. Затем он снова опустился в большое, обитое штофом кресло, облокотился на стол и погрузился в размышления; вскоре он вынул из-за пазухи медальон на черной ленточке и прошептал:

— Приди, мой добрый старый государь! Приди! Побеседуй со мной, как часто беседовал когда-то; приди, великий монарх, и забудь возле меня свой двор, посмейся в обществе истинного друга; приди, великий муж, и посоветуйся со мной относительно властолюбивой Австрии; приди, непостоянный поклонник, и расскажи о искренних своих увлечениях и простодушных изменах; приди, бесстрашный воин,— крикни мне снова, чтобы я заслонил тебя в бою! Ах, почему не мог я сделать этого в Париже! Почему не принял на себя поразивший тебя удар!* Пролилась твоя кровь, и мир лишился всех благ твоего царствования...

Слезы, капавшие из глаз маршала, затуманили стекло медальона; он стал стирать их благоговейными поцелуями, но тут дверь порывисто распахнулась, и маршал схватился за шпагу.

— Кто там?— воскликнул он в недоумении.

Но он еще более изумился, когда увидел перед собою господина де Лоне; тот подошел к нему, держа шляпу в руке, и не без смущения проговорил:

— Господин маршал, сердце мое преисполнено скорби, но я вынужден объявить вам, что король мне приказал вас арестовать. У ворот вас ожидает карета и тридцать мушкетеров монсеньера кардинала-герцога.

Басомпьер не встал с кресла; в левой руке он еще держал медальон, в другой — шпагу; он с презрением протянул ее вошедшему и сказал:

— Сударь, я знаю, что зажился на свете; об этом-то я сейчас и размышлял; во имя великого Генриха я покорно вручаю эту шпагу его сыну. Следуйте за мной.

Когда он произносил эти слова, взгляд его был так тверд, что де Лоне пришел в полное замешательство; он пошел вслед за маршалом, понурив голову, словно

сам был арестован этим благородным старцем, а тот, схватив факел, спустился во двор и увидел, что ворота открыты конными гвардейцами; они перепугали всех обитателей замка, но именем короля приказали соблюдать полнейшую тишину. Карета стояла наготове и помчалась, окруженная многочисленными всадниками. Маршал, сидевший рядом с господином де Лоне, задремал, убаюкиваемый покачиванием экипажа, как вдруг чей-то мощный голос крикнул кучеру: «Стой!» Но тот продолжал гнать лошадей; тогда раздался пистолетный выстрел... Карета остановилась...

— Заявляю вам, сударь, что это делается без моего участия, — сказал Басомпьер.

Он высунулся в окошко и увидел, что находится в лесу, на такой узкой дороге, что конной страже не объехать кареты, — для нападающих это было огромным преимуществом, ибо мушкетеры не могли выступить против них; маршал старался разобраться, что происходит, а в это время какой-то всадник, отражая длинной шпагой удары, которые пытался нанести ему один из мушкетеров, подъехал к карете, крича:

— Выходите, выходите, господин маршал!

— Что такое! Это вы, Анри, вертопрах, так проказничаете! Господа, господа, оставьте его, это ребенок.

Тут де Лоне приказал мушкетерам отступить, и все получили возможность разглядеть друг друга.

— Что за нелегкая занесла вас сюда, — продолжал Басомпьер, — я думал, вы в Туре, а то и дальше, и исполняете свой долг, а вы вернулись, чтобы совершить такое безрассудство!

— Я вернулся сюда один не ради вас, а по секретному делу, — ответил Сен-Мар, понизив голос, — но вас везут, по-видимому, в Бастилию, следовательно, я могу быть уверен, что вы об этом никому не скажете; Бастилия — храм молчания. Однако, если бы вы захотели, — продолжал он, — я освободил бы вас из рук этих господ; кругом такой густой лес, что никакой лошади не пройти. Я узнал от одного крестьянина, что вас схватили в доме моего отца, и это — оскорбление, нанесенное нашей семье даже в большей степени, чем вам.

— Это сделано по приказу короля, дитя мое, а его волю мы должны уважать; поберегите свой пыл для служения ему, тем не менее я благодарю вас от всего

сердца. Дайте руку и предоставьте мне продолжать сие милое путешествие.

Де Лоне добавил:

— Да будет мне позволено сказать вам, господин де Сен-Мар: король лично уполномочил меня заверить господина маршала, что он огорчен этой необходимостью и просит господина маршала провести несколько дней в Бастилии только из опасений, как бы его не вовлекли в какое-нибудь неправоное дело.

Басомпьер ответил, громко рассмеявшись:

— Видите, друг мой, как теперь опекают молодых людей; берегитесь!

— Ну, что ж, поезжайте, — сказал Анри, — не стану разыгрывать из себя странствующего рыцаря ради тех, кому это нежелательно.

Карета помчалась дальше, а Сен-Мар тем временем углубился в чащу и глухими тропками направился в замок.

У подножья западной башни юноша остановился. Он был один — Граншан и остальные сопровождавшие его остались позади; не слезая с коня, он вплотную приблизился к стене и приподнял подъемистую решетку на одном из окон нижнего этажа; такие решетки еще можно встретить в некоторых старинных зданиях.

Было за полночь, луна скрылась в тучах. Только хозяин и мог найти дорогу в такой тьме. Башни и кровли слились в одну черную громаду, которая еле выделялась на чуть более светлом небе; в заснувшем замке не было видно ни единого огонька. Сен-Мар надвинул на лоб широкополую шляпу, закутался в просторный плащ и стал тревожно ждать.

Чего он ждал? Зачем вернулся? Из-за окна слышался еле внятный шепот:

— Это вы, господин де Сен-Мар?

— Увы, кто же еще может тут быть? Кто, словно злоумышленник, подъедет к отчему дому, но не войдет в него и не попросится еще раз с матерью? Кто, кроме меня, вернется, чтобы пожаловаться на настоящее, без надежды на будущее?

Нежный голос за окном задрожал, в нем ясно слышались слезы:

— Анри, Анри! На что вам жаловаться? Разве я не сделала больше, гораздо больше, чем было в моих си-

лах? Разве я виновата в том, что, себе на несчастье, родилась дочерью монарха? Разве может человек выбрать себе колыбель, разве может сказать: я хочу родиться пастушкой? Вам хорошо известно, как тягостна судьба принцесс: сердце у них похищают при рождении, всему миру известен их возраст, их уступают по договору, словно город, и им никогда не дозволяется плакать. С той поры как я знакома с вами, чего только я не делала, чтобы приблизиться к счастью и удалиться от трона. Два года я тщетно боролась против неумолимой судьбы, которая отделяет меня от вас, и против вас, который отвлекает меня от долга. Вы сами знаете, я хотела, чтобы меня сочли умершей; да что говорить — я почти желала восстания! Быть может, я благословила бы удар, который лишил бы меня титула, как я благодарила бога, когда мой отец был свергнут с престола; но двор удивляется, королева требует меня; наши мечты развеяны, Анри; мы слишком долго грезили, пора обрести мужество и очнуться. Не вспоминайте больше эти два прекрасные года. Забудьте обо всем и помышляйте только о вашем великом намерении; живите одной-единственной мыслью, будьте честолюбивым... честолюбивым ради меня...

— Неужели все надо забыть, Мария? — ласково проговорил Сен-Мар.

Она ответила не сразу.

— Да, все, как забыла я сама. — Потом она добавила горячо: — Да, забудьте наши счастливые дни, наши долгие вечера и даже наши прогулки в лесу и у пруда, но помните о будущем; поезжайте. Ваш отец был маршалом, — станьте чем-то еще бóльшим, коннетаблем, первым человеком при дворе. Поезжайте, вы молоды, благородны, богаты, отважны, любимы...

— Навеки? — спросил Анри.

— На всю жизнь и на веки вечные.

Сен-Мар встрепенулся и, протянув руку, воскликнул:

— Хорошо же! Клянусь пресвятой девой, имя которой вы носите, вы будете моей, Мария, или же голова моя скатится на эшафоте.

— О небо! Что вы говорите! — воскликнула она, высунув из окна белую ручку, чтобы пожать его руку. — Нет, вы не сделаете ничего предосудительного, поклянитесь мне в этом; вы всегда будете помнить, что

король Франции — ваш властелин; любите его больше всего на свете — после той, которая пожертвует ради вас всем и будет томиться, дожидаясь вас. Возьмите этот золотой крестик; держите его у сердца, на него пролилось много моих слез. Помните, что если вы когда-либо окажетесь виноватым перед королем — я буду плакать еще горше. Дайте мне кольцо, которое блестит у вас на пальце. О боже, и моя и ваша рука в крови!

— Пустяки! Эта кровь пролилась не ради вас; вы ничего не слышали час тому назад?

— Ничего; а сейчас — вы ничего не слышите?

— Нет, Мария, — только шорох ночной птицы на башне.

— Говорили о нас, я в этом уверена. Но откуда же кровь? Скажите скорей и уезжайте.

— Да, уезжаю; вот облако — оно снова дарит нам темноту. Прощайте, ангел небесный, я буду постоянно звать к вам. Любовь влила в мое сердце честолюбие словно жгучий яд; да, я впервые чувствую, что возвышенная цель может облагородить честолюбивые помыслы. Прощайте, я еду, чтобы выолнить предначертание судьбы!

— Прощайте! Но думайте и о моей судьбе!

— Наши судьбы ничто не разъединит.

— Ничто, — воскликнула Мария, — разве что смерть!

— Больше смерти я боюсь разлуки, — сказал Сен-Мар.

— Прощайте, я трещу, прощайте, — прозвучал нежный голос.

И над двумя еще соединенными руками стала медленно опускаться железная решетка.

Тем временем вороной конь не переставая бил копытами о землю и беспокойно ржал; взволнованный всадник пустил его в галоп и вскоре прибыл в Тур, Сен-Гасьенскую колокольню которого он увидел еще издали.

Старик Граншан встретил своего молодого господина не без воркотни, а узнав, что тот не намерен остановиться на ночлег, и вовсе разошелся. Отряд сразу же отправился дальше, а пять дней спустя спокойно, без всяких приключений вошел в Луден, древний город провинции Пуату.



Глава II

УЛИЦА

Я брел тяжелым, неуверенным шагом
к цели этого трагического шествия.

Ш Подье «Смарра»

Царствование, несколько лет которого мы хотим изобразить, немощное царствование, представлявшее собою как бы закат монархии по сравнению с великолепием правлений Генриха IV и Людовика Великого*, запятнано несколькими кровавыми событиями, которые огорчают всякого, кто обращает на них взор. Это не было делом рук одного человека, в этих прискорбных событиях приняли участие крупные общественные силы. Тяжело видеть, что в тот смутный век и в духовенстве, как то бывает в каждой большой нации, имелась, наряду с благородной верхушкой, также и своя чернь, наряду с учеными и добродетельными иерархами — свои невежды и преступники. С тех пор остатки варварства в этой среде были стерты долгим царствованием Людовика XIV, а пороки были смыты кровью мучеников, которых духовенство принесло в жертву революции 1793 года. Итак, благодаря превратностям судьбы, улучшенное монархией и республикой, облагороженное королевской властью и жестоко наказанное революцией, общество дошло до нас таким, каким мы его теперь видим, — суровым и лишь в редких случаях порочным.

Нам хотелось остановиться на этой мысли, прежде чем приступить к рассказу о событиях, которые предлагает нашему вниманию история того времени, но, несмотря на это утешительное наблюдение, нам все же пришлось отвергнуть некоторые чересчур отталкивающие подробности, — да и без них остается достаточно прискорбных деяний, о которых нельзя не сокрушаться; так, повествуя о жизни добродетельного старца,

оплакивают порывы его необузданной юности или предосудительные наклонности зрелой поры.

Когда кавалькада въехала в Луден, в нем царило какое-то смятение, его узкие улицы были запружены огромной толпой; церковные и монастырские колокола звонили, словно где-то вспыхнул пожар, а обыватели, не обращая ни малейшего внимания на незнакомых всадников, устремлялись к большому строению, примыкавшему к церкви. На лицах горожан можно было прочесть разное, нередко противоположное отношение к происходящему. Едва только где-нибудь собиралась толпа, шум голосов внезапно прекращался, и тогда слышался лишь один голос, то ли читавший что-то, то ли произносивший заклинания; потом со всех сторон неслись злобные выкрики вперемешку с благочестивыми восклицаниями; вскоре толпа расходилась, и тогда оказывалось, что речь произносил капуцин или францисканец; держа в руках деревянное распятие, он указывал толпе на большое здание, к которому она и направлялась.

— *Господи Иисусе! Пресвятая богородица!* — воскликнула какая-то старуха. — Кто бы поверил, что лукавому приглянется наш почтенный город!

— И что почтенные урсулиники окажутся одержимыми, — добавила другая.

— Беса, который вселился в настоятельницу, как слышно, зовут *Легионом*, — говорила третья.

— Да что вы, дорогая! — прервала старуху монахиня. — В ее бедном теле их целых семеро, а все оттого, что она слишком холила его; уж больно она красивая. И вот теперь она стала прибежищем адских сил. Вчера во время заклинаний настоятель кармелитов изгнал из нее беса *Эзаса*, он вышел из нее через рот, а достопочтенный отец Лактанс изгнал из нее, кроме того, беса *Беберита*. А остальные пять не пожелали выйти; когда святые заклинатели — да поможет им бог! — приказали им, по-латыни, удалиться, те ответили, что не выйдут до тех пор, пока не докажут свою силу, в которой гугеноты и прочие еретики, как видно, сомневаются. А бес *Элими*, — из всех, как известно, самый свирепый, — заявил, что сегодня он снимет с господина

де Лобардемона скуфью и будет держать ее в воздухе во время пения *Miserere* ¹

— Пресвятая богородица! — опять заговорила первая. — Я заранее вся дрожу. И подумать только, что я этому чернокопчикнику Урбену несколько раз заказывала мессу!

— А я, — сказала, крестясь, стоявшая тут же девушка, — я-то десять месяцев тому назад ему исповдовалась! Уж наверное, вселился бы в меня бес, не будь у меня, к счастью, за пазухой ладанки святой Женевьевы...

— Тем более что, — не в обиду тебе будь сказано, Мартина, — прервала ее толстая торговка, — ты с этим красавцем колдуном провела с глазу на глаз не мало времени.

— Ну, красотка, ты, значит, уж месяц тому назад розродилась бесом, — вставил подошедший к ним молодой солдат с трубкой в зубах.

Девушка вспыхнула и прикрыла хорошенькое личико капюшоном своей черной накидки. Старухи бросили на солдата презрительный взгляд и принялись судачить с еще большим увлечением, ибо они находились у самых ворот, еще запертых, и были уверены, что войдут первыми. Они присаживались на каменные скамьи и тумбы и рассказками подзадоривали себя, предвкушая наслаждение, которое сулит им зрелище чего-то диковинного, какого-нибудь чудесного явления или, по крайней мере, пытки.

— Правда ли, тетушки, что вы слышали, как разговаривают бесы? — обратилась молоденькая Мартина к самой древней старухе.

— Истинная правда, племянница; спроси у любого, кто там был. Я привела тебя сегодня в назидание, — добавила она, — чтобы ты сама убедилась, до чего силен лукавый.

— А какой у него голос? — продолжала девушка, очень довольная тем, что завела разговор, который отвлек от нее внимание окружающих.

— Тот же самый, что и у настоятельницы, да помилует ее господь! Вчера я долго ее слушала — жалость было смотреть, как она раздирала себе грудь, как выворачивала ноги и руки, а потом вдруг сплетала их

¹ Помилуй меня боже (*лаг.*).

за спиной. Когда святой отец Лактанс подошел к ней и произнес имя Урбена Грандье, изо рта у нее потекла пена и она заговорила по-латыни, да так гладко, словно читала Библию. Поэтому я ничего как следует не поняла, а только запомнила *Urbanus magicus rosas diabolica*, а это значит, что колдун Урбен заворожил ее при помощи роз, которые получил от лукавого. И правда, в ушах у нее и на шее показались розы огненного цвета, и так от них несло серой, что судья закричал, чтобы все заткнули носы и зажмурились, потому что вот-вот бесы вылезут.

— Вот видите! Видите! — торжествующе завопили женщины, обращаясь к толпе, а главным образом к нескольким мужчинам в черном, среди которых находился и тот солдат, что мимоходом бросил шутку.

— Старухи, кажется, воображают, что собрались на шабаш, — сказал он. — Шумят, словно съехались сюда верхом на помеле.

— Молодой человек, молодой человек, — с грустью остановил его какой-то горожанин, — напрасно вы так шутите под открытым небом; как бы ветер в наше время не обратился для вас пламенем.

— А мне наплевать на всех этих заклинателей, — возразил солдат. — Зовусь я Гран-Фере, и вряд ли еще у кого-нибудь найдется кропило вроде моего.

Он взялся за эфес сабли, а другой рукой стал покручивать белокурый ус и исподлобья посмотрел по сторонам; не найдя поблизости никого, кто бросил бы ему вызов, он не спеша стал бродить по узким, темным улочкам, преисполненный беспечности, свойственной молодым военным, и глубокого презрения ко всему, что не облачено в военный мундир.

Между тем человек восемь — десять степенных горожан молча прогуливались среди взбудораженной толпы; они, казалось, были обеспокоены этим необычным возбуждением и при каждом новом проявлении безумства молча обменивались удивленными взглядами.

Их молчаливое неодобрение смущало простолюдинов и многочисленных деревенских жителей, съехавшихся со всей округи; не зная, что думать о происходящем, крестьяне пытались по глазам определить мнение дворян, которые в большинстве случаев были их хозяевами. Они видели, что готовится нечто прискорб-

ное, и прибежали к единственному, что остается у невежественного, обманутого люда, — к смиренному созерцанию.

Однако французскому крестьянину свойственна некая простодушная насмешливость, к которой он часто прибегает, общаясь с равными, и пользуется всегда при общении с вышестоящими. Своими вопросами он ставит в затруднительное положение власть имущих, подобно тому как дети своими вопросами смущают взрослых. Он бесконечно умаляет себя, чтобы тот, к кому он обращается, почувствовал неловкость от собственного величия; он усугубляет свою неуклюжесть и прибегает к нарочито грубым выражениям, чтобы скрыть свою тайную мысль; однако такое поведение принимает, вопреки его воле, оттенок чего-то коварного и устрашающего, и это выдает его истинную сущность. Язвительная улыбка и нарочитая неуклюжесть, с какой он опирается на длинный посох, слишком ясно выражают его затаенные помыслы и обнаруживают, на что именно возлагает он надежды.

Какой-то крестьянин пришел в сопровождении десяти — двенадцати сыновей или племянников; на всех были широкополые шляпы и синие блузы — то древнее одеяние галлов, которое французский народ и по сие время носит поверх всякой другой одежды, как наиболее подходящее и для дождливого климата Франции, и для повседневного труда земледельцев. Приблизившись к людям в черном, о которых мы сейчас говорили, старик снял шляпу — и все родственники последовали его примеру; у старика было загорелое лицо, морщинистый лоб и большая лысина, обрамленная длинными седыми прядями; плечи его сгорбились от трудов и старости. Весьма степенный человек из группы господ, одетых в черное, заметил старика, и на лице его отразилась благожелательность, почти уважение; не снимая шляпы, он протянул крестьянину руку.

— Вот как, папаша Гийом Леру, — сказал он, — вы тоже оставили хозяйство и приехали в город, хоть нынче и не базарный день. Это все равно как если бы ваши славные волы скинули с себя ярмо, решив поохотиться на скворцов, и бросили бы пашню, что-

бы потешиться травлей какого-то несчастного зайца.

— Что ж, ваше сиятельство, — начал фермер, — случается, что заяц и сам бежит на вола. Думается мне, нас собираются обдурить — вот и захотелось взглянуть, как за это примутся.

— Оставим это, друг мой, — ответил граф дю Люд. — Смотрите, вот господин Фурнье, адвокат. Он-то не обманет, ибо он вчера вечером сложил с себя обязанности королевского прокурора, и отныне его красноречие будет служить лишь благородным делам. Вы услышите его, возможно, сегодня. Его выступление может быть очень полезным для обвиняемого, но я опасуюсь последствий для самого защитника.

— Ничего не поделаешь, сударь, для меня истина — превыше всего, — сказал Фурнье.

Это был молодой человек, худой, с чрезвычайно бледным, но благородным и выразительным лицом; у него были белокурые волосы, голубые, очень ясные и живые глаза и тонкая талия — поэтому он казался моложе своих лет; но задумчивое, вдохновенное лицо свидетельствовало о незаурядности этого человека и о той ранней духовной зрелости, которая является плодом усиленных занятий и врожденной нравственной силы. На нем было по моде того времени черное, довольно короткое платье и такой же черный короткий плащ; слева под мышкой он держал свиток бумаг и во время разговора то и дело брал его и судорожно сжимал другой рукой, подобно тому как разгневанный воин хватается за эфес своей шпаги. Казалось, он хочет развернуть свиток и метнуть из него молнию на тех, кого он преследовал негодующим взором, — это были три капуцина и францисканец, находившиеся в толпе.

— Папаша Гийом, — продолжал господин дю Люд, — почему вы взяли с собою только детей мужского пола и для какой надобности у них палки?

— А потому, сударь, что мне вовсе не желательно, чтобы мои дочери научились плясать, как монахини. К тому же, по нашим временам, парни егозистее женщин.

— Поверьте, старина, в наше время благоразумнее совсем не *егозить*, — ответил граф. — Займите-ка лучше место, чтобы видеть шествие, — оно приближается сюда. Да не забывайте, что вам за семьдесят.

— Ну-ну,— возразил старик, выстраивая дюжину своих молодцов, словно солдат,— я воевал под командой покойного короля Генриха и умею играть пистолетом не хуже, чем играли им сторонники Лиги*. — Он покачал головой и уселся на тумбу, зажав между коленями узловатую палку, на нее он положил руки и уперся в них седой бородой. Затем он прикрыл глаза, словно погрузился в воспоминания детских лет.

Люди смотрели на его полосатую одежду, напоминающую времена короля-бearnца*, и удивлялись тому, как похож старик на покойного монарха в последние годы его жизни, хотя кинжал и не дал королю поседеть*, как с годами поседел крестьянин. Но тут удары колокола привлекли всеобщее внимание к противоположному концу главной луденской улицы.

Вдали показалось длинное шествие, над которым возвышались хоругвь и пики; толпа молча расступалась, чтобы лучше видеть это зрелище одновременно и нелепое и зловещее.

Впереди медленно выступали в два ряда стрелки в широких шляпах с перьями и с длинными алебардами в руках; немного далее стрелки разделялись на две цепи, которые двигались по сторонам улицы, а посредине шли два ряда «кающихся»; под этим именем, известным в некоторых южных провинциях Франции, мы разумеем людей, облаченных в длинные серые одеяния; головы их совершенно скрыты под капюшонами; на лицах у них маски из той же материи, оканчивающиеся под подбородком острым клинышком наподобие бороды; на масках — три отверстия, для глаз и носа. В наши дни иной раз еще можно наблюдать похороны с провожающими в таких нарядах — особенно в Пиренеях. Луденские «кающиеся» держали в руках огромные свечи; медленная поступь и глаза, казалось, пылавшие под маской, придавали им сходство с призраками, и весь облик их производил гнетущее впечатление.

Из толпы раздавались различные возгласы.

— Тут под масками прячется немало мошенников,— сказал какой-то горожанин.

— А рожи-то у них похуже масок,— подхватил молодой человек.

— Мне страшно!— воскликнула молодая женщина.

— Мне боязно только за мошну, — бросил какой-то прохожий.

— Господи Иисусе! Вот наши святые отцы из братства кающихся, — говорила пожилая женщина, откинув черный платок. — Видите, какую они несут хоругвь? Вот благодать-то, что она с нами! В ней наше спасение! Смотрите-ка: на ней дьявол в языках пламени, а монах надевает ему на шею цепь! А вот и судьи! Достойные люди! Посмотрите, до чего благолепны их красные мантии. Пресвятая дева, как хорошо их подобрали!

— Это личные недруги юре, — прошептал граф дю Люд адвокату Фурнье, и тот что-то записал на бумажку.

— Всех узнаете? — продолжала старуха, при этом она кулаком дубасила соседок и до крови щипала соседей, чтобы привлечь их внимание. — Вот добрый господин Миньон шепотом говорит что-то господам советникам; эти судьи приехали из Пуатье. Да осенит их господь своей благодатью!

— Это Роатен, Ришар и Шевалье, которые в прошлом году добивались его отрешения от сана, — говорил вполголоса господин дю Люд, а молодой адвокат, которого заслонила группа горожан в черном, продолжал под плащом записывать его слова.

— Глядите-ка, глядите! Да расступитесь же! Вот господин Барре, юре церкви святого Якова из Шинона, — восклицала старуха.

— Он праведник, — сказал кто-то.

— Ханжа, — ответил мужской голос.

— Смотрите-ка, как он исхудал от поста!

— Как побледнел от угрызений совести.

— Это он изгоняет бесов.

— Он их скликает.

Диалог был прерван всеобщим возгласом:

— Какая красавица!

Настоятельница урсулинок шла в сопровождении всех монахинь; ее белое покрывало было откинута назад. Так было велено ей и шести другим монахиням, чтобы народ видел лица одержимых. Ее одежда ничем не выделялась, если не считать огромных черных четок, которые доходили до колен и завершались золотым крестом; но ослепительная белизна ее лица, подчеркнутая коричневым цветом капюшона, сразу же прико-

вала все взоры; в ее черных глазах, казалось, горел отблеск глубокой, неутолимой страсти; глаза были ослеплены безупречными дугами бровей, очерченных природою с той же тщательностью, с какой черкешенки выводят их кисточкой; но легкая складка между бровями выдавала бурное и беспрестанное брожение чувств. Однако жесты и все ее существо, казалось, свидетельствовали о полной безмятежности; шаг ее был медлителен и размерен, прекрасные руки сложены; они были белы и неподвижны, как руки мраморных статуй, застывших в вечной молитве на могилах.

— Заметили, тетушка, — спросила Мартина, — сестра Аньеса и сестра Клер идут рядом с ней и плачут?

— Они сокрушаются, племянница, что стали добычей дьявола.

— Либо каются, что обманывают небо, — заметил все тот же мужской голос.

Тем временем воцарилась глубокая тишина, народ замер в неподвижности; казалось, он внезапно остолбенел под действием какого-то колдовства. Вслед за монахинями показался кюре церкви святого Креста, в пастырском облачении; он шел в окружении четырех «кающихся», которые держали его на цепи; черты его отличались редкостным благородством, и трудно было представить себе лицо, которое светилось бы большей добротой; он не напускал на себя оскорбительного безразличия, а смотрел ласково и словно искал по сторонам, не встретит ли сочувственного дружеского взгляда; он заметил такие взгляды и распознал их — ему не было отказано в этой последней радости, доступной человеку, который знает, что близится его смертный час; до его слуха даже донеслись приглушенные рыдания; он увидел протянутые к нему руки, и в некоторых из них сверкнуло оружие; но он не ответил ни на один взгляд; он потупился, чтобы не погубить тех, кто его любит, чтобы не навлечь на них такие же бедствия. Это был Урбен Грандье.

Внезапно процессия остановилась по знаку человека, который замыкал шествие и, видимо, всеми руководил. Человек этот был высокий, сухопарый, бледный, в длинном черном одеянии, с черной скуфьей на голове; у него было лицо дона Базилио* и взгляд Нерона*. Он знаком приказал стражникам подойти к нему по-

ближе, так как с ужасом заметил группу в черном, о которой мы говорили, и увидел, что крестьяне со всех сторон обступают его, чтобы послушать, что он скажет; каноники и капуцины расположились возле него, а он визгливым голосом стал читать следующее чудовищное постановление:

— Мы, сьер де Лобардемон, рекетмейстер, будучи посланы, уполномочены и облечены неограниченной властью касательно дела колдуна Урбена Грандые, дабы судить его по совокупности всех взведенных на него обвинений, при участии преподобных отцов: каноника Миньона; Барре, кюре церкви святого Якова, что в Шиноне; отца Лактанса и судей, назначенных для рассмотрения дела означенного колдуна,— вынесли следующее предварительное решение:

Во-первых. Так называемая ассамблея землевладельцев-дворян, городских обывателей и жителей окрестных селений распускается как сборище, угрожающее народным бунтом; все принятые ею решения объявляются недействительными, а ее так называемое обращение к королю, направленное против нас, судей, каковое обращение было перехвачено и сожжено на городской площади, считать клеветой на благочестивых урсулинок и преподобных отцов и судей.

Во-вторых. Запрещается оспаривать публично или в частной беседе, что означенные урсулинки одержимы злым духом, а также сомневаться в могуществе заклинателей, под страхом штрафа в двадцать тысяч франков и телесного наказания.

Судьям и старостам вменяется в обязанность строго выполнять настоящее постановление.

От рождества Христова год 1639, июня 18 дня.

Едва закончил он чтение, как раздались нестройные звуки рожков и почти совсем заглушили поднявшийся в толпе ропот; читавший велел процессии продолжать путь, и она поспешно вошла в большое строение, примыкавшее к церкви. Когда-то это был монастырь, но все его потолки и перегородки рухнули от ветхости, и теперь оно представляло собою один-единственный огромный зал, вполне пригодный для того, что в нем собирались устроить. Лобардемон почувствовал себя в безопасности, лишь когда вошел в это здание и услышал, как двойные тяжелые двери со скрипом затворились перед горлающей толпой.



Глава III

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Так говорил мне человек, обретший
душевный мир.

«Савойский викарий»

Зловещая процессия вошла в здание, предназначенное для готовящегося зрелища, а пока там идут приготовления к кровавому представлению, посмотрим, как вел себя Сен-Мар среди взволнованных зрителей. Он был достаточно сообразителен и сразу же понял, что нелегко будет разыскать аббата в день, когда брожение умов достигло крайней степени. Поэтому он, не слезая с коня, остановился с четырьмя слугами в темном переулке, выходявшем на главную улицу; отсюда удобно было наблюдать за тем, что происходит. Сначала никто не обращал на него внимания, но когда у зевак не оказалось иной пищи, все взоры обратились на него. Обыватели, уже уставшие от избытка впечатлений, посматривали на него довольно недружелюбно и вполголоса спрашивали друг у друга, не приехал ли к ним новый заклинатель. Кое-кто из крестьян стал даже роптать, что он своими слугами запрудил весь переулок. Сен-Мар понял, что пора что-то предпринять; и как сделал бы и всякий другой на его месте, он остановил взгляд на людях, одетых получше, и вместе со слугами подъехал к группе горожан в черном, о которой мы уже говорили; сняв шляпу, он обратился к человеку, который показался ему самым привлекательным:

— Сударь, где бы мне найти господина аббата Кийе?

При этом имени все посмотрели на него с ужасом, словно он назвал Люцифера. В то же время никого этот вопрос, по-видимому, не возмутил; наоборот, вопрос его, казалось, вызвал к нему сочувствие. Да и выбор Сен-Мара, по счастливой случайности, оказался очень

удачным. Граф дю Люд подошел к всаднику и, поклонившись, сказал:

— Прошу вас, сударь, спешиться; я могу сообщить вам насчет аббата кое-какие полезные сведения.

Они поговорили некоторое время шепотом и расстались, обменявшись, по обычаю того времени, церемонными поклонами. Сен-Мар вновь сел на своего вороного и, проехав со слугами по нескольким узким улочкам, вскоре оказался вдали от толпы.

«Какое счастье, — думал он по пути, — я хоть увидаюсь с добрым, кротким аббатом, который воспитал меня; мне всегда вспоминаются черты его лица, его спокойный облик и голос, полный доброты».

Он с умилением думал о близкой встрече и незаметно очутился в совсем темном переулке, куда его направили; переулок оказался столь узким, что на колени всадника касались стен. В конце переулка он отыскал одноэтажный деревянный домик и стал нетерпеливо стучаться в дверь.

— Кто там? — сердито откликнулся чей-то голос.

Дверь открылась, и показался маленький толстый красный человечек в огромных белых брыжах и ботфортах с такими широкими голенищами, что короткие ноги старичка совершенно тонули в них; на голове у него была скуфейка, в руках он держал два седельных пистолета.

— Дешево жизнь свою не отдам! — крикнул он. — И...

— Спокойнее, аббат, спокойнее, — сказал его воспитанник, беря толстяка за руку, — тут ваши друзья.

— Дорогой мой мальчик, это вы! — воскликнул человечек, отбрасывая пистолеты, которые осторожно поднял его слуга, также вооруженный до зубов. — Зачем вы сюда приехали? Здесь воцарилась подлость, и я жду только наступления темноты, чтобы уехать. Входите скорее, друг мой, и пусть ваши слуги тоже войдут. Я принял вас за стражу Лобардемона и, право же, едва не вышел из себя. Видите лошадей? Я уезжаю в Италию, к нашему другу герцогу Буйонскому. Жан, Жан, скорее закройте ворота за преданными слугами нашего гостя да скажите им, чтобы они особенно не шумели, хоть тут поблизости и нет жилья.

Граншан немедленно исполнил распоряжение от важного аббата, а тот четырежды поцеловал Сен-Мара,

причем для этого ему пришлось встать на цыпочки, ибо он доставал ему только до груди.

Он поспешил отвести юношу в тесную каморку, похожую на заброшенный чердак, и тут, присев вместе с ним на черный кожаный сундук, взволнованно сказал:

— Дитя мое, куда вы едете? Как могла ваша матушка отпустить вас сюда? Разве вы не видите, что здесь чинят с несчастным, которого им надо погубить? Боже мой! Такое ли зрелище должны бы увидеть вы, вступая в жизнь, мой дорогой воспитанник! О небо! Ведь вы в том чудесном возрасте, когда человек не должен знать ничего другого, кроме дружбы, нежной привязанности, сладостного доверия, когда все должно внушать вступающему в свет самое лучшее представление о роде людском. Что за несчастье! Боже мой! Зачем вы приехали!

Так добрый маленький аббат сокрушался, пожимая в своих морщинистых красных руках руки юного путешественника; наконец последнему удалось сказать:

— Но разве вы не догадываетесь, дорогой аббат: я заехал в Луден только ради вас, я знал, что вы здесь. А что касается зрелища, о котором вы говорите, то оно мне показалось просто какой-то нелепостью, и, клянусь вам, я по-прежнему люблю людей; ведь ваши личные достоинства и превосходные наставления внушили мне о людях самое возвышенное мнение. И пусть пять-шесть безумцев...

— Не будем терять времени; я вам расскажу про это безумие, все вам объясню... Но отвечайте: куда вы едете? По каким делам?

— Я еду в Перпиньян; там кардинал представит меня королю.

При этих словах неугомонный и добрый аббат вскочил с сундука и стал шагать, или, вернее, бегать взад и вперед по комнате, грохоча сапогами. Красный, со слезами на глазах, он говорил, задыхаясь.

— Кардинал! Кардинал! Бедный мальчик! Они погубят его! Боже мой, какую роль они предназначают ему? Что им от него надо? Ах, кто станет оберегать вас, друг мой, там, где на каждом шагу вас будет подстерегать опасность?— воскликнул он, вновь садясь; и, с отеческой заботой взяв руки воспитанника, он при-

стально смотрел ему в глаза, стараясь прочесть его мысли.

— Но я и сам не знаю, — проронил Сен-Мар, отведя взор в сторону, — думаю, что беречь меня будет кардинал Ришелье; ведь он был другом моего отца.

— Ах, дорогой Анри, вы повергаете меня в трепет! Если вы, дитя мое, не станете его послушным орудием, он погубит вас. Почему я не могу поехать вместе с вами! Почему в этом злополучном деле я вел себя как двадцатилетний юнец! Увы! Теперь я вам только опасен. Мне надо скрыться. Но возле вас, дитя мое, будет господин де Ту, не правда ли? — проговорил он, стараясь успокоиться. — Он ваш друг детства, немного старше вас. Слушайтесь его, дитя мое. Он юноша рассудительный. Он многое обдумал, у него собственный взгляд на вещи.

— Конечно, дорогой аббат, вы можете положиться на мою нежную привязанность к нему. Я не переставал любить его...

— Но давно перестали с ним переписываться, не правда ли? — продолжал добрый аббат, чуть улыбнувшись.

— Простите, дорогой аббат, один раз я ему написал, и именно вчера, чтобы сообщить, что кардинал зовет меня ко двору.

— Как? Кардинал сам пожелал приблизить вас к себе?

Тут Сен-Мар показал письмо кардинала-герцога к его матери, и мало-помалу аббат успокоился и смягчился.

— Ну что ж, — говорил он шепотом, — что ж, это неплохо, начало многообещающее; капитан гвардии в двадцать лет, это неплохо.

И он улыбнулся.

А юноша, в восторге от этой улыбки, которая так отвечала его собственному настроению, бросился аббату на шею и стал обнимать его, словно держал в своих руках все свое будущее — с его радостями, славой и любовью.

Но вот добрый аббат не без труда высвободился из горячих объятий и снова зашагал по комнате, вернувшись к прежним раздумьям. Он то и дело покашливал и качал головой, а Сен-Мар, не смея возобновить раз-

говор, наблюдал за ним, и вид аббата, вновь помрачневшего, наводил на него грусть.

Наконец старик сел и проникновенно произнес:

— Друг мой, дитя мое, я по-отечески увлекся вашими надеждами; должен, однако, сказать, — и отнюдь не для того, чтобы вас огорчить, — что они представляются мне чрезмерно преувеличенными и необоснованными. Если бы кардинал имел в виду только выразить вашей семье чувство привязанности и благодарности, он не пошел бы так далеко в своих милостях; но весьма возможно, что он обратил на вас особое внимание. Основываясь на том, что ему о вас, по-видимому, говорили, он решил, что вы можете сыграть ту или иную роль, предугадать которую сейчас невозможно, роль, которую он наметил в своих тайных помыслах. Он хочет подготовить вас для нее, вышколить вас, — простите мне это выражение ради его точности, — и серьезно подумайте об этом, когда настанет пора. Но ничего. Судя по тому, как складываются обстоятельства, мне кажется, вы поступите правильно, если пойдете по этому пути; так начинаются великие карьеры; главное, не дать ослепить себя и поработить. Постарайтесь, дорогое дитя мое, чтобы милости не одурманили вас и чтобы высокое положение не вскружило вам голову. Не сердитесь на меня за такие опасения; это случалось и с людьми постарше вас. Пишите мне так же, как и матушке, почаще; поддерживайте отношения с господином де Ту, и мы постараемся давать вам добрые советы. А пока, сын мой, будьте любезны — притворите окно, из него дует, и я расскажу вам, что здесь произошло.

Надеясь, что нравоучительная часть речи аббата на этом закончилась и что за ней последует нечто более интересное, Анри поспешно затворил ветхое, затканное паутиной окно и молча вернулся на свое место.

— Теперь, хорошенько все взвесив, я прихожу к выводу, что проезд сюда, пожалуй, окажется для вас не бесполезен, хотя опыт и будет горьким. Но он восполнит то, чего я вам в свое время не сказал о людской подлости; надеюсь к тому же, что развязка не будет кровавой и что письмо, с которым мы обратились к королю, успеет вовремя.

— Я слышал, будто письмо перехватили, — вставил Сен-Мар.

— Тогда все кончено, — сказал аббат Кийс. — Тогда кюре погиб. Но послушайте меня. Отнюдь не мне, дитя мое, не мне, вашему бывшему наставнику, разрушать мое собственное творение и подрывать вашу веру. Живите с ней всегда и всюду сохраняйте ту чистую веру, образец которой являет вам ваша семья, веру, которая у наших отцов была еще тверже и которой не стыдятся и величайшие полководцы нашего времени. Нося шпагу, не забывайте, что она служит богу. И в то же время, находясь среди людей, не поддавайтесь обману лицемеров; они обступят вас, сын мой, коснутся слабых струн вашего бесхитростного сердца, затронут ваше благочестие; видя их напускной пыл, вы покажетесь самому себе холодным, вам представится, будто совесть ваша ропщет, но это будет говорить не совесть. Как она восстала бы против вас, как возмутилась бы, если бы вы содействовали гибели невинного человека, призывая само небо в лжесвидетели против него!

— Отец мой! Возможно ли? — воскликнул Анри д'Эффия, всплеснув руками.

— Истинно так, — продолжал аббат. — Сегодня утром вы собственными глазами видели подтверждение этому. Дай бог, чтобы вы не стали свидетелем еще более мерзких дел. Но слушайте внимательно; заклинаю вас именем вашей матери и всем, что вам дорого: что бы ни творилось у вас на глазах, какое бы преступление ни осмелились совершить, — не произносите ни слова, ни малейшим жестом не выдавайте своего отношения к этому событию. Я знаю ваш пылкий нрав, вы унаследовали его от вашего батюшки-маршала; умерьте его, иначе вы погибли; мелкие вспышки гнева приносят мало удовлетворения и много невзгод; я знаю, вы им весьма подвержены; если бы вы только знали, какое превосходство над людьми дает невозмутимость! Древние запечатлели ее на челе божества, как прекраснейшее его свойство, ибо невозмутимость свидетельствует о чем-то, что выше наших опасений, наших надежд, наших радостей и страданий. Так и вы, дорогое дитя мое, будьте невозмутимы при виде поступков, свидетелем которых вам придется стать; но наблюдайте за ними, так нужно; ступайте на это зловещее судилище. Что касается меня, мне придется расплачиваться за мою школярскую глупость. Сейчас вы убедитесь, что лысый

человек может быть таким же безрассудным, как и кудрявый юноша вроде вас. Вот послушайте.

Тут аббат Киёе обхватил руками голову Сен-Мара и продолжал:

— Как и всякому другому, сын мой, мне было любопытно взглянуть на урсулинских чертей. Я знал, что черти хвалились, будто говорят на всех языках, и я имел неосторожность, оставив в стороне латынь, задать им несколько вопросов по-гречески. Настоятельница весьма хороша собою, но по-гречески ответить не смогла. Лекарь Дункан во всеуслышание выразил удивление по поводу того, что бес, обладающий всеобъемлющими знаниями, допускает грамматические ошибки и промахи, а по-гречески и вовсе не говорит. Молодая настоятельница, которая лежала в то время на ложе, повернулась лицом к стене, чтобы скрыть слезы, и прошептала, обращаясь к отцу Барре: «*У меня нет больше сил, сударь*». Я повторил ее слова вслух, и это привело заклинателей в бешенство: они завопили, что я должен бы знать, что некоторые бесы даже невжественнее крестьян, и все же в их могуществе и физической силе никак нельзя сомневаться, — ведь взяли же духи, которых зовут *Грезиль из чина Престолов**, *Аман из чина властей* и *Асмодей*, снять с господина де Лобардемона скуфью. Заклинатели ждали этого зрелища, но тут лекарь Дункан, человек ученый и честный, но изрядный насмешник, вздумал дернуть за веревочку, которую он обнаружил; веревочка эта незаметно шла от колонны к образу и затем опускалась как раз к месту, где стоял Лобардемон. На сей раз Дункана только обозвали гугенотом, но, думается мне, не будь его заступником маршал де Брезе, он жестоко поплатился бы за эту выходку. А тут с обычным хладнокровием выступил граф дю Люд и попросил капуцинов произнести заклинание в его присутствии. Отец Лактанс, капуцин с темным лицом и суровым взглядом, приступил к сестре Аньесе и сестре Клер; он воздел руки и, обратив на монахинь взгляд, словно змея на голубок, проревел жутким голосом: *Ouis te misit, Diabole?*¹ Девушки ответили в один голос: *Urbanus*². Монах собирался продолжить допрос, но господин дю

¹ Кто послал тебя, дьявол? (лат.)

² Урбен (лат.).

Люд с сосредоточенным видом вынул из кармана золотой ларчик и сказал, что в ларчике хранятся святые мощи, доставшиеся ему от предков, и что, хотя он отнюдь и не сомневается в том, что перед ним одержимые, он все же хотел бы испытать силу мощей. Отец Лактанс с восторгом схватил ларчик, и не успел он коснуться им лба девушек, как они неестественно подпрыгнули и стали корчиться. Лактанс ревел, произнося заклятие, Барре и все старухи бросились на колени, Миньон и судьи всячески выражали одобрение. Лобардемон, не теряя хладнокровия, крестился (и гром не поразил его!).

Когда господин дю Люд взял обратно ларчик, а монахини успокоились, Лактанс торжественно сказал:

— Полагаю, что вы и не сомневались в истинности этих мощей?

— Не больше, чем в одержимости этих монахинь,— ответил господин дю Люд и открыл ларчик.

Он был пуст.

— Вы, господа, потешаетесь над нами!— воскликнул Лактанс.

Я был возмущен всем этим балаганом и возразил:

— Да, сударь, так же, как вы потешаетесь над богом и людьми. Поэтому-то, дитя мое, вы и видите меня сейчас в этих тяжелых, толстых семимильных сапогах, от которых у меня ломит ноги, и с пистолетом в руке. Ведь наш друг Лобардемон дал приказ схватить меня, а как моя шкура ни стара, я вовсе не желаю с нею расставаться.

— Неужели он обладает таким могуществом?— вскричал Сен-Мар.

— Бóльшим, чем считают и чем можно считать. Я знаю, что одержимая настоятельница доводится ему племянницей и что у него есть постановление совета, где ему предписывается судить Урбена Грандые, не обращая внимания ни на какие прошения, направленные в парламент, ибо кардинал запретил парламенту вмешиваться в это дело.

— Но в чем же его вина?— спросил молодой человек, любопытство которого было уже сильно возбуждено.

— В том, что он наделен сильным духом и возвышенным умом, непреклонной волей, восстановившей против него власть имущих, и глубокой страстью, ко-

торая завладела его сердцем и толкнула на единственный смертный грех, в котором его можно упрекнуть. Но проведать о его любви к красавице Мадлене де Бру и разгласить ее удалось лишь после того, как были прочтены его записки, которые силою изъяли у его восьмидесятилетней матери Жанны д'Этьевр. Девушка отказывалась выйти замуж и хотела принять постриг. О, если бы монашеское покрывало могло скрыть от ее взоров то, что сейчас происходит! Красноречие Грандье и его ангельская красота не раз воспламеняли женщин; многие приезжали издалека, чтобы послушать его; я был свидетелем того, как во время его проповеди некоторые лишались чувств, другие восклицали, что он ангел, и когда он спускался с кафедры, касались его одежды, целовали ему руки. И правда, его проповеди, всегда вдохновенные, ни с чем не сравнимы по великолению, — разве что с его собственной красотой; чистейший мед Евангелия сочетался в его устах со сверкающим пламенем пророчеств, и в звуке его голоса отдавалось сердце, переполненное святым состраданием к людским мукам и слезами, готовыми окропить наставу.

Добрый аббат замолк, потому что и у него самого к горлу подступили слезы. Его круглое, обычно веселое лицо вовсе, казалось, не доступное грусти, было в этот миг особенно трогательно.

Сен-Мар, все более волнуясь, пожал ему руку молча, чтобы не прерывать рассказа. Аббат вынул из кармана красный платок, вытер глаза, высморкался и продолжал:

— Это второе по счету грозное нападение на Урбена его врагов; его уже обвиняли в том, будто он околдовал монахинь; дело рассматривалось благочестивыми прелатами, просвещенными, чиновниками, учеными мужами; они не признали за ним вины, были глубоко возмущены клеветой, и всем бесам в образе человеческого пришлось умолкнуть. Добрый и богобоязненный архиепископ Бордоский ограничился тем, что сам назначил уполномоченных для проверки мнимых заклинателей; тогда «праведники» разбежались и бесовское сборище притихло. Пристыженные тем, что результаты разбирательства преданы гласности, и оскорбленные ласковым приемом, какой был оказан Грандье нашим добрым монархом, когда тот в Париже

припал к королевским стопам, они поняли, что если Грандье восторжествует, то для них это гибель и они предстанут обманщиками; урсулинская обитель уже стала балаганом, где разыгрывались безобразные комедии; мопахини превратились в бесстыжих актеров; больше ста человек, набросившихся на Грандье в надежде погубить его, сами оказались в неприятном положении; поэтому после неудачи заговор не только не распался, но, наоборот, окреп: послушайте, какие приемы пустили в ход беспощадные враги Грандье.

Слыхали ли вы о человеке по прозвищу Серое Пресвященство, о страшном капуцине, которому кардинал доверяет тайные поручения, с которым часто советуется, хоть и презирает его? Именно к нему-то и обратились луденские капуцины. Однажды, когда королева проезжала в этих местах, простой женщине по имени Амон посчастливилось понравиться государыне, и она ее взяла к себе в услужение. Вы знаете, какая вражда разделяет двор королевы и двор кардинала, вы знаете, что Анна Австрийская и господин де Ришелье некоторое время оспаривали друг у друга благосклонность короля, и тогда Франция не ведала с вечера, которое из этих двух светил засияет утром. Однажды, в дни затмения кардинала, по рукам стала ходить сатира, вышедшая из окружения королевы; она называлась *Башиманница Королевы-Матери*; задумана и написана сатира была пошло, но в ней заключались такие обидные вещи касательно происхождения и личности кардинала, что враги Ришелье ухватились за нее и стали усиленно распространять, чем вызвали страшный гнев с его стороны. Там, говорят, разоблачались многие интриги и тайны, которые он полагал никому неизвестными; он прочел сатиру и пожелал узнать, кто автор. А луденские капуцины тем временем донесли отцу Жозефу, будто Грандье и Амон ведут постоянную переписку, а поэтому нет никакого сомнения в том, что Грандье и является автором этого памфлета. Не помогло и то, что грандье до этого напечатал несколько богословских трудов, сборников молитв и размышлений, самый слог которых говорил о том, что он не мог участвовать в этом пасквиле, написанном рыночным языком; но кардинал, уже давно настроенный против Урбена, решил, что виноват тут не кто иной, как он; кардиналу напомнили, что, когда он был еще только

настоятелем Куссейского монастыря, Грандые соперничал с ним и даже на шаг опередил его. А теперь я опасуюсь, как бы этот шаг не свел Грандые в могилу...

При этих словах на лице доброго аббата промелькнула скорбная улыбка.

— Как? Неужели вы думаете, что дело дойдет до казни?

— Да, дитя мое, именно — до казни; у него уже изъяли все документы и постановления, которые подтверждали его невиновность и могли бы помочь ему оправдаться; их изъяли, несмотря на возражения его несчастной матери, которая бережно хранила их как грамоту, дающую ее сыну право на жизнь; уже подвергнут проверке обнаруженный в его бумагах трактат о безбрачии духовенства, и объявлено, что трактат написан с целью распространения ереси. Конечно, вина Урбана велика, и любовь, толкнувшая его на такие мысли, как бы чиста она ни была, — тяжкий грех для человека, всецело посвятившего себя богу; но несчастный священник был далек от мысли поощрять ересь и написал свой трактат только для того, чтобы успокоить совесть мадемуазель де Бру. Было настолько очевидно, что его действительных прегрешений недостаточно для вынесения смертного приговора, что вновь извлекли на свет божий уже давно забытое обвинение в колдовстве, а кардинал, делая вид, будто верит этому обвинению, распорядился начать в Лудене новый суд и во главе его поставил Лобардемона; а это говорит о том, что несчастному уготована смерть. О, да будет угодно небу, чтобы вы никогда не узнали того, что на растленном языке правительства зовется *государственным переворотом!*

В этот миг из-за невысокой стены, окружавшей двор, раздался страшный вопль; аббат и Сен-Мар в ужасе вскочили с мест.

— Это женщина, — сказал старик.

— Душераздирающий вопль! — сказал юноша. — Что там такое? — обратился он к своим слугам, которые сразу же выбежали во двор.

Те ответили, что больше ничего не слышно.

— Тем лучше. А теперь не шумите, — крикнул им аббат.

Он затворил окно и обхватил голову руками.

— О, что за вопль, дитя мое!— Старик сильно побледнел.— Что за вопль! Он пронзил мне душу; случилось что-то ужасное. Боже мой! Этот крик ошеломил меня, я не в силах продолжать беседу. И надо же было, чтобы он раздался как раз в то время, когда я говорил с вами о вашей будущей судьбе! Да благословит вас бог, дорогое дитя мое! Преклоните колена.

Сен-Мар исполнил желание наставника; старик благословил его, поцеловал в лоб и, помогая подняться, сказал:

— Уезжайте поскорее, дитя мое, уже поздно, вас могут застать у меня, уезжайте; оставьте здесь слуг и лошадей; закутайтесь в плащ и уезжайте. Мне надо еще кое-что написать, прежде чем наступят сумерки, а после этого я смогу отправиться в Италию.

Они вновь обнялись, пообещали писать друг другу, и Анри удалился. Аббат, следивший за ним из окна, крикнул:

— Что бы ни случилось — будьте благоразумны!— И он еще раз по-отечески благословил его, прошептал:— Бедный мальчик!



Глава IV

СУД

Oh! vendetta di Dio, quanto tu dei
Esser temuta da ciascun che legge
Cio, che fu manifesto agli occhi miei.

Dante

О божья месть, как тяжко уstraшен
Быть должен тот, кто прочитает ныне,
На что мой взгляд был въяве устремлен!

*Данте*¹

Несмотря на обычай, введенный кардиналом Ришелье, проводить закрытые судебные разбирательства, судьи луденского юре решили открыть двери для народа; однако они вскоре в этом раскаялись. Они были уверены, что достаточно одурачили толпу своими ухищрениями, продолжавшимися около полугода; все они желали гибели Урбена Грандье, но им хотелось также чтобы смертный приговор, который они подготовили и который, как сказал добрый пастырь в беседе со своим воспитанником, им приказано было вынести, был как бы утвержден негодованием народа.

Лобардемон являлся своего рода хищной птицей, которую кардинал всегда направлял туда, где ему для осуществления мести требовался надежный и ловкий сподручный, и в данном случае Лобардемон вполне оправдал павший на него выбор. Только одна ошибка была допущена: он разрешил, противно установившемуся обычаю, гласный суд; он намеревался запугать и уstrашить; он уstrашил, но вызвал отвращение.

Толпа, которую мы оставили у входа в помещение суда, простояла там два часа, в то время как глухие удары молота возвещали о том, что в большом зале наспех делаются какие-то странные приготовления. На-

¹ Данте Алигьери, Божественная комедия. «Ад». Песня XIV. Перевод М. Лозинского.

конец стража распахнула тяжелые скрипящие двери, и жадный до зрелищ народ хлынул в зал. Юного Сен-Мара внесло туда со второй волной, и он занял место за пилоном, откуда мог за всем наблюдать, не будучи замеченным. Он с досадой увидел, что группа горожан в черном оказалась рядом с ним; но широкие двери снова затворились, и вся часть помещения, где стоял народ, оказалась в такой темноте, что никого невозможно было узнать. На дворе было еще светло, а в зале уже горели факелы; но все они были сосредоточены в том конце, где возвышался помост с очень длинным столом, за которым разместились судьи; кресла, столы, ступени были покрыты черным сукном и отбрасывали на лица мрачные отсветы. Скамья для подсудимого стояла справа; на черной ткани, которой она была застлана, выделялись вышитые золотом языки пламени, олицетворявшие суть предъявленного ему обвинения. Подсудимый сидел, окруженный стражниками; руки его были по-прежнему скованы цепями, концы которых держали с показным ужасом два монаха; они нарочито шарахались от подсудимого при малейшем его движении, словно держали на поводке бешеного тигра или волка, или боялись, что их рясы вот-вот займутся пламенем. В то же время они тщательно старались заслонить обвиняемого от взоров толпы.

Бесстрастное лицо господина де Лобардемона как бы господствовало над судьями, которых он сам выбрал; ростом он был на целую голову выше остальных, да к тому же сидел в кресле, стоявшем на возвышении; в каждом его взгляде, тусклом и тревожном, содержался приказ. На нем была длинная, широкая красная мантия, на голове — черная скуфейка; казалось, он всецело погружен в разбор бумаг, которые он затем передавал судьям, а те по очереди рассматривали их. Обвинители — все лица духовные — помещались справа от судей; они были облачены в белые стихари и епитрахили; отец Лактанс выделялся среди них простотой своей капуцинской рясы, тонзурой и резкими чертами лица. В одной из лож сидел, желая быть незамеченным, епископ Пуатьевский; остальные ложи были заняты женщинами, скрытыми под вуалями. Перед помостом сновали отвратительные существа — подонки городских улиц; шесть молодых монахинь-урсули-

нок — то были свидетельницы — брезгливо сторонились их.

Остальную часть зала заполнила огромная, темная, молчаливая толпа; люди цеплялись за карнизы, балки; все они были полны ужаса, который передавался и судьям, ибо ужас этот объяснялся сочувствием обвиняемому. Многочисленные стражники с длинными пиками служили обрамлением зловещей картине этого людского сборища.

По знаку председателя свидетелям предложили удалиться; пристав растворил перед ними узкую дверь. Многие заметили, как настоятельница урсулинок, проходя мимо господина де Лобардемона, на мгновенье задержалась и сказала ему довольно громко:

— Вы обманули меня, сударь.

Но он остался по-прежнему невозмутим. Настоятельница удалилась.

В зале царило глубокое безмолвие.

Один из судей, по имени Умэн — орлеанский судья тайных дел, — важно, но с явным смущением, поднялся с места и стал оглашать нечто вроде обвинительного заключения таким тихим и хриплым голосом, что нельзя было разобрать ни слова. Однако речь его становилась внятной всякий раз, когда он произносил что-либо, что могло поразить простонародные умы. Он разделил улики на две группы: одни основывались на показаниях семидесяти двух свидетелей; другие — и наиболее достоверные — на заклинаниях досточтимых отцов, здесь присутствующих, — как воскликнул он, перекрестившись.

Отцы Лактанс, Барре и Миньон глубоко поклонились и тоже осенили себя крестом.

— Да, господа, — сказал он, обращаясь к судьям, — сии белые розы собраны и представлены вам, равно как и рукопись, подписанная кровью колдуна и являющаяся списком с договора, который он заключил с Люцифером; оный список он вынужден был постоянно носить при себе, дабы удержать свое могущество. И сейчас еще можно, к великому ужасу, различить слова, начертанные в углу пергамента: *«Подлинник хранится в преисподней, в кабинете Люцифера».*

В толпе послышался раскатистый хохот, вырвавшийся из чьей-то могучей груди. Председатель по-

краснел и дал знак стражникам; те пытались обнаружить нарушителя порядка, но тщетно.

Судья-докладчик продолжал:

— Бесов заставили устами их жертв назвать свои имена. Имена бесов, а также их злодеяния записаны в документах, лежащих на этом столе: их зовут Астарот из чина Серафимов; Эзас, Сельсий, Акаос, Седрон, Асмодей из чина Престолов; Алекс, Забулон, Хам, Уриэль и Ахас из чина Властей* и т. д., ибо несть им числа. А что касается до их козней — кто из нас сам не был им свидетелем?

По залу пронесся протяжный гул; председатель призвал толпу к порядку, несколько алебрадщиков выступило вперед, все умолкло.

— Мы с прискорбием видели, как молодая уважаемая настоятельница урсулинок собственными руками терзала себе грудь и каталась по земле, в пыли; другие монахини — Аньеса, Клер и прочие, — нарушив скромность, приличествующую их полу, допускали похотливые телодвижения и непотребно смеялись. Когда кое-кто из нечестивцев высказал сомнение насчет присутствия бесов и когда сами мы почувствовали, что уверенность наша колеблется, ибо бесы отказывались назвать себя в присутствии посторонних — будь то на греческом или арабском языке, — тогда достопочтенные отцы укрепили нашу уверенность, соблагОВОЛИВ разъяснить, что бесы крайне хитры, а посему нет ничего удивительного в том, что они притворяются невеждами, дабы им поменьше задавали вопросов; что бесы даже умышленно допускают в своих ответах варваризмы, солецизмы* и прочие погрешности с тайным расчетом, что тем они вызовут к себе презрение и у праведных отцов пропадет желание досаждать им; ненависть же их столь люта, что, собираясь совершить одну из своих козней, они внушили кому-то подвесить к потолку веревку, дабы дать повод для обвинения почтенных людей в подлоге, между тем как достойные уважения свидетели под присягой подтвердили, что в этом месте никакой веревки не было.

Но, господа, помимо того, что небо чудесным образом изъявило свою волю устами благих истолкователей, мы только что явились свидетелями другого знаменья: в то время как судьи были погружены в глубокие размышления, неподалеку от зала суда раздался громкий

крик; мы направились в то место и нашли там тело девицы знатного происхождения; она на улице испустила последний вздох на руках досточтимого каноника отца Миньона; а от досточтимого отца, здесь присутствующего, и нескольких других уважаемых особ, мы узнали, что имелись подозрения — не одержима ли и эта девица, ибо давно уже ходили слухи о том, что Урбен Грандье весьма ею очарован; поэтому отца Миньона осенила праведная мысль испытать девицу, и с этой целью он подошел к ней и неожиданно сказал: «*Урбена казнили*»; в ответ на это девица издала громкий вопль и упала мертвой; таким образом, по коварству беса, она не успела прибегнуть к помощи святой матери нашей, католической церкви.

В толпе поднялся ропот негодования, а кое-где раздалось слово «убийцы»; судебные пристава зычным голосом приказали соблюдать тишину; но тишина восстановилась только потому, что судья-докладчик снова заговорил, а еще вернее — потому, что любопытство взяло верх над другими чувствами.

— Позорное, сеньоры, дело! — продолжал он, стараясь такого рода восклицаниями подбодрить себя. — При ней нашли сочинение, написанное рукой Урбена Грандье!

И он вынул из стопки документов книгу в пергаментном переплете.

— Боже! — вскричал Урбен.

— Берегитесь! — вскричали судьи, обращаясь к окружавшим его стражникам.

— Сейчас бес даст себя знать, — изрек отец Лактанс зловещим голосом. — Подтяните цепи!

Цепи подтянули.

Судья продолжал:

— Звали ее Мадлена де Бру; ей было девятнадцать лет.

— Боже мой! Боже! Это свыше моих сил! — вскричал обвиняемый и замертво рухнул на пол.

Присутствующие заволновались; некоторое время царило всеобщее возбуждение.

— Бедняга! Он любил ее! — говорили одни.

— Такая хорошая девушка! — говорили другие.

Многих охватывало чувство жалости. Грандье опрыскали холодной водой, но он не приходил в себя;

пришлось привязать его к скамье. Судья-докладчик продолжал:

— Нам предписано огласить в суде надпись на этой книге.

И он прочитал:

— Ради тебя, прекрасная, кроткая Мадлена, ради успокоения твоей встревоженной совести я выразил в этой книге мысль, которая безраздельно владеет моей душой. Все мои мысли принадлежат тебе, небесная дева, ибо все они обращены к тебе, как к единственной цели моего существования. Но та, которую я посылаю тебе сейчас как цветок, исходит от тебя, существует только благодаря тебе и возвращается к тебе одной.

Не печалься, что любишь меня; не скорби, что я тебя боготворю. Разве ангелы небесные не ведают любви? Разве не в любви награда блаженных душ? Разве мы не так же чисты, как ангелы? Разве наши души не столь же отрешены от земли, как это бывает после смерти? О Мадлена, чем же могли мы оскорбить взор господя? Неужели тем, что молимся вместе и, склонившись ниц перед алтарем, просим скорой кончины, которая застала бы нас в пору юности и любви? Или тем, что, мечтая вдвоем под сенью деревьев на погосте, мы подыскивали двойную могилу, улыбаясь смерти и оплакивая нашу жизнь? Или тем, что ты склоняешься передо мной в исповедальне и, говоря в присутствии бога, не ведаешь, в чем дурном тебе исповедаться,— так чисты небесные сферы, в которые я вознес твою душу? Что же могло бы оскорбить творца? Пожалуй, да, пожалуй, одно только: мне думается, что кто-нибудь из духов небесных мог позавидовать моему блаженству, когда в праздник пасхи я увидел тебя, коленопреклоненную передо мною и очищенную долгим подвижничеством от тех следов скверны, которые мог оставить на тебе первородный грех. Как ты была прекрасна! Взгляд твой искал в небе господя, и я дрожащей рукой низвел его на твои чистые уста, которых не осмелились коснуться уста ни одного смертного. Небесное создание! Я один был в тот миг свидетелем господних тайн или, вернее, одной-единственной тайны: непорочности твоей души; я приобщил тебя к нашему Создателю, который сошел и в мою душу. Несказанный брак, где венчающим был сам предвечный! Только

такой брак и дозволен между девственницей и пастырем; единственным наслаждением для каждого из нас было сознавать, что для другого начинается вечность блаженства, вместе вдыхать благоухание неба, прислушиваться к горным созвучиям и быть уверенным, что наши души, обнаженные только перед господом и одна перед другой, достойны вместе поклоняться ему.

Что же за сомнение еще тяготит твою душу, сестра моя? Может быть, тебя смущает мысль, что я чересчур боготворю твою добродетель? Или ты боишься, что мое чистое поклонение отвлечет меня от поклонения создателю?..

Когда Умэн дошел до этих слов, дверь, через которую удалились свидетели, внезапно распахнулась. Судьи с беспокойством стали перешептываться. Лобардемон недоумевал и знаком спросил у монахов, не делается ли это по их распоряжению; но те находились довольно далеко и, сами удивленные, не могли дать ему знать, что происходящее ими не предусмотрено. Впрочем, едва они успели обменяться взглядами, как, к великому изумлению присутствующих, на середину подмостков вышли три женщины в рубахах, босые, с веревками вокруг шен и со свечами в руках. То была настоятельница в сопровождении сестер Лньесы и Клер. Обе они плакали; настоятельница была очень бледна, но держалась уверенно, и взгляд ее был решителен и смел; она опустилась на колени; монахини последовали ее примеру; все так растерялись, что никому и в голову не пришло задержать ее, и она ясным, твердым голосом произнесла слова, отозвавшиеся во всех уголках зала:

— Во имя пресвятой тронцы, я, Жанна де Бельфись, дочь барона де Коза; я, недостойная настоятельница Луденского монастыря урсулинок, прошу у господа бога и у людей простить мне грех, что я оклеветала невинного Урбена Грандье. Я не была одержима; то, что я говорила, было мне подсказано другими, совесть не дает мне покоя...

— Отлично! — послышалось на трибунах, в толпе раздались рукоплескания.

Судьи вскочили со своих мест; стражники расте-

рянно смотрели на председателя: он был в ярости, но продолжал сидеть.

— Всем молчать! — крикнул он в бешенстве. — Стражники, исполняйте свой долг!

Человек этот чувствовал за собою столь могущественную поддержку, что не ведал страха, а мысль о небесной каре никогда не приходила ему в голову.

— Достопочтенные отцы, каково ваше мнение? — обратился он к монахам, сделав им знак.

— Наше мнение, что дьявол старается спасти своего друга... *Obmutesce, Satanas!*¹ — вскричал отец Лактанс страшным голосом, как бы вновь изгоняя беса.

Огонь, поднесенный к пороху, не оказывает столь мгновенного действия, какое оказали эти слова. Жанна де Бельфиель порывисто встала; встала во всей красе своей юности, которая производила еще большее впечатление, благодаря ее необычной одежде; казалось, это душа, вырвавшаяся из ада, предстала перед своим соблазнителем; настоятельница обратила на монахов взгляд своих черных глаз, и Лактанс потупился; она босыми ногами ступила два шага, гулко отдавшиеся в подмостках; свеча, которую она держала в руке, казалась мечом ангела.

— Молчите, обманщик! — сказала она решительно. — Дьявол, обладавший мною, это вы; вы обманули меня, его не за что судить; только сегодня я узнала, что его судят; сегодня я поняла, что ему грозит смерть, и я буду говорить.

— Женщина, тебя совращает дьявол!

— Скажите лучше, что меня вразумляет раскаяние; девушки, такие же несчастные, как и я, встаньте; подтвердите, что он не виновен.

— Клянемся! — ответили юные послушницы, все еще стоявшие на коленях; тут они залились слезами, потому что не обладали таким непреклонным мужеством, как их настоятельница.

Аньеса, произнеся эти слова, до того испугалась, что вскричала, обращаясь к народу:

— Помогите! Они меня накажут, они меня убьют!

И она бросилась в гущу толпы, увлекая за собою подругу; народ принял их с готовностью; тысячи голо-

¹ Умолкни, сатана! (лат.)

сов обещали им покровительство; со всех сторон слышались проклятия; мужчины стучали палками по полу; никто не осмелился воспрепятствовать тем, кто передавал девушек из рук в руки, помогая им выбраться на улицу.

Во время этой сцены ошеломленные судьи перешептывались. Лобардемон смотрел на стражников и указывал им те места зала, за которыми сугубо надлежало наблюдать; не раз он пальцем указывал на группу горожан в черном. Обвинители обратили взоры на ложу епископа Пуатьеского, но им ничего не удалось прочесть на его равнодушном лице. То был один из тех старцев, которыми смерть завладевает еще лет за десять до того, как совсем угаснет в них жизнь; глаза его, казалось, заволокла дрема; раскрытые губы непрерывно шептали какие-то привычные, невнятные слова молитвы; у него еще сохранилось достаточно разума, чтобы отличить среди людей наиболее могущественного и подчиняться ему, не заботясь о последствиях. Поэтому он подписал заключение, вынесенное сорбонскими богословами, где утверждалось, будто монахини одержимы дьяволом, и даже не подумал о том, что это повлечет за собою казнь Урбена; последующее представлялось ему одной из тех более или менее длительных церемоний, к которым он относился совершенно равнодушно, ибо уже давно привык к ним, привык быть не только свидетелем, но и участником, даже необходимой принадлежностью сопровождающих их торжеств. И в данном случае он не выказал никакого отношения к событиям и лишь хранил безупречно благородный и ничего не говорящий вид.

Между тем отец Лактанс, придя в себя после неожиданного обличения настоятельницы, повернулся к председателю и сказал:

— Вот еще одно убедительное доказательство бесноватости, ниспосланное нам небесами; ибо до сего времени мать-настоятельница никогда не нарушала скромности и суровости, присущих ее ордену.

— Пусть вся вселенная видит меня сейчас! — все так же твердо сказала Жанна де Бельфиель. — Нет унижения, которое я не заслужила бы на земле, а небо отвергнет меня, потому что я была вашей соучастницей!

По лбу Лобардемона струился пот. Стараясь успокоиться, он сказал:

— Что за нелепые выдумки! Кто же вас принуждал, сестра?

Голос девушки стал совсем потусторонним; она собралась с последними силами, прижала руку к сердцу, словно хотела вырвать его, и, смотря на Урбена Грандье, ответила:

— Любовь.

Весь зал вздрогнул; Урбен, сидевший после обморока с опущенной головой, словно мертвый, медленно обратил на нее взор и окончательно пришел в себя, чтобы испытать новую муку. Кающаяся продолжала:

— Да, любовь; он отверг ее, он так и не познал ее до конца, я вдыхала любовь в его речах, глаза мои черпали ее в его небесном взоре, его наставления только разжигали ее во мне. Да, Урбен чист, как ангел, но добр, как человек, который любит; я не знала, что он любит. Не кто иной, как вы,— воскликнула она, указывая на Лактанса, Барре и Миньона, и скорбь в ее голосе сменилась негодованием,— не кто иной, как вы, открыли мне, что он любил, вы, которые сегодня утром уж чересчур жестоко отомстили за меня, одним-единственным словом убив мою соперницу. Увы! Я хотела только разлучить их. Это было преступно; но по матери я итальянка, пеистовая ревность пожирала меня; вы позволяли мне видеться с Урбеном, быть его другом, видеть его каждый день...

Она умолкла, затем воскликнула:

— Люди, он неповинен! Прости меня, страдалец! Лобзаю стопы твои!— Она упала к ногам Урбена и только теперь разразилась потоком слез.

Урбен поднял скованные руки, благословил ее и сказал ласково, еле слышным голосом:

— Ступайте, сестра. Я прощаю вас во имя того, пред кем вскоре предстану; я говорил вам когда-то, а теперь вы и сами убедились, что страсти всегда пагубны, если человек не стремится обратить их к небесам!

Лицо Лобардемона вновь покраснело.

— Несчастный!— сказал он.— Ты прибегаешь к словам церкви!

— Я не покидал ее лона!— возразил Урбен.

— Уберите эту женщину!— распорядился председатель.

Когда стражники подошли к настоятельнице, чтобы исполнить приказание, они увидели, что она так туго затынула веревку, обвивавшую ее шею, что вся побагровела и была почти без сознания. Присутствующие в зале женщины бросились к выходу, многих вынесли без чувства; но зал все еще был полон, ряды сомкнулись, а люди, толпившиеся на улице, хлынули в помещение.

Судьи в ужасе поднялись со своих мест; председатель приказал было очистить помещение от публики, но люди, хоть и надели опять шапки, стояли в злобной неподвижности; стражников было недостаточно, поэтому пришлось уступить, и Лобардемон дрогнувшим голосом объявил, что суд удаляется на полчаса. Заседание было прервано; присутствующие не сходили с мест, храня мрачное молчание.



Глава V

МУЧЕНИК

Пытка вопрошает — боль отвечает.

Рецитар «Тамплиеры»

Напряженный интерес к этому подобию суда, сопутствующие ему приготовления, обстоятельства, приведшие к перерыву, — все это настолько приковывало к себе всеобщее внимание, что нигде не слышно было посторонних разговоров. В толпе, правда, раздались несколько возгласов, но вырвались они одновременно, и никто из зрителей не задумывался над впечатлениями соседей, никто даже не пытался вникнуть в них или поделиться собственными. Но едва только народ оказался предоставленным самому себе, последовал как бы взрыв, все громко заговорили. Среди этого гама слышалось несколько голосов, которые покрывали общий шум, подобно тому как звуки трубы выделяются на фоне оркестра.

В те времена в народе было еще достаточно простаков, готовых верить несусветным рассказам тех, кто их сбивал с толку; многие не смели составить себе собственное суждение даже относительно того, что видели воочию; поэтому большинство присутствовавших с трепетом ожидало возвращения судей; то тут, то там люди вполголоса говорили с таинственным и важным видом, свойственным трусливой глупости:

— Прямо-таки не знаешь, сударь, что и думать на этот счет.

— Вот уж действительно диковинные вещи творятся, сударыня!

— В странное мы живем время!

— Кое-что я и раньше готов был подозревать, но, право, от какого-либо суждения я бы воздержался да и теперь воздержусь.

— Поживем — увидим, — и т. п.

Дурацкие рассуждения толпы, которые доказывают лишь одно: она готова поддаться первому же, кто крепко за нее возьмется.

Таков был основной тон; зато в группе горожан в черном слышались иные речи:

— Неужели мы это так оставим? Дойти до того, чтобы сжечь наше обращение к королю! Если бы король узнал об этом! Варвары! Обманщики! Как ловко они все подстроили! Неужели на наших глазах совершится убийство? Неужели мы побоимся стражников? Нет, нет, нет!

То были словно звуки трубы, покрывавшие оглушительный оркестр.

Все обратили внимание на молодого адвоката, который взобрался на скамью и рвал на мелкие клочки какую-то тетрадь; затем он громким голосом заговорил

— Да, я рву и бросаю на ветер защитительную речь, которую приготовил; прения отменены; мне запрещено его защищать; я могу обратиться только к тебе, народ, и радуюсь этому; ты видел этих гнусных судей; кто из них может внять голосу истины? Кто из них достоин внимать словам честного человека? Кто из них выдержит его взгляд? Да что я говорю? Они отлично знают истину, истина притаилась в их преступных душах; она, как змея, жалит их сердце; они трепещут в своем логове, где терзают попавшуюся им жертву; они трепещут, потому что слышали вопли трех обманутых женщин. Да и зачем я собирался говорить! Я хотел защитить Урбена Грандые. Но может ли чье-либо красноречие равняться с красноречием этих несчастных? Чьи слова лучше, чем их вопли, убедили бы вас в его невиновности? Само небо заступилось за него, когда призвало этих женщин к раскаянию и самопожертвованию, и небо завершит свое благодеяние!

— *Vade retro, Satanas!*¹ — послышалось несколько голосов из окна сверху.

Фурнье на минуту умолк.

— Слышите, — продолжал он, — эти пособники дьявола святотатственно произносят слова Евангелия! Видно, они замышляют какое-то новое злодеяние.

¹ Отыди, сатана! (лат.)

— Так скажите, как нам быть?— воскликнули в один голос окружающие.— Что нам предпринять? Что они сделали с ним?

— Стойте здесь, никуда не уходите, стойте молча,— ответил молодой адвокат,— бездействующий народ всесилен, в бездействии — его мудрость, его могущество. Смотрите молча, и они затрепещут.

— Но они не посмеют выйти сюда,— сказал граф дю Люд.

— Хотел бы я еще раз взглянуть на того длинного красного мерзавца,— сказал внимательно за всем наблюдавший Гран-Фере.

— Да и на славного господина кюре не худо бы посмотреть,— пробормотал старик Гийом Леру, взглянув на своих молодцов, которые тихо переговаривались, следя за стражниками и примериваясь к ним. Парни издевались над их мундирами и показывали на них пальцами.

Сен-Мар по-прежнему стоял, прислонившись к столбу, за которым он сначала притаился, и по-прежнему кутался в черный плащ; он не спуская глаз наблюдал за всем, что происходило, не пропускал ни одного сказанного слова, и сердце его омрачилось ненавистью и скорбью; помимо воли его обуревало острое желание покарать, убить, какая-то смутная потребность отмщения; зло вызывает в душе молодого человека прежде всего именно такое чувство, потом на смену гнева приходит печаль, затем наступает безразличие и презрение, еще позже — холодное восхищение великими негодяями, достигшими своей цели; но это случается уже тогда, когда из двух начал, составляющих природу человека — души и тела,— берет верх последнее.

Между тем в правой части зала, неподалеку от помоста для судей, несколько женщин внимательно следили за мальчуганом лет восьми, примостившимся на карнизе; ему помогла залезть туда его сестра Мартина — та самая девушка, которую столь безжалостно поддел солдат Гран-Фере. После того как суд удалился, мальчишке уже не на что было смотреть, и он вскарабкался наверх, к слуховому окошку, пропускавшему сле заметный свет; мальчик думал, что найдет там ласточкино гнездо или какое-нибудь другое подобное сокровище; но стоило ему стать на карниз и ухватиться

за решетки древней раки св. Жермона, как он пожалел о своей затее и закричал:

— Сестрица, сестрица, дай скорее руку, я слезу.

— А что ты там увидел?— удивилась Мартина.

— Я боюсь сказать. Я хочу слезть.

И мальчик расплакался.

— Не слезай, не слезай,— закричали женщины.— Не бойся, голубчик, не слезай и скажи, что ты там видишь.

— Господина кюре положили между двумя досками, и они сжимают ему ноги, а доски обвязаны канатами.

— Ну, значит, пытка,— разъяснил какой-то горожанин.— Посмотри, малыш, что там еще видно?

Ободренный мальчик снова заглянул в окошко и продолжал уже спокойнее:

— Теперь господина кюре не видать, потому что все судьи его обступили и смотрят на него, а за их мантиями я ничего не вижу. А капуцины склонились к нему и что-то ему шепчут.

Вокруг мальчика собиралось все больше любознательных, и все молчали, с тревогой ожидая, что он еще скажет, словно от этого зависела их жизнь.

— Вижу...— продолжал мальчик.— Капуцины благословили молот и гвозди, и палач вбивает между канатами четыре клина... Господи! Как они сердятся на него, сестрица, что он молчит... Мама, мама, дай мне руку, я хочу вниз.

Но, обернувшись, мальчик увидел вместо матери множество мужчин, которые смотрели на него с какой-то мрачной сосредоточенностью; все знаками показывали ему, чтобы он продолжал рассказывать. Он не посмел спуститься и, весь дрожа, вновь прильнул к окошку.

— Теперь отец Лактанс и отец Барре сами вбивают клинья, чтобы стиснуть ему ноги. Какой он бледный! Он, кажется, молится богу. А сейчас голова у него запрокинулась; верно, он помирает. Ой, ой! Возьмите меня отсюда!

И он свалился на руки молодого адвоката, господина дю Люда и Сен-Мара, которые подошли, чтобы подхватить его.

*Deus stetit in synagoga deorum: in medio autem Deus difjudicat...*¹ — донеслось из-за окошка пение сильных, гнусавых голосов; они долго пели псалмы, и звуки их напевов перемежались с ударами молотов, — чьи-то дьявольские руки словно отбивали такт небесных песнопений. Казалось, что стоишь возле кузнечного горна; но удары раздавались глухо, и сразу чувствовалось, что наковальней тут служит человеческое тело.

— Тише! — сказал Фурнье. — Он заговорил; пение и удары затихли.

И действительно, слабый голос медленно произнес:

— Почтенные отцы! Умерьте пытки, а не то вы повергнете душу мою в отчаяние и я наложу на себя руки.

Тут раздался и взметнулся до самого свода взрыв разноголосых криков; разъяренные люди бросились на помост и смели изумленных, растерявшихся стражников; безоружная толпа теснила их, мяла, прижимала к стене и не давала им двинуться; людской поток устремился к двери, ведущей в камеру пыток; дверь затрещала под его напором и вот-вот готова была податься; тысячи грозных голосов изрыгали проклятия; судей объял ужас.

— Они убежали! Они его унесли, — крикнул какой-то мужчина.

Все замерли; затем толпа кинулась прочь от этого мерзкого места и наводнила прилегающие улицы. Там царил невообразимая сумятица.

Пока тянулось заседание суда, уже успело стемнеть; шел проливной дождь. Стояла кромешная тьма; крики женщин, спотыкавшихся на мостовой или сбитых с ног конными стражниками, глухие, непрерывные возгласы взбешенных мужчин, то тут, то там собиравшихся группами, непрерывный звон колоколов, возвещавший о предстоящей казни, отдаленные раскаты грома — все это усугубляло страшный беспорядок. Для глаз было не меньше диковинного, чем для слуха: несколько погребальных факелов, зажженных на перекрестках, бросали причудливые отсветы на вооруженных всадников, которые проносились галопом, давя толпу; они направлялись на площадь св. Петра — место их сбора; не раз вдогонку им летели черепицы,

¹ Встал бог в собрании богов, ибо в середине бог судит... (лат.)

но, не угодив в промчавшегося виновного, падали на стоявшего рядом невинного. Смятение, казалось, достигло крайних пределов, но оно еще более усилилось, когда народ, стовсюду сбегавшийся на небольшую базарную площадь, увидел, что она со всех сторон забаррикадирована и полна конных стражников и стрелков. К придорожным тумбам были привязаны тележки, которые преграждали доступ на площадь, а возле них расставили часовых с пищалями. Посреди площади высилось сооружение из огромных бревен, уложенных таким образом, что получился правильный куб; поверх бревен лежали дрова полегче и побелее; в середине торчал громадный столб. Возле этой своеобразной мачты, видневшейся издали, стоял человек в красном, с опущенным факелом в руке. У ног его помещалась огромная жаровня, защищенная от дождя листом железа.

Зрелище это наводило такой ужас, что снова воцарилась мертвая тишина; некоторое время слышался только шум дождя, который потоками низвергался с небес, да приближающиеся раскаты грома.

Сен-Мар с господами дю Люд и Фурнье и все наиболее значительные лица укрылись от грозы под колоннадой храма св. Креста, к которой вели двадцать каменных ступеней. Костер разложили прямо перед храмом, и отсюда вся площадь видна была как на ладони. Она была совершенно пустынна, по ней текли дождевые потоки; но мало-помалу во всех домах стали зажигаться огни, которые освещали мужчин и женщин, теснившихся на балконах. Юный д'Эффия печально смотрел на эти зловещие приготовления; воспитанный в духе высокой чести и далекий от низменных помыслов, которые зарождаются в человеческом сердце под влиянием вражды и честолюбия, он не понимал, как может твориться столько зла без какого-либо важного, сокровенного повода; дерзость такого приговора представлялась ему столь невероятной, что сама жестокость кары как бы оправдывала ее в глазах юноши; в душу его закрался тайный ужас — тот ужас, под влиянием которого народ молчал; он почти забыл о сочувствии, которое внушал ему несчастный Урбен, и стал думать о том, что, быть может, эта крайняя жестокость справедлива и вызвана тайной связью осужденного с адом; и публичные разоблачения монахинь, и рассказы его

достойнейшего воспитателя померкли в его памяти — так всемогущ успех, даже в глазах незаурядных людей, такое уважение внушает всем сила, даже вопреки голосу совести. Юный путник уже думал о том, не вырвала ли у осужденного пытка какого-нибудь чудовищного признания, а в это время храм, погруженный в темноту, вновь осветился; двери его распахнулись, и при свете бесчисленных факелов в сопровождении стражников появились все судьи и священники; среди них шел Урбен, которого поддерживали, вернее, несли шесть одетых в черное «кающихся», ибо ноги у него, связанные и обмотанные окровавленными тряпками, были, по-видимому, переломаны, и он не мог стоять. Прошло не более двух часов с тех пор, как Сен-Мар видел его, и тем не менее он еле его узнал: с его лица исчезли малейшие следы румянца, и оно страшно осунулось; кожа, желтая и блестящая, как слоновая кость, покрылась смертельной бледностью; из жил, казалось, вытекла вся кровь; только в черных глазах, ставших чуть ли не вдвое больше, еще теплилась жизнь, и умирающий их взгляд блуждал по сторонам; темные волосы разметались по плечам и по белой рубахе, спускавшейся до самых ног; этот своеобразный наряд с широкими рукавами отливал желтизной и распространял запах серы; длинная толстая веревка охватывала шею несчастного и спускалась на грудь. Он был похож на призрак, но на призрак мученика.

У колоннады храма Урбен остановился или, вернее, его остановили; капуцин Лактанс вложил ему в руку горящий факел и, поддерживая древко, сказал с умолимой жестокостью:

— Приноси повинную и проси у господина прощения за колдовство.

Несчастный обратил к небесам взор и с трудом проговорил:

— Именем бога живого, отвергаю тебя, Лобардемон, судья неправедный! Меня разлучили с моим духовником, и мне пришлось исповедоваться в грехах перед самим господом богом, ибо я окружен врагами; бог милосердный мне свидетель, я никогда не был колдуном; я не знал иных тайн, кроме тайн католической апостольской римской церкви, в лоне которой я и умираю; я многим согрешил против самого себя, но не против бога и господина нашего...

— Замолчи! — вскричал капуцин, стараясь зажать Урбену рот, прежде чем тот успеет произнести имя спасителя. — Несчастный, ты закоренел в своих преступлениях, так возвращайся же к дьяволу, который послал тебя к нам!

По его знаку четыре священника приблизились с кропилами в руках, чтобы очистить воздух, которым дышал колдун, землю, по которой он ступал, и костер, на котором ему предстояло сгореть. Во время этой церемонии судья тайных дел наспех огласил приговор, который и поныне можно разыскать среди документов, относящихся к этому делу; он датирован 10 августа 1639 года и утверждает, что *«Урбен Грандье пойман и достоюльным образом изболщен в колдовстве, порче, совращении нескольких монахинь-урсулинок города Лудена, а также мирян»* и т. д.

Тут сверкнула ослепительная молния, и судья, прервав чтение, обратился к господину де Лобардемону и спросил, нельзя ли, ввиду непогоды, отложить казнь на другой день, но тот ответил:

— В приговоре сказано, что он должен быть приведен в исполнение в течение двадцати четырех часов; не бойтесь этой толпы, пребывающей в сомнении, мы ее убедим...

Под колоннадой собрались наиболее важные особы, и среди них было немало приезжих; все они, в том числе и Сен-Мар, подошли поближе.

— ...Колдун так и не мог произнести имени спасителя, а образ Христа он упорно от себя отстранял.

В эту минуту из группы «кающихся» выступил Лактанс; в руках у него было огромное железное распятие, которое он держал нарочито осторожно и благоговейно; он протянул его к губам осужденного, а тот резко отпрянул и, собрав все силы, взмахнул рукой, задев распятие, которое выпало из рук капуцина.

— Видите, видите, — вскричал тот, — он бросил распятие!

Поднялся ропот, смысл которого, однако, был неясен.

— Кошунство! — закричали священники.

Процессия двинулась к костру.

Но Сен-Мар, прятавшийся за колонной, ясно видел, что произошло; он с удивлением заметил, что когда

распятие упало на ступеньки, более мокрые от дождя, чем площадка под колоннадой, то образовался пар и послышалось шипение, словно в воду бросили расплавленный свинец. В то время как всеобщее внимание было поглощено уже другим, он подошел к распятию, протянул к нему руку и почувствовал сильный ожог. Его благородное сердце не могло этого снести; охваченный негодованием и яростью, он обернул руку краем своего плаща, поднял распятие, подошел к Лобардему и ударил им судью по лбу, воскликнув:

— Негодяй! Будь же мечен этим раскаленным железом!

Толпа слышит этот возглас и бросается к ним.

— Держите безумца! — тщетно крикнул недостойный судья.

Его самого уже держали несколько человек и кричали:

— Правосудия! Во имя короля!

— Мы погибли! — воскликнул Лактанс. — Скорее к костру! К костру!

«Кающиеся» потащили Урбена на площадь, а тем временем судьи и стражники, отбиваясь от разъяренных горожан скрылись в храме; в спешке палач не успел связать жертву, а просто уложил ее на дрова и поджег их. Но дождь лил все так же, и бревна, едва разгоревшись, сразу гасли и дымилась. Тщетно Лактанс и другие каноники раздували пламя — ничто не в силах было справиться с водой, лившейся с небес.

Между тем возбуждение, царившее у колоннады, распространилось по всей площади. Возгласы *Правосудия! Правосудия!* повторялись и множились по мере того, как люди узнавали о том, что обнаружилось; толпа смела две баррикады, и, хотя стражники и стали стрелять из пищалей, их оттеснили к середине площади. Напрасно они направляли на народ своих коней, толпа все росла и напирала на них. Целых полчаса длилась эта борьба, и стражники все отступили к костру, который уже совсем скрылся за ними.

— Вперед, вперед, — кричал какой-то мужчина, — мы его освободим; не бейте солдат, только тесните их. Видите, господу не угодно, чтобы он умер! Костер гаснет; друзья, еще раз! Так! Поведем-ка эту лошадь. Напирайте, нажимайте!

Цепь стражников была прорвана, во многих местах сметена, народ с криком рванулся к костру; но там уже все погасло; у костра никого не было, не было даже палача. Разворачивая и разбрасывая бревна, кто-то натолкнулся на одно, еще горящее, и при его слабом свете среди кучи пепла и грязи показалась окровавленная почерневшая рука — ее уберегли от пламени огромный железный браслет и цепь. У одной из женщин хватило мужества разжать эту руку; в ней оказался крестик из слоновой кости и образок святой Магдалины.

— Вот его прах, — сказала она, плача.

— Скажите лучше: вот останки мученика, — ответил какой-то мужчина.



Глава VI

С О Н

Фортуны благодать — надежное ли дело?
Тот строит на песке, кто верит ей всецело.
Чем выше вознесен, тем осторожней будь.
Высокую сосну сильнее треплют бури...

Ракаи

Измождены жарой, увядшие сады
Колеблют на ветру безлиственные ветви,
И кажется, зима не покидала неба.

Жюль Лефевр. «Мария»

В разгар перепалки, в которую ввязался Сен-Мар по своей запальчивости, он почувствовал, что кто-то твердой, как железо, рукой схватил его за локоть, протолкал сквозь толпу вниз по ступенькам и толкнул за церковную ограду; только здесь разглядел он темную фигуру старика Граншана, который резко сказал ему:

— Сударь, напасть на тридцать мушкетеров в Шомонском лесу — это еще полбеды, потому что там мы находились, правда, без вашего ведома, подле вас и в случае надобности пришли бы вам на помощь, к тому же вы столкнулись в лесу с благородными людьми. А здесь — другое дело. В конце улицы вас ждут слуги и лошади; прошу вас сесть на коня и выехать из города или же отправить меня обратно к ее превосходительству, потому что я перед вашей матушкой в ответе за ваши руки и ноги, которые вы легкомысленно подвергаете большой опасности.

Сен-Мар, хотя и несколько ошеломленный столь категорической формой услужливости, все же рад был выпутаться из беды; он уже успел сообразить, сколь неприятно будет, если выяснится, кто он такой; ведь он ударил главу судебных властей и доверенного человека самого кардинала, который должен представить его королю! Он заметил также, что вокруг него собралась

целая толпа каких-то висельников, среди которых ему было стыдно находиться. Поэтому он без возражений последовал за старым слугою и в конце улицы действительно нашел ожидавших его остальных троих слуг. Невзирая на дождь и ветер, он сел на коня и, опасаясь погони, помчался во весь опор; в скором времени кавалькада добралась до большой дороги.

Как только он выехал из Лудена, ему пришлось убавить шаг, так как лошади трудно было идти по песчаной дороге, сплошь в рытвинах, которые были полны воды. Дождь лил не переставая, и плащ молодого человека промок почти насквозь. Вдруг он почувствовал, что на плечи его лег какой-то более плотный плащ, — это старый камердинер подъехал к нему, чтобы по-матерински позаботиться о своем молодом хозяине.

— Ну, Граншан, теперь мы с тобой вдаль от сумятицы, так скажи же, как ты там очутился? — обратился к нему Сен-Мар. — Ведь я тебе наказывал остаться у аббата.

— А что ж, сударь, — ворчливо ответил старый слуга, — неужто вы думаете, что я больше послушаюсь вас, чем слушался господина маршала? Когда покойный мой хозяин приказывал мне не выходить из его палатки, а потом видел меня возле себя в орудейном дыму, он не жаловался, потому что под рукой у него оказывалась новая лошадь, если его бывала убита, и он бранил меня, только когда рассуждал спокойно. Правда, за все сорок лет службы я не видел, чтобы он делал нечто похожее на то, что вы наделали в течение двух недель, пока я нахожусь при вас. Да, — добавил он, вздыхая, — дела идут неважно, и если так будет продолжаться, мне, видно, придется и не на такое насмотреться.

— Но пойми, Граншан, — эти негодяи превзошли всякую меру безобразия, и любой порядочный человек вышел бы из себя, как я.

— Исключая господина маршала, вашего батюшки, который никогда не поступил бы так, как вы поступаете.

— А как бы он поступил?

— Он преспокойно предоставил бы монахам съезд их собрата, а мне бы сказал: «Распорядись, Граншан, чтобы лошадям задали овса и чтобы его не отнимали» или «Позаботься, Граншан, чтобы моя шпага не за-

ржавела в ножнах и чтобы в пистолетах не подмок затравочный порох». Потому что господин маршал все предвидел и никогда не вмешивался в чужие дела. Это было его главное правило, а так как он, слава богу, был столь же хороший солдат, как и полководец, то всегда заботился о своем оружии не хуже любого ландскнехта и никогда не бросился бы на тридцать молодцов с одной лишь парадной шпагой в руках.

Сен-Мар вполне сознавал справедливость неуклюжих сетований старика и очень опасался, не последовал ли тот за ним и дальше Шомонского леса; но он не хотел касаться этого вопроса, боясь, что ему придется дать те или иные объяснения, или солгать, или же приказать слуге хранить молчание, а это означало бы, что он откровенничает с ним и в чем-то признается; он решил прищипорить коня и ехать на некотором расстоянии от старого слуги; но тот еще не высказался и, вместо того чтобы ехать справа от хозяина, перешел на левую сторону и продолжал разговор.

— Уж не думаете ли вы, сударь, что я, например, позволю себе предоставить вам ехать куда вам вздумается и не последую за вами? Нет, сударь, я слишком понимаю, как я должен чтить ее сиятельство, и вовсе не хочу, чтобы она мне сказала: «Граншан, мой сын был сражен пулей или ударом сабли, почему же ты не защитил его?» или «Какой-то итальянец ударил его стилетом, потому что он ночью отправился под окна принцессы из королевского дома. Почему же ты не задержал убийцу?!» Это было бы для меня, сударь, крайне огорчительно, и таких упреков мне еще никогда не доводилось слышать. Однажды его превосходительство маршал уступил меня своему племяннику-графу, чтобы я сопровождал его в поход в Нидерланды, потому что я знаю испанский язык. Так вот, я там, как всегда с честью, выполнил все, что от меня требовалось. Когда графу разворотило ядром живот, я один привел обратно его коней, мулов, привез палатку и все снаряжение, так что ни одного носового платка, сударь, не пропало; и могу вас уверить, при въезде в Шомон кони и сбруя были так же хорошо вычищены, как если бы граф собирался на охоту. Поэтому от всей семьи я услышал только похвалы и всякие лестные слова, а это мне всегда очень приятно.

— Все это отлично, друг мой, — сказал Анри д'Эффа, — быть может, и я предоставлю тебе в один прекрасный день отвести домой моих коней, а пока что возьми эту большую мошну с золотом, которую я уже два-три раза чуть было не потерял, и расплачивайся за меня всюду. Мне это в тягость.

— Его превосходительство маршал так не поступал, сударь. Он одно время исправлял должность супоринтенданта, и поэтому деньги пересчитывал собственноручно, и, думается мне, у вас не было бы таких прекрасных поместий и не пришлось бы вам самим считать столько золота, если бы он поступал иначе; соблаговолите же оставить при себе мошну, содержание которой вы, вероятно, в точности не знаете.

— Что правда, то правда — в точности не знаю.

В ответ на пренебрежительное восклицание молодого хозяина Граншан тяжело вздохнул.

— Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство, когда я вспоминаю, как великий король Генрих у меня на глазах спрятал в карман замшевые перчатки, потому что они могли попортиться от дождя, когда вспоминаю, что господин Рони* отказывал ему в деньгах, если он тратил чересчур много, когда вспоминаю...

— Когда ты вспоминаешь, то здорово надоедаешь, друг мой, — прервал его хозяин. — Скажи-ка лучше, что это за черномазая рожа шлепает по грязи у нас по пятам?

— Это, должно быть, какая-нибудь бедная крестьянка хочет попросить милостыни. Ей легко догнать нас — в таком песке лошади вязнут по колено. Когда-нибудь нам, чего доброго, придется побывать в Ландах — там вы увидите местность вроде этой: песок и черные-пречерные ели; по обеим сторонам дороги — сплошь кладбище. А вот вам и небольшой образчик. Теперь дождь прошел, стало повиднее — вот взгляните на эти заросли вереска и на огромную долину, в ней нет ни одного селения, ни одного домика. Где же мы переночуем? Да что толковать, позвольте мне нарубить веток, и сделаем привал, вы увидите, какой я мастер устраивать шалаш — в нем будет тепло, как в хорошей постели.

— Я предпочитаю добраться вон до того огонька, который светится на горизонте, — ответил Сен-Мар. — Меня, кажется, познабливает, и очень хочется пить. Но

ты немного поотстань, я хочу ехать один; отправляйся к остальным слугам и поезжай за мной следом.

Граншан подчинился и, в утешение себе, стал учить Жермена, Луи и Этьена, как ориентироваться на местности ночью.

Между тем его молодой хозяин изнемогал от усталости. Треволнения дня глубоко всколыхнули его душу, а долгое пребывание в седле, стремительность событий, при которых было не до еды, дневной жар, ледяной холод ночью, — все это вместе взятое подорвало его нежный организм: ему нездоровилось. Уже больше трех часов он ехал впереди своих слуг, а огонек, замеченный на горизонте, казалось, ничуть не приближался; в конце концов юноша перестал следить за светлой точкой, и его отяжелевшая голова опустилась на грудь; он выронил поводья, и теперь лошадь брела по большому тракту, предоставленная самой себе, а всадник, скрестив руки, отдался мерному покачиванию своего верного товарища, который не раз спотыкался о разбросанные по дороге камни. Дождь перестал, замолкли голоса слуг, их лошади понуро брели за лошадью хозяина. Ничто не мешало молодому человеку отдаться своим печальным мыслям, — он спрашивал себя, не будет ли ослепительный венец его упований так же ускользать от него в будущем, день за днем, как шаг за шагом ускользает фосфорический огонек, мерцающий на горизонте? Найдет ли в себе силы юная принцесса, которую почти принудительно приглашают к блестящему двору Анны Австрийской, неизменно отклонять руки знатных претендентов, — быть может, даже королей? Есть ли основания полагать, что она решится отвергнуть трон и станет ждать, чтобы еевольная судьба помогла ей осуществить ее романтические надежды, извлекла юношу почти что из последних рядов армии и высоко вознесла его — прежде чем пройдет пора любви? Кто поручится наконец в том, что желания, высказанные Марией Гонзаго, вполне искренни?

«Увы, — думал он, — быть может, она и сама заблуждается относительно своих чувств; в деревенском уединении душа так чувствительна! Я предстал перед ней, и она поверила, что я тот, о ком она мечтала: наша молодость и моя любовь довершили остальное. Но когда она при дворе, вблизи королевы, научится взирать

свысока на то величие, к которому я еще только стремлюсь и которым люблюсь снизу; когда она вдруг увидит, что она хозяйка своего будущего, и верным взглядом измерит путь, который мне еще предстоит пройти; когда она услышит от других те же клятвы, какие слышала от меня, но произнесенные людьми, которым достаточно будет молвить одно слово, чтобы погубить меня, уничтожить того, кого она ждет как супруга, как повелителя, — о, каким я был безумцем! — тогда она поймет, как была безрассудна, а мое безрассудство сочтет оскорблением».

Так величайшая горесть любви — сомнение стало разъедать его истрадавшееся сердце; он чувствовал, как пылающая кровь бросается ему в голову и дурманит ее; не раз припадал он к холке коня, замедлившего шаг, и глаза его смыкались в полусне; черные ели, окаймлявшие дорогу, представлялись ему гигантскими мертвецами, шествующими возле него; он снова увидел, или ему почудилась та женщина в черном, на которую он обратил внимание Граншана; теперь она подошла к нему и даже коснулась гривы его лошади, подергала его за плащ и сгнула, хихикая; дорожный песок казался ему рекой, которая течет на него, стремясь вспять, к своему истоку; это странное видение ослепило его утомленный взор; он закрыл глаза и заснул в седле.

Вскоре он почувствовал, что лошадь остановилась. Холод совсем сковал его. Как в тумане, он увидел крестьян, факелы, хижину, большую горницу, куда его внесли, широкую постель с тяжелым пологом, который задергивал Граншан, и он снова заснул, одурманенный жаром, от которого шумело в ушах.

Сны кружились в его голове, словно опавшие листья, гонимые ветром; он не в силах был остановить их и метался в постели. Урбен Грандье под пыткой, плачущая мать, воспитатель с оружием в руках, закованный в цепи Басомпьер проходили мимо, прощаясь с ним; он во сне положил руку на голову, чтобы удержать сон, который стал развертываться перед ним, как череда зыбучих песков.

Городская площадь, запруженная каким-то иноплемennым северным народом; люди радостно кричали, но их возгласы были какими-то дикими; а вот шеренга стражников, хмурых солдат — это французы.

«Пойдем со мной,— ласково произнесла Мария Гонзаго, беря его за руку.— Видишь, на мне диадема; вот твой трон, пойдем со мной».

И она увлекла его за собой, а народ все кричал. Он шел, шел долго.

«Почему же вы такая грустная, если вы королева?» — спросил он, трепеща.

Мария была бледна, она молча улыбнулась. Она поднялась по ступенькам и взошла на трон.

«Поднимайся», — говорила она и сильно тянула его за руку.

Но тяжелые балки рассыпались под его ногами, и он никак не мог подняться.

«Воздай благодаренье любви», — продолжала она.

И рука, обретя еще большую силу, подняла его до самого верха. В толпе раздались возгласы.

Он склонился, чтобы поцеловать эту великодушную руку, руку обожаемую... Но она оказалась рукой палача!

— Боже! — воскликнул Сен-Мар с тяжелым вздохом.

И он открыл глаза: мигающий светильник освещал убогую горницу харчевни; он снова сомкнул глаза, ибо увидел, что у его ног сидит женщина — молодая, прекрасная монахиня! Он подумал, что все еще грезит, но она крепко сжимала его руку. Он опять открыл воспаленные глаза и стал всматриваться в нее.

— Жанна де Бельфиль! Неужели это вы? У вас покрывало и волосы мокры от дождя. Что вы тут делаете, бедняжка?

— Тише, не разбуди моего Урбена; он в соседней комнате спит возле меня. Да, голова у меня мокрая, а ноги — посмотри на них, — некогда они были такие белые! Смотри, какая на них грязь! Но я дала обет, я вымою их только у короля, когда он помилует моего Урбена. Я еду в армию, к королю; я поговорю с ним, как учил меня Грандьс, и он простит его; но послушай, я выпрошу у него и твое прощение, — я ведь прочла на твоём лице, что и ты приговорен к смерти. Бедный юноша! Ты еще так молод, тебе рано умирать; у тебя такие прекрасные кудри; и все же ты приговорен, — у тебя на лбу складка, которая никогда не обманывает. Человек, которого ты ударил, убьет тебя. Ты злоупотребил крестом, и это принесет тебе несчастье; ты уда-

рил крестом, а он у тебя на груди вместе с медальоном, где хранишь волосы... Не прячься под одеялом. Разве мои слова огорчили тебя? Или вы влюблены, молодой человек? О, не бойтесь, я не расскажу об этом вашей подруге; я безумна, но я добрая, очень добрая, а еще три дня тому назад я была красавицей. А она тоже красавица? О, как она будет рыдать в тот роковой день! Но какая она будет счастливица, если у нее еще останется сил рыдать!

И Жанна вдруг принялась скороговоркой, заунывным голосом читать заупокойную молитву; она по-прежнему сидела на кровати и перебирала длинные четки.

Вдруг растворяется дверь; женщина обращает туда взор и исчезает.

— Что за наваждение? Кто это, сударь, служит по вас заупокойную — не то домовою, не то ангел? А вы закутались одеялом, словно саваном.

То был грубый голос Граншана; старик был так ошеломлен, что выронил стакан с лимонной водой, который держал в руках. Видя, что хозяин ничего не отвечает, он еще больше испугался и отдернул одеяло. Сен-Мар лежал весь красный и, по-видимому, спал; но старый слуга решил, что бросившаяся в голову кровь может задушить его молодого хозяина, поэтому он схватил сосуд с холодной водой и вылил его на голову юноши. Это походное лекарство всегда оказывает решительное действие, и Сен-Мар вскочил, сразу очнувшись.

— Ах, это ты, Граншан! Какие страшные сны мне спились!

— Полноте, сударь. Сны у вас, напротив, прекрасные. Я застал кончик последнего. Вкус у вас отличный.

— Что ты мелешь, старый дурак?

— Я не дурак, сударь; глаза у меня зоркие, и что я видел, то видел. Но, конечно, если бы его превосходительство маршал был так болен, как вы, то он не стал бы...

— Вздор несешь, дорогой мой. Дай-ка пить, умираю от жажды. О боже! Что за ночь! Все эти женщины у меня еще перед глазами.

— Все женщины, сударь? А сколько же их тут?

— Я говорю о снах, болван. Что же ты стоишь как пень, вместо того чтобы подать мне пить!

— Сейчас, сейчас, сударь. Схожу за другим стаканом.

Он подошел к лестнице и крикнул вниз:

— Эй, Жермен! Этьен! Луи!

Трактирщик ответил:

— Сию минуту, сударь. Сейчас их позовут. Они мне помогли поймать полоумную.

— Какую полоумную?— спросил Сен-Мар, вставая с койки.

Трактирщик вошел в комнату и, сняв с головы колпак, почтительно сказал:

— Пустяки, ваше сиятельство; какая-то дурочка забрела сюда ночью пешком, и ее положили тут, в соседней комнате, но она убежала, и мы так ее и не догнали!

— Вот оно что!— проговорил Сен-Мар, протирая глаза и как бы собираясь с мыслями.— Значит, мне это не приснилось? А где матушка? Где маршал? Где... О, какой страшный сон! Уйдите отсюда все!

С этими словами он перевернулся лицом к стене и опять с головой укрылся одеялом.

Измученный трактирщик трижды постучал пальцем по лбу и посмотрел на Граншана, как бы вопрошая его, уж не в бреду ли его хозяин.

Тот знаком велел ему потихоньку удалиться, а сам собрался провести остаток ночи возле Сен-Мара, который крепко спал; старик уселся в широкое, обитое ковром кресло и стал выжимать лимон в стакан с водой, причем делал это с суровым, важным видом, словно Архимед, вычисляющий, сколько раз отражается пламя в расставленных им зеркалах.



Глава VII КАБИНЕТ

У людей редко достает мужества быть
вполне добрыми или вполне злыми.

Макиавелли

Предоставим нашему юному путнику спать. Вскоре он мирно отправится дальше по прекрасной большой дороге. А мы воспользуемся тем, что можем обозреть весь его путь, и остановим взор на городе Нарбонне.

Посмотрим на Средиземное море, синеватые волны которого набегают исподалеку на песчаные берега. Проникнем в этот город, похожий на Афины. Но чтобы разыскать того, кто властвует тут над всеми, пойдемте вон по той неровной темной улице, подыдемтесь по ступеням старинного архиепископского дома и вступим в первую, самую большую залу.

Она была очень длинная и освещалась рядом высоких стрельчатых окон, лишь в верхней части которых сохранились синие, желтые и красные стекла, бросавшие в помещение таинственный свет. Со стороны обширного камина залу во всю ширину занимал огромный круглый стол, покрытый пестрой скатертью и загроможденный бумагами и папками; вокруг стола сидели, согнувшись над перьями, восемь писарей, занятых перепиской посланий, которые им передавали со стола поменьше. Другие, стоя, укладывали бумаги на полки книжного шкафа, отчасти уже заполненного книгами в черных переплетах; эти люди осторожно ступали по ковру, которым был устлан пол.

Несмотря на то что здесь находилось много людей, можно было услышать, как пролетает муха. В зале раздавалось лишь поскрипывание перьев, проворно скользивших по бумаге, да тонкий голосок человека, который диктовал писцам, и то и дело умолкал, чтобы откашляться. Голосок исходил из громадного кресла с большими подлокотниками, — оно стояло возле ками-

на, где, несмотря на жаркий климат и время года, горели дрова. Кресло было из числа тех, какие еще можно встретить кое-где в древних замках, — они сделаны словно для того, чтобы человек, сидя в них, легко мог уснуть, какую бы книгу он ни читал, — так предусмотрительно устроена каждая его часть: пуховый валик нежит бока; если голова склонится, щеки оказываются на шелковых подушечках, помещенных у изголовья, а мягкое сиденье настолько выступает из-под подлокотников, что можно подумать, будто дальновидные столяры наших предков позаботились о том, чтобы книга, выпав из рук, не наделала шума и не разбудила вздремнувшего.

Но оставим это описание и поговорим о человеке, который сидел в этом кресле и отнюдь не спал. У него был широкий лоб и редкие, совершенно белые волосы, большие ласковые глаза, бледное продолговатое лицо, которому острая седая бородка придавала ту видимость утонченности, которую можно наблюдать на всех портретах эпохи Людовика XIII. Губы у него были на редкость тонкие, и тут нам приходится напомнить, что Лафатер считает это неоспоримым признаком злобности; поджатый, сказали мы, рот окаймляли небольшие седые усики и модная в то время острая бородка, весьма похожая на занятую. На голове у старика была красная скуфейка, а одет он был в широкий плафрок и пурпурные шелковые чулки, и был это не кто иной, как Арман Дюплесси, кардинал Ришелье.

Рядом с ним, за меньшим столом, о котором мы упоминали, помещалось четверо юношей, лет от пятнадцати до двадцати: то были пажи, или, по выражению того времени, «свои», что означало «приближенные к дому». Обычай держать при себе таких юношей являлся отголоском феодального покровительства. Младшие сыновья знатнейших семей состояли *на жалованье* у вельмож; они были им преданны в любых обстоятельствах и при малейшем намеке патрона готовы были вызвать на поединок первого встречного. Пажи сочиняли письма в соответствии с указаниями кардинала; патрон бегло просматривал их, затем они передавались писцам для перенески на белое. А тем временем кардинал-герцог писал на коленях секретные записочки, которые вкладывал почти во все письма, прежде чем собственноручно запечатать их.

Он уже занимался этим несколько минут, как вдруг заметил в зеркале, висевшем против него, что самый юный из пажей что-то урывками пишет на листке меньшего формата, чем министерские письма; он что-то писал, потом поспешно прятал листок под большую бумагу, которую, к его сожалению, ему поручили заполнить; помещаясь за спиной кардинала, юноша рассчитывал на то, что его высокопреосвященству трудно будет обернуться и поэтому его привычная плутня останется незамеченной. Вдруг Ришелье обратился к нему и сухо сказал:

— Подойдите, господин Оливье.

В ушах бедного юноши, которому на вид не было и шестнадцати лет, эти слова раздались как удар грома. Все же он мгновенно поднялся и стал перед министром, свесив руки и понурив голову.

Остальные пажи и писцы не дрогнули, подобно тому как солдаты остаются на месте, когда один из них падет, сраженный пулей,— настолько они привыкли к такого рода вызовам. На этот раз, однако, дело обернулось хуже, чем обычно.

— Что вы там пишете?

— Монсеньер... то, что ваше высокопреосвященство диктует.

— Что именно?

— Монсеньер... письмо к дону Хуану Браганскому.

— Прочь уловки, сударь, вы пишете что-то другое.

— Монсеньер,— проговорил тогда паж со слезами на глазах,— это записка к моей кузине.

— Покажите.

Тут молодой человек задрожал с головы до ног, и ему пришлось опереться на камин.

— Не могу,— прошептал он.

— Виконт Оливье д'Антрег,— сказал министр, не обнаруживая ни малейшего волнения,— считайте себя уволенным от службы.

И паж вышел из зала; он знал, что возражать бесполезно; он сунул злополучную записочку в карман и, растворив створки двери ровно настолько, чтобы пройти, выпорхнул, словно птичка из клетки.

Министр продолжал наносить какие-то заметки на лист, лежавший у него на коленях.

Писцы еще больше притихли и удвоили рвение, а тем временем дверь порывисто отворилась, и в ней показа-

лась фигура капуцина; вошедший остановился, кланяясь, сложив на груди руки, словно ожидая подаяния или приказа удалиться. У него было темное, изрытое оспой лицо, глаза довольно ласковые, но чуточку косые, нависшие, сросшиеся брови и прямая, рыжеватая к концу борода; губы улыбались хитро, неблагоприятно и зловеще; на нем была францисканская ряса во всем своем безобразии, и сандалии, одетые на босу ногу, отнюдь не достойные ступить по коврам.

Как бы то ни было, человек этот произвел, по-видимому, большое впечатление на присутствующих, ибо, не закончив начатой фразы или слова, все писцы поднялись со своих мест и направились к двери, возле которой по-прежнему стоял вошедший; одни, проходя мимо, кланялись ему, другие отворачивались, юные пажи затыкали нос, — но так, чтобы он этого не заметил; по-видимому, они втайне боялись его. Когда все удалились, он наконец вошел, низко кланяясь, ибо дверь была еще открыта; но едва она закрылась, он без церемоний подошел к кардиналу и сел возле него; узнав о его приходе по всеобщему движению, кардинал молча и сухо кивнул ему и обратил на него пристальный взгляд, как бы ожидая новостей; вместе с тем он невольно нахмурился, как то бывает, когда видишь паука или другое отвратительное насекомое.

Кардинал не мог сдержать этого выражения неудовольствия, потому что приход его доверенного принуждал его возобновить серьезные и тягостные разговоры, от которых он несколько дней отдыхал в местности, воздух которой был ему полезен, а покой несколько умерял мучившие его боли; он был подвержен хроническому недугу, но приступы стали реже, так что больной забывал о их неизбежном повторении. Он отдыхал здесь от своей доселе неутомимой изобретательности и теперь, быть может впервые в жизни, спокойно ожидал возвращения курьеров, разосланных им по всем направлениям, — подобно лучам некоего солнца, которое одно только и придает жизнь и движение всей Франции. Он не ожидал этого визита, и приезд одного из тех, кого он, по его собственному выражению, *закалял в преступлении*, вновь возвращал его ко всем тревоблениям жизни, не рассевая, однако, той грусти, которая снедала его.

Начало их разговора было тягостным, как и его последние раздумья, но вскоре кардинал обрел всю свою живость и силу, стоило только ему поневоле вернуться в реальный мир.

Его доверенный, чувствуя, что первым должен прервать молчание, сделал это довольно резко:

— О чем вы задумались, монсеньер?

— Да о чем же нам всем и думать, Жозеф, как не о грядущем счастье в ином, лучшем мире? Я уже несколько дней размышляю о том, что земные интересы чересчур отвлекли меня от этой единственной мысли; я раскаиваюсь в том, что потратил кое-какие часы досуга на сочинение мирских произведений, вроде трагедий «Европа» и «Мирам», хотя они и прославили меня среди самых утонченных умов, и слава эта еще преумножится в будущем.

Отец Жозеф, всецело занятый тем, что ему предстояло сказать, поначалу удивился такому вступлению; но он слишком хорошо изучил своего хозяина и поэтому и вида не подал; отлично зная, каким путем навести его и на другие мысли, он не колеблясь стал ему вторить.

— Однако достоинства их огромны,— сказал он с притворным сожалением,— и Франция будет сокрушаться, что за этими бессмертными творениями не следуют другие, им подобные.

— Нет, мой дорогой Жозеф, тщетно такие люди, как Буаробер, Клявре, Кольте, Корнель и в особенности знаменитый Мере, провозгласили эти трагедии лучшими из всего, что было создано в прошлом и в наше время; клянусь вам, я все же ставлю их себе в укор, как самый несомненный смертный грех, и теперь в часы досуга занимаюсь только моими «Способами вести спор» и книгой «О совершенном христианине». Я не забываю, что мне пятьдесят шесть лет и что у меня неизлечимый недуг.

— Такие расчеты строят и враги вашего преосвященства,— возразил францисканец; разговор начинал раздражать его, и ему хотелось поскорее переменить тему.

Кардинал покраснел.

— Знаю, отлично знаю,— сказал он,— я не заблуждаюсь на их счет и готов ко всему. Ну, а что нового?

— Мы уже решили, монсеньер, заменить мадемуазель Отфор; мы удалили ее, как и мадам де Лафайет, — все это превосходно; но место ее вакантно и король...

— Что?

— У короля появились идеи, чего раньше не бывало.

— Вот как? И эти идеи исходят не от меня? Скажите на милость! — иронически молвил министр.

— Так зачем же, монсеньер, целых шесть дней оставлять вакантным место фаворита? Это неосторожно, позвольте мне заметить.

— У него идеи! Идеи! — повторял Ришелье с каким-то страхом. — А какие именно?

— Он заикнулся о том, что надо вернуть королеву-мать. Вернуть ее из Кельна.

— Вернуть Марию Медичи! — воскликнул кардинал, стукнув руками о подлокотники. — Нет, клянусь небесами! Она не вернется на французскую землю, откуда я ее изгонял дюйм за дюймом! Англия не решилась предоставить ей пристанище, раз я ее изгнал, Голландия побоялась, что погибнет из-за нее, и вдруг мое же королевство ее примет! Нет, нет, эта мысль не могла ему прийти в голову сама собой! Вернуть моего врага, вернуть ему мать, какое вероломство! Нет, сам он никогда не посмел бы это придумать...

Он помолчал, потом добавил, устремив на отца Жозефа еще пылающий гневом пронизывающий взгляд:

— А в каких выражениях он изъявил это желание? Повторите слово в слово.

— Он сказал в присутствии своего брата и еще нескольких человек: «Я чувствую, что первый долг христианина — это быть хорошим сыном и внимать укорам совести».

— Христианин! Совесть! Это не его выражения! Это меня предает его духовник, отец Коссен, — воскликнул кардинал. — Коварный иезуит! Я простил тебе интригу с Лафайет, но не прощу тайных советов королю! Я добьюсь, чтобы прогнали этого духовника. Жозеф, он враг государства, мне это ясно. Последние дни я пренебрегал делами, я не торопил прибытие молодого д'Эффия, а он, видимо, понравится королю; говорят, он хорош собою, остроумен. Ах, что за оплошность! Мне поделом бы и самому попасть в немилость! Оставить при короле эту лису-иезуита, не дав ему тай-

ных указаний, не имея гарантий, не получив залога его верности! Какой просчет! Жозеф, возьмите перо и поскорее напишите нижеследующее для другого духовника, которого мы выберем удачнее. Не остановиться ли на отце Сирмоне?..

Отец Жозеф сел за большой стол, готовясь писать, и кардинал продиктовал ему новый перечень обязанностей, которые немного спустя кардинал осмелился представить королю, а тот принял их, отнесся к ним с уважением и выучил наизусть как веление церкви. Они дошли до нас и являются страшным памятником той власти, какую человек может мало-помалу присвоить себе при помощи интриг и дерзости:

I. У монарха должен быть первый министр, а первый министр должен обладать тремя качествами: 1) почитать своего монарха превыше всего на свете, 2) быть искусным и верным, 3) состоять в духовном звании.

II. Монарх должен безраздельно любить своего первого министра.

III. Не должен сменять первого министра.

IV. Должен посвящать его во все свои помыслы.

V. Предоставить ему свободный доступ к своей особе.

VI. Предоставить ему неограниченную власть над народом.

VII. Окружить его высокими почестями и жаловать ему богатые дары.

VIII. У монарха нет большего сокровища, чем его первый министр.

IX. Монарх не должен придавать значения тому, что ему наговаривают на первого министра, и слушать осуждающих того.

X. Монарх должен верить первому министру все, что ему говорилось о министре, *даже в тех случаях, когда монарха просили сохранить беседу в тайне.*

XI. Монарх должен предпочитать всем своим родственникам не только благо государства, но и предпочитать им своего первого министра.

Таковы были предписания бога Франции, но еще удивительнее та чудовищная наивность, с какой он сам завещал эти распоряжения потомству, словно и потомство должно верить в него.

В то время как он диктовал свое наставление, записанное им собственноручно на маленьком листке бумаги, его, видимо, охватывала глубокая печаль, а дойдя до конца, он откинулся в глубину кресла, скрестил руки и опустил голову на грудь.

Отец Жозеф отложил написанное, встал и подошел осведомиться, не дурно ли ему; в это время из груди кардинала исторглись следующие мрачные незабываемые слова:

— Что за безысходная тоска! Что за нескончаемые тревоги! Если бы какой-нибудь честолюбец увидел меня сейчас, он сбежал бы в пустыню! Что мое могущество? Жалкий ответ королевской власти, а каких трудов стоит удержать на своем челе этот беспрерывно отклоняющийся луч! Уже двадцать лет я тщетно стараюсь удержать его! Я ничего не понимаю в этом человеке! Он не смеет бежать от меня; но у меня его похищают, он ускользает из моих рук... Какие дела я мог бы совершить, будь у меня его наследственные права! А тут приходится тратить столько сил, чтобы удержаться в равновесии. Что же остается на дела? В моей руке вся Европа, а сам я вишу на волоске! Зачем мне окидывать взлядом карту мира, когда все мои интересы заключены в моем тесном кабинете? Этими шестью локтями пространства мне труднее управлять, чем всей землей. Вот что такое первый министр! Завидуйте же мне, мои стражи!

Черты лица кардинала настолько изменились, что можно было опасаться беды, и у него действительно начался приступ жестокого кашля, закончившийся легким кровохарканьем. Заметив, что отец Жозеф в испуге потянулся к золотому колокольчику, лежавшему на столе, кардинал порывисто, как молодой человек, поднялся с кресла и, останавливая его движение, сказал:

— Пустое, Жозеф! Я иной раз поддаюсь отчаянию; но эти мгновения мимолетны, и после них я становлюсь только сильнее прежнего. Что касается здоровья, я отлично сознаю свое положение; но не об этом речь. Что вы делали в Париже? Я рад, что король, как мне того хотелось, приехал в Беарн: здесь нам легче будет наблюдать за ним. Чем вы его сюда заманили?

— Сражением под Перпиньяном.

— Что ж, неплохо. Сражение можно для него устроить; в настоящее время пусть он лучше займется этим,

а не чем-нибудь другим. Ну, а молодая королева? Что говорит молодая королева?

— Она все еще негодует на вас. Негодует, что ее переписку перехватывают, что вы учинили ей допрос.

— Пусть! Мадригал, который я ей сочиню, и моя временная покорность заглушат в ней мысль о том, что я ее разлучил с ее австрийским домом и с родиной ее Букингема. А чем она занимается?

— Новыми интригами с братом короля. Но все ее наперсницы в наших руках, и вот вам донесения день за днем.

— Не стану утруждать себя этим чтением: пока герцог Буйонский в Италии, я не опасаясь козней с его стороны; предоставим ему сколько угодно мечтать с Гастоном у камелька о мелких заговорах; он всегда ограничивается только добрыми намерениями, которые возникают у него порой, а тщательно подготавливает только свои отлучки из королевства; сейчас это уже третье путешествие. Если захочет, я устрою ему и четвертое; он не заслуживает пистолетного выстрела, это не то что граф де Суассон, который по твоему приказу получил пулю в сердце. А ведь нельзя сказать, чтобы граф был решительнее герцога Буйонского.

Тут кардинал вновь сел в кресло и засмеялся, для государственного деятеля довольно весело.

— Всю жизнь буду потешаться над их амьенской затеей. Я находился у них в руках. Каждый из них был окружен, по крайней мере, пятьюстами дворянами, которые были вооружены до зубов и готовы расправиться со мной, как с Кончини*, но великого Витри уже не было среди них; они предоставили мне мирно побеседовать с ними целыи час об охоте и о празднике тела господня, и ни тот, ни другой не решился подать знак своим головорезам. Впоследствии мы узнали от Шавиньи, что столь благоприятный случай они выжидали целых два месяца. А я действительно ничего не замечал, если не считать того, что маленький разбойник аббат де Гонди* терся возле меня и, видимо, что-то прятал в рукаве; только из-за этого я и сел в карету.

— Кстати, монсеньер, королева во что бы то ни стало хочет, чтобы он стал коадьютором.

— С ума сошла! Он ее погубит, если она привяжется к нему; это неудавшийся мушкетер, черт в сутане;

прочтите его *«Историю Фиески»* — сами убедитесь. Пока я жив, этому не бывать!

— Вы вполне правы, а в то же время вы вызываете ко двору другого, столь же юного честолюбца.

— Тут большая разница! Молодой Сен-Мар будет, друг мой, всего лишь игрушкой, самой настоящей игрушкой; голова у него занята только брыжами да аксельбантами; порукой тому — вся его внешность, а нравом он, я знаю, ласков и податлив. Поэтому-то я его и предпочел старшему брату; он будет исполнять все, что мы захотим.

— Монсеньер, — возразил монах недоверчиво, — я никогда не полагаюсь на людей с такой невозмутимой внешностью, внутренний пламень у них бывает еще опаснее. Вспомните его родителя, маршала д'Эффиа.

— Но, повторяю, это ребенок, и я воспитаю его. А Гонди уже сейчас законченный заговорщик, это голворез, который не останавливается ни перед чем; он осмелился оспаривать у меня госпожу де Ламсйре, — представляете вы себе это? Кто этому поверит — оспаривать у меня! Ничтожный клирик, лишенный каких-либо достоинств, кроме молодцеватой внешности да уменья довольно бойко болтать. К счастью, муж сам взял на себя труд его отвадить.

Отец Жозеф, который так же мало интересовался любовными интригами хозяина, как и его стихами, поморщился, стараясь придать гримасе глубокомысленный оттенок, но от этого она стала только отвратительней и неуклюжей; он воображал, что губы его, перекосившиеся, как у обезьяны, беззвучно говорят: *«Ах, кому же устоять перед вашим высокопреосвященством!»*, но его высокопреосвященство прочел на них только фразу: *«Я неуч, ничего не смыслящий в великосветских делах»* — и вдруг, взяв со стола донесение, без всякого перехода сказал:

— Герцог де Роган умер, это хорошая весть; теперь гугенотам конец. Ему посчастливилось; я распорядился, чтобы тулузский парламент приговорил его к четвертованию, а он спокойно погиб на поле брани при Рейнфельде. Но какая разница? Еще одна умная голова повергнута в прах! Как они посыпались после смерти Монморанси! Теперь, пожалуй, уже не найдешь головы, которая не склонялась бы предо мной! Теперь

мы покарали почти всех, кто был нами одурачен в Версале. Упрекнуть меня, конечно, не в чем; я применяю против них закон «око за око, зуб за зуб»; я обращаюсь с ними так же, как они хотели, чтобы со мной обращались в совете королевы-матери. Старый болтун Басомпьер отделается пожизненным тюремным заключением так же, как и разбойник маршал де Витри, ибо они голосовали за применение ко мне только этой кары. Что же касается Марийяка, который предлагал смертную казнь, то я ее припас для него за первый же его промах, а тебе, Жозеф, поручаю напомнить мне об этом; надо быть справедливым ко всем. Итак, не сломлен еще только герцог Буйонский, который весьма горд своим Седаном; но я заставлю его отступить. Слепление их нечто прямо-таки изумительное, все они воображают, будто могут беспрепятственно замышлять разговоры, и им невдомек, что хоть они и порхают, но привязанные на ниточке, которая у меня в руках, и я ее иной раз отпускаю, чтобы они чувствовали себя чуточку непринужденнее. А очень вопили гугеноты по поводу смерти их дорогого герцога?

— Меньше, чем по поводу луденского дела, которое закончилось, впрочем, вполне благополучно.

— Как это *благополучно*? Надеюсь, что Грантье уже нет в живых?

— Вот именно; это я и хотел сказать. Ваше высокопреосвященство должны быть удовлетворены; все закончено в двадцать четыре часа; о нем уж и думать перестали. Но Лобардемон допустил небольшую оплошность: устроил гласный суд; это вызвало некоторый шум; однако смутьяны нам известны, и за ними ведется наблюдение.

— Хорошо. Отлично. Урбен был человек слишком незаурядный, чтоб дать ему волю; он тяготел к протестантству; я готов побиться об заклад, что он в конце концов отступился бы от истинной веры; я заключаю об этом на основании его трактата против безбрачия духовенства; а в случае сомнения, — запомни это, Жозеф, — всегда лучше срубить дерево, не дожидаясь, пока оно принесет плоды. Гугеноты, знаешь ли, это воистину республика в государстве; получи они во Франции большинство, и монархии конец: они введут народоправие и оно может оказаться долговечным.

— И какие глубокие огорчения причиняют они изо

дня в день нашему святому папе! — поддакнул Жозеф.

— Понимаю, куда ты клонишь, — прервал его кардинал, ты хочешь напомнить мне, что он упорно не соглашается пожаловать тебя кардинальской митрой. Не беспокойся — я переговорю сегодня с новым послом, которого мы посылаем в Рим. Маршал д'Эстрэ добьется решения вопроса, которое так затянулось; ведь уже два года как мы прочим тебя в кардиналы; я тоже склонен считать, что пурпур очень пойдет тебе — капли крови на нем не видны.

И собеседники рассмеялись, один как властелин, который глубоко презирает наемного убийцу, другой как раб, решивший терпеливо сносить все унижения, лишь бы они помогли ему возвыситься.

Оба еще смеялись кровавой шутке старого министра, когда дверь отворилась и паж доложил о прибытии курьеров из разных мест; отец Жозеф поднялся с кресла и, прислонившись к стене, замер, как египетская мумия, причем лицо его выражало теперь только тупое благоговение. Один за другим стали входить самые разнообразные посланцы: один мог сойти за швейцарского солдата; другой — за маркитанта; третий — за каменщика; их вводили во дворец через потайную лестницу и коридор, а выходили они из кабинета через дверь, противоположную той, через которую их впустили, так что они не могли не только поделиться привезенными новостями, но и встретиться друг с другом. Каждый из двенадцати прибывших клал на большой стол свиток или пачку бумаг, несколько минут разговаривал с кардиналом, стоявшим у окна, и уходил. При появлении первого курьера Ришелье стремительно встал и, как всегда стараясь обходиться без посторонней помощи, сам принял их всех, выслушал и собственноручно затворил за ними дверь. Когда удалился последний, кардинал знаком подозвал отца Жозефа, и они молча стали распечатывать или, вернее, разрывать пачки донесений и кратко сообщать друг другу их содержание.

— Герцог Веймарский одерживает победы; герцог Карл потерпел поражение; наш генерал пребывает в отличном настроении; вот остроги, сказанные им за столом. Я доволен.

— Виконт де Тюренн отбил лотарингские крепости; вот мысли, высказанные им в частных беседах...

— Ну, пропустите это, пропустите; тут ничего опасного быть не может. Это славный, честный человек, который никогда не вмешивается в политику; ему бы только иметь небольшую армию, которой он мог бы распоряжаться как шахматными фигурами и пускать их в дело безразлично против кого — вот он и доволен; с ним мы всегда поладим.

— А в Англии все еще заседает Долгий парламент*. Общины настаивают на своих предложениях; в Ирландии кровопролитие... Граф Страффорд* приговорен к смертной казни.

— К смертной казни! Какой ужас!

— Читаю: «Его величество Карл Первый не решился подписать приговор, но назначил четырех уполномоченных...»

— Слабый монарх, отрекаюсь от тебя! Денег наших больше не получишь. Пусть тебя свергнут, раз ты такой неблагодарный!.. Несчастный Уентворт!

И на глазах Ришелье появились слезы; человек этот, только что игравший жизнью стольких людей, оплакивал министра, покинутого своим монархом. Кардинал был поражен тем, как схоже положение этого министра с его собственным, и в лице осужденного чужестранца оплакивал самого себя. Он перестал читать вслух донесения, которые распечатывал, и наперсник последовал его примеру. Кардинал с величайшим вниманием просматривал все подробные сообщения о незначительных и самых тайных поступках маломальски влиятельных лиц; таких данных, дополнявших обычные донесения, он неуклонно требовал от своих ловких шпионов. Эти тайные сведения прилагались к докладам королю, но доклады всегда проходили через руки кардинала и затем снова запечатывались, а в руки монарха попадали очищенными и приведенными в такой вид, который соответствовал намерениям кардинала. После того как министр ознакомился с приватными сообщениями, все они были тщательно сожжены отцом Жозефом; но кардинал, по-видимому, все же был доволен; он быстро ходил из угла в угол, тревожно жестикулируя, как вдруг дверь распахнулась и вошел еще один курьер. Этому посланцу на вид не было и четырнадцати лет; под мышкой он держал пакет с черной печатью, предназначенный королю, а кардиналу подал только листок бумаги, на котором Жозефу удалось ук-

радкой различить всего-навсего четыре слова. Кардинал вздрогнул, разорвал листок на мелкие клочки и, склонясь к мальчику, довольно долго говорил ему что-то на ухо, не получая ответа; Жозеф расслышал только, как кардинал, отпуская посланца, сказал: *«Смотри же, не раньше как через двенадцать часов»*.

Во время этого уединенного разговора Жозеф постарался припрятать от кардинала бесчисленные пасквили, доставленные из Фландрии и Германии, с которыми министр желал ознакомиться, как бы ни были они для него горьки. Он делал вид, будто придерживается на этот счет философии, которая в действительности вовсе не была ему свойственна; чтобы ввести в заблуждение окружающих, он иной раз притворялся, будто считает, что его недруги кое в чем и правы, и сам смеялся их шуткам; но люди, лучше знавшие его характер, улавливали под этой напускной терпимостью неистовую злобу и знали, что он бывал вполне удовлетворен только после того, как парламент, по его желанию, приговаривал направленную против него книгу к сожжению на Гревской площади, *как сочинение, которое в лице министра, светлейшего кардинала, наносит оскорбление самому королю* (в этом можно убедиться, ознакомясь с многочисленными приговорами того времени); в таких случаях он сожалел только о том, что на месте книги не оказался сам автор; а когда удавалось, он доставлял себе и такого рода удовлетворение,— пример тому случай с Урбеном Грандые.

Он мстил таким образом, не признаваясь в этом самому себе, за обиды, нанесенные его чудовищной гордыне, и подолгу, иной раз больше года, убеждал себя в том, что этого требуют интересы государства. Ловко переплетая свои личные дела с делами королевства, он внушил себе, что Франция истекает кровью от ран, которые паносятся ему, кардиналу. Чтобы не испортить его настроение в данную минуту, Жозеф отложил в сторону и спрятал книжку под названием *«Политические тайны кардинала Ларошельского»*, а также другую, которая считалась сочинением некоего мюнхенского монаха и была озаглавлена *«Шутовские вопросы, приноровленные к нынешним событиям, с присовокуплением кровавых беззаконий бога Марса»*. Честный адвокат Обери, оставивший нам одно из самых достоверных

жизнеописаний *высокопреосвященнейшего* кардинала, приходит в ярость от одного названия первой из этих книжек и восклицает, что *«великий министр вполне мог гордиться тем, что его враги помимо собственной воли оказались во власти того восторга, который превратил в оракула Валаамову ослицу, Каиафу и прочих, еще менее достойных дара пророчества, и что, воодушевленные этим восторгом, они называли его кардиналом Ларошельским,— ведь три года спустя после выхода их книжек он и в самом деле разрушил этот город. Точно так же и Сципиона прозвали Африканским за то, что он покорил эту провинцию»*. Отец Жозеф, который придерживался, разумеется, того же образа мыслей, что и адвокат Обери, чуть было не выразил своего негодования в тех же выражениях; но он с прискорбием вспомнил пелесую роль, сыгранную им при осаде Ларошели, — крепость эта, хоть и не являлась *«провинцией»*, как Африка, все же осмелилась противостоять *высокопреосвященнейшему* кардиналу, несмотря на то что отец Жозеф, считая себя знатоком военного искусства, попытался было ввести в город войска через сточные трубы. Поэтому он решил не напоминать о Ларошели и, прежде чем министр проводил юного курьера и вернулся к письменному столу, успел спрятать пасквиль в карман своей коричневой рясы.

— Едем, Жозеф, едем! — сказал министр. — Впусти сюда придворных, которые осаждают меня, и отправимся к королю, он ждет меня в Перпиньяне; теперь он у меня в руках навсегда.

Капуцин удалился, и вскоре пажи, настезь растворив золоченые двери, стали пазывать одно за другим имена крупнейших вельмож того времени; король отпустил их от себя, чтобы они могли нанести визит министру; а некоторые из них, под предлогом болезни или служебных дел, сами потихоньку покинули королевский двор, чтобы не последними появиться в прихожей министра; таким образом бедный монарх оказался почти в одиночестве, что случается с другими королями обычно только на смертном одре; но похоже было на то, что в глазах придворных трон — это смертное ложе короля, царствование его — нескончаемая агония, а его министр — не кто иной, как грозный наследник.

Два пажа из знатнейших французских семей стояли

у двери, тут же слуги громко называли имена входящих, которые в соседней приемной уже встретились с отцом Жозефом. Кардинал, по-прежнему сидевший в кресле, при появлении большинства придворных оставался совершенно неподвижным, наиболее знатным он слегка кивал головой и только ради принцев слегка приподнимался, опираясь на обе руки; каждый подходил к нему, отвешивал глубокий поклон и, остановившись перед ним, возле камина, ждал, когда кардинал обратится к нему; потом, по знаку кардинала, придворные обходили вокруг приемной и удалялись через ту же дверь, в которую вошли; некоторое время они беседовали с отцом Жозефом, который подражал своему хозяину и этим заслужил прозвище «Серого Преосвящества»; в конце концов они либо покидали дворец, либо выстраивались за креслом министра, если на то было его соизволение, и это являлось знаком величайшей милости.

Сначала он пропустил несколько ничем не примечательных придворных или таких, чьи достоинства были ему бесполезны, и остановил это шествие только на маршале д'Эстрэ, который приехал попрощаться с ним перед отъездом в Италию; все шедшие позади маршала остановились. В соседней приемной это послужило знаком, что кардинал с кем-то беседует дольше, чем обычно; Жозеф, ожидавший этой минуты, появился в кабинете и обменялся с кардиналом взглядом, который, с одной стороны, говорил: «Не забудьте о данном мне обещании», а с другой: «Не беспокойтесь». В то же время капуцин ловко обратил внимание хозяина на то, что держит под руку одну из своих жертв, которую он собирался превратить в свое послушное орудие: то был молодой дворянин в очень коротком зеленом плаще, камзоле того же цвета и узких красных штанах с великолепными золотыми подвязками, — словом, в костюме пажей из свиты брата короля. Отец Жозеф разговаривал с ним очень конфиденциально, но отнюдь не в интересах своего хозяина; обуреваемый желанием стать кардиналом, он подготавливал запасные ходы на случай отступничества первого министра.

— Передайте его королевскому высочеству, чтобы он не судил обо мне слишком поспешно, ибо у него нет более преданного слуги, нежели я. Здоровье кардинала день ото дня слабеет; и я считаю, что совесть призыва-

ет меня предупредить об его ошибках того, кто, быть может, унаследует королевскую власть до совершеннолетия будущего короля. В доказательство моего чистосердечия передайте прищцу, что здесь собираются арестовать преданного ему Пюи-Лорана; пусть принц распорядится, чтобы его где-нибудь спрятали, иначе кардинал и его посадит в Бастилию.

Пока слуга предавал своего господина, господин не отставал от слуги и предавал его. Самолюбие, а также остаток уважения, с которым кардинал относился к делам церкви, не позволяли ему без отвращения думать, что на презренном наймите окажется тот же головной убор, которым увенчан он сам, и что этот наймит займет столь же высокое положение, как и он, если не считать временной должности министра. Беседуя вполголоса с маршалом д'Эстрэ, он говорил:

— Нет надобности досаждать Урбану Восьмому относительно капуцина, который стоит вон там. Достаточно и того, что его величество соизволило представить его к кардинальскому сану. Мы вполне понимаем, что его святейшеству претит облечь этого оборванца в римский пурпур.— Потом, переходя от этой мысли к общим вопросам, он продолжал: — Право же, я не знаю, почему святейший отец так охладил к нам. Что мы сделали такого, что не служило бы к вящей славе нашей святой матери, католической церкви? Я сам отслужил первую мессу в Ларошели, и вы, маршал, собственными глазами видите нашу мантию всюду, даже в войсках. Кардинал де Лавалет недавно покрыл себя славой, командуя армией в Пфальце.

— Он превосходно провел отступление,— вставил маршал, слегка подчеркнув слово *отступление*.

Министр не обратил внимания на этот маленький выпад, подсказанный профессиональной ревностью, и продолжал, повысив голос:

— Господь доказал, что он не отказывает своим левитам в военном гении, ибо в завоевании Лотарингии благочестивый кардинал помог нам не меньше, чем герцог Веймарский, и никто еще так превосходно не командовал морскими силами, как наш архиепископ Бордоский под Ларошелю.

Все знали, что в то время министр был недоволен этим прелатом, ибо высокомерие его достигло такой степени, а дерзкие выходки до того участились, что

в Бордо разгорелись два весьма прискорбных дела. Четыре года тому назад герцог Эпернонский, тогдашний губернатор Гийенны, находясь в окружении своих приближенных и солдат, встретился с архиепископом, который шел в процессии среди духовенства; поравнявшись с архиепископом, герцог назвал его наглецом и два раза сильно ударил палкой; за что архиепископ отлучил его от церкви; но, несмотря на полученный урок, у архиепископа еще совсем недавно произошло столкновение с маршалом де Витри, который наградил его *«двадцатью ударами палкой, или жезлом — назовите, как хотите, — писал кардинал-герцог кардиналу де Лавалету, — и теперь он, по-видимому, намерен всю Францию наводнить отлученными»*. И действительно, архиепископ отлучил от церкви и маршалский жезл де Витри, памятуя, что в тот раз папа заставил герцога д'Эпернона попросить у него прощения; но Витри, некогда убивший маршала д'Анкара, пользовался слишком большим расположением двора, чтобы согласиться на это, и архиепископ был не только бит, но вдобавок еще получил выговор от министра.

Поэтому господин д'Эстрэ, не лишенный чуткости, подумал, что в похвалах, которые кардинал расточает военным и морским талантам архиепископа, таится доля иронии, и он ответил с невозмутимым хладнокровием:

— Конечно, монсеньер, никто не решится утверждать, что архиепископ был побит на море.

Его преосвященство не мог не улыбнуться; но, заметив, что под электрическим воздействием его улыбки в зале возникли другие улыбки, а также шепот и всяческие кривотолки, он сразу же вернулся к обычной серьезности и, непринужденно взяв маршала за руку, произнес:

— Ничего не скажешь, господин посол, вы за словом в карман не полезете. Пока вы будете в Ватикане, мне не страшен ни кардинал Альборнос, ни все Борджа мира, ни все происки Испании у престола святейшего отца.

Потом, оглянувшись вокруг и словно обращаясь ко всей затихшей и замороженной гостиной, он продолжал, возвысив голос.

— Надеюсь, что мы не подвергнемся гонению, как некогда, за то, что заключили союз с одним из самых

выдающихся людей нашего времени; по Густав-Адольф* умер, и у католического короля* уже не будет предлога добиваться отлучения христианнейшего монарха*. Согласны ли вы со мной, дорогой монсеньер? — обратился он к кардиналу де Лавалету, который приближался к ним и, к счастью, не слышал того, что было сказано на его счет. — Господин д'Эстрэ, не отходите; нам еще многое надо сказать вам, и вы не лишний в наших беседах, ибо секретов у нас нет; наша политика — откровенная и у всех на виду: интересы его величества и государства — вот и все.

Маршал отвесил глубокий поклон, стал за креслом министра, а свое место уступил кардиналу де Лавалету, который не переставал кланяться, льстил и распилился в преданности и полной покорности кардиналу, словно желая искупить непреклонность своего отца, герцога д'Эпернона; но кардинал удостоил его лишь несколькими туманными словами, отвечал ему рассеянно и неопределенно, причем все время обращал взор к дверям, высматривая: кто будет следующий. К огорчению де Лавалета, в самый разгар его медоточивой лести кардинал-герцог резко прервал его, воскликнув:

— Ах, наконец-то и вы, мой дорогой Фабер! Как мне хотелось повидать вас и поговорить об осаде!

Генерал поспешно и довольно неуклюже поклонился кардиналу-генералиссимусу и представил ему офицеров, которые прибыли вместе с ним из лагеря. Он рассказал о подробностях осады, а кардинал, казалось, хотел своей любезностью расположить его к себе, чтобы подготовить к распоряжениям, которые он намеревался дать ему на самом поле сражения; он поговорил и с офицерами, которых называл по имени, и расспросил их о лагере.

Все они посторонились, чтобы уступить место подошедшему герцогу Ангулемскому; этот Валуа, долгое время боровшийся против Генриха IV, теперь заискивал перед Ришелье. Он хлопотал о должности командующего, ибо при осаде Ларошели занимал лишь третье по старшинству место. Вслед за ним появился молодой Мазарини*, всегда изящный и вкрадчивый, но уже полный веры в свою судьбу.

За ним вошел герцог д'Алюен. Кардинал прервал любезности, которые он расточал, и громко сказал герцогу:

— С удовольствием объявляю вам, ваша светлость, что ради вас король учредил должность маршала Франции. Вам надо именоваться Шомбергом, не так ли? В освобожденном вами Лекате все так считают. Но простите, вот господин де Монторон, у него, несомненно, какая-то важная новость для меня.

— Нет, нет, монсеньер, я хотел только доложить, что тот молодой человек, которого вы соблаговолили считать состоящим на вашей службе, умирает с голоду.

— Ах, что же вы так не вовремя говорите мне о подобных вещах! Ваш маленький Корнель не желает написать ничего замечательного; мы видели только *«Сида»* да еще *«Горациев»*. Пусть трудится, трудится; всем известно, что он состоит при мне, мне и самому это неприятно. Впрочем, раз вы принимаете в нем такое участие, я назначу ему пенсию в пятьсот экю из моих личных средств.

И казначей удалился в восторге от щедрости министра; он поспешил домой, чтобы милостиво принять посвящение *«Цинны»*, в котором великий Корнель сравнивает его с Августом и благодарит за милостыню, *поданную музам*.

Кардинал, помрачневший от этого неуместного сообщения, встал, сказав, что уже поздно и что пора ехать к королю.

Среди знатнейших вельмож, которые подошли к министру, чтобы поддержать его, оказался и человек в мундире рекетмейстера; он поклонился с такой уверенной и самонадеянной улыбкой, что присутствующие, привыкшие к придворному этикету, были весьма удивлены. Он как бы говорил: *«У нас секретные дела; вот увидите, как кардинал будет ласков со мной; в его кабинете я словно у себя дома»*. Однако его тяжело-весные, неуклюжие манеры выдавали в нем человека весьма низкого происхождения: то был Лобардемон.

Увидев его перед собою, Ришелье нахмурился и бросил на Жозефа испепеляющий взгляд; потом, обращаясь к окружающим, сказал с горьким смехом:

— Разве среди нас скрывается преступник?

С этими словами кардинал повернулся к Лобардемону спиной, а тот покраснел, как кардинальская мантия; затем Ришелье стал спускаться по большой лест-

нице архиепископского дома, предшествуемый толпой царедворцев, которые собирались сопровождать его в каретах или верхом.

Нарбоннские обыватели и представители власти с изумлением наблюдали этот чисто королевский выезд.

Кардинал один взошел на огромные крытые носилки квадратной формы, в которых ему предстояло совершить путешествие до Перпиньяна, так как из-за болезненного состояния он не мог ехать ни в карете, ни верхом. В этой своего рода странствующей комнате помещались кровать, стол и стульчик для пажа, чтобы он мог писать или вслух читать кардиналу. Сооружение это, покрытое пурпурным узорчатым шелком, несло восемнадцать человек, сменявшие друг друга через каждые двое; их отобрали среди гвардейцев, и они носили эту почетную службу не иначе как с непокрытой головой — будь то в жару или в дождь. Герцог Ангулемский, маршалы де Шомберг и д'Эстрэ, Фабер и прочие высокопоставленные лица следовали верхом по обе стороны носилок. В этой угодливой свите можно было заметить кардинала де Лавалета и Мазарини, а также Шавиньи и маршала де Витри, — последний старался избегать Бастилии, которая, по слухам, грозила ему.

За носилками следовали две кареты, предназначенные для секретарей кардинала, его медиков и духовника, восемь экипажей для свиты и двадцать четыре мула с поклажей; на очень близком расстоянии от носилок шли двести пеших мушкетеров; взвод телохранителей на великолепных конях и отряд легкой конницы, сплошь состоявший из дворян, ехали впереди и позади кортежа.

В таком окружении и прибыл министр несколько дней спустя в Перпиньян. Из-за больших размеров носилок не раз приходилось расширять дорогу и ломать стены домов в *городах и селах*, ибо иначе носилки не проходили. *«Поэтому, — говорят некоторые мемуаристы того времени, преисполненные искреннего восторга перед этой роскошью, — поэтому кардинал казался завоевателем, входящим в город через пробитую брешь»*. Мы с большим рвением искали какой-нибудь документ, который свидетельствовал бы о таком же восторге владельца или жильца разрушенного дома, но должны признаться — найти нам таковой не удалось.



Глава VIII

ВСТРЕЧА

Мой изумленный дух трепещет перед ней.
Расин. «Британик»

Пышный поезд кардинала остановился перед лагем; все полки выстроились под ружьем в безупречном порядке, и под звуки пушечных залпов и музыку, последовательно гремевшую возле каждого полка, носилки проследовали вдоль длинного строя кавалерии и пехоты, растянувшихся от крайней палатки до палатки министра, которая была раскинута поодаль от королевской ставки и обтянута пурпурной тканью, благодаря чему ее можно было различить издалека. Каждого командира кардинал удостоил приветственным жестом или словом; добравшись наконец до своей палатки, он отослал свиту и заперся в ожидании часа, когда можно будет предстать перед монархом. Все его приближенные сразу же отправились в ставку короля и, не входя внутрь, стали ждать в длинных, крытых полосатым тиком галереях, которые вели в палатку короля. Здесь придворные встречались друг с другом, прогуливались группами, раскланивались и обменивались рукопожатиями или надменно оглядывали друг друга — в зависимости от тех или иных корыстных соображений и смотря по тому, при ком они состояли. Иные подолгу перешептывались и знаками выражали удивление, радость или неудовольствие, из чего можно было заключить, что произошло нечто чрезвычайное. В одном из уголков главной галереи возник, среди прочих, следующий странный диалог:

— Позвольте узнать, господин аббат, почему вы смотрите на меня так пристально?

— А как же, господин де Лоне? Мне очень любопытно, что вы теперь будете делать? С тех пор как вы побывали в Турени, все отступают от вашего кардинала-герцога; что же вы медлите, поговорите скорее

с людьми, близкими к брату короля или к королеве; кардинал де Лавелет вас опередил уже минут на десять; он только что пожимал руки Рошпо и приближенным покойного графа Суассонского, которого я буду оплакивать всю жизнь.

— Прекрасно, господин де Гонди, я вас понял; вы бросаете мне вызов, весьма польщен этим.

— Да, ваше сиятельство, — продолжал молодой аббат, степенно отвешивая поклон, по обычаю того времени, — я искал случая бросить вам вызов от имени господина д'Атики, моего друга, с которым в Париже у вас произошла размолвка.

— К вашим услугам, господин аббат; пойду за секундантами, а вы пригласите своих.

— Драться будем верхом, на шпагах и пистолетах, не так ли? — добавил Гонди с таким видом, словно речь шла о загородной прогулке, и пощелкал пальцем по рукаву, чтобы смахнуть какую-то пылинку.

— Как вам будет угодно, — ответил тот.

И они на время расстались, обменявшись глубокими, безупречно вежливыми поклонами.

Мимо них беспрестанно двигалась блестящая толпа молодых дворян. Соперники присоединились к ним, ища своих друзей. В то утро двор сверкал всем великолепием тогдашних нарядов: вышитые золотом и серебром короткие бархатные и атласные плащи всевозможных цветов, кресты св. Михаила и св. Духа, брыжи, шляпы со множеством перьев, золотые шнурки, длинные шпаги — все блестело, все сияло, а еще ярче сверкали взоры этой воинственной молодежи с ее остроумными шутками и задорным, искристым смехом. Среди толпы медленно шествовали важные, родовитые вельможи в окружении многочисленной свиты.

Маленький, очень близорукий аббат де Гонди прогуливался среди придворных, хмурясь, прищуриваясь, чтобы лучше видеть, и покручивая ус, ибо в то время усы носили и духовные лица. Он каждому заглядывал в лицо, разыскивая приятелей, и наконец остановился перед очень высоким юношей, с ног до головы одетым в черное, причем даже стальная его шпага была покрыта чернью. Он беседовал с гвардейским капитаном, но аббат де Гонди отозвал его в сторону.

— Господин де Ту, — сказал он, — через час вы будете нужны мне как секундант в поединке верхом, на

шпагах и пистолетах, и если вы согласны оказать мне эту честь...

— Вы отлично знаете, сударь, что я к вашим услугам всегда. Где мы встретимся?

— Перед испанским бастионом, прошу вас.

— Простите, я продолжу очень интересный для меня разговор. Я буду на месте вовремя.

И де Ту снова подошел к капитану. Все сказанное им аббату он произнес голосом очень мягким, полным спокойствия, и даже как-то рассеянно.

Маленький аббат пожал ему руку с чувством удовлетворения и отправился в дальнейшие поиски.

Зато с другими молодыми дворянами, к которым он обращался, ему было не так легко сговориться, ибо они знали его лучше, чем господин де Ту; едва завидев его, они старались уклониться от встречи или же потешались над ним вместе с ним самим и никак не соглашались услужить ему.

— Вы все еще в поисках, аббат; бьюсь об заклад, что вы себе подыскиваете секунданта,— сказал герцог де Бофор.

— А я держу пари,— добавил господин де Ларошфуко,— что дело касается кого-нибудь из приближенных кардинала-герцога.

— Вы оба правы, господа; но с каких это пор вы посмеиваетесь над делами чести?

— Упаси меня бог,— возразил господин де Бофор,— люди военные, как мы, всегда чтят хороший удар шпаги, а вот что касается покроя сутан, то уж в этом я ничего не смыслю.

— Полноте, сударь; как вам известно, сутана ничуть не связывает мне рук, и я готов доказать это любому желающему. К тому же я ничуть ею не дорожу.

— А-а, значит, для того вы так часто и деретесь, чтобы порвать ее?— вставил Ларошфуко.— Однако не забывайте, дорогой аббат, что под сутаной-то обретаесь вы сами.

Гонди взглянул на часы и, не желая терять время на пустые шутки, отправился дальше; но и с другими ему не везло: когда он атаковал двух дворян из свиты молодой королевы, которые, по его предположению, считали себя обиженными кардиналом и, следовательно, были готовы помериться силами с его приспешниками, один из них ответил ему строго:

— Неужели вы не знаете, что сейчас произошло, господин де Гонди? Король сказал во всеуслышанье: «Желает или не желает этого наш надменный кардинал, а вдова Генриха Великого вскоре вернется из изгнания». *Надменный*, — понимаете это, господин аббат? Никогда еще король так резко не высказывался против него. Это не что иное, как окончательная опала. Теперь, право же, никто не решится даже заговорить с ним; можно не сомневаться, что он сегодня же покинет двор.

— Слышал я об этом, но у меня дело...

— Для вас, которому он не давал ходу, это большое счастье.

— Дело чести...

— А Мазарини за вас...

— Но выслушайте же меня.

— А раз он за вас — он припомнит ваши подвиги, прекрасную дуэль с господином де Кутенаном и прелестную булавошницю; он даже рассказал обо всем этом королю. Однако, дорогой аббат, прощайте; нам недосуг; прощайте, прощайте...

Тут насмешник взял своего приятеля под руку и, не слушая аббата, быстро зашагал по галерее и скрылся в толпе.

Бедный аббат пребывал в отчаянии, что ему никак не удастся подыскать второго секунданта, и с грустью наблюдал, как рассеивается толпа и уходит время, но тут на глаза ему попался незнакомый молодой человек, сидевший с меланхолическим видом, облокотившись на столик. Он был в трауре, и по платью его нельзя было определить, является ли он приближенным какой-либо знатной семьи или членом какой-либо корпорации; терпеливо ожидая часа, когда можно будет войти в палатку короля, он равнодушно смотрел на окружающих и, казалось, не видел их и никого не знал.

Гонди заметил молодого человека и сразу же направился к нему.

— Что и говорить, сударь, я не имею чести быть с вами знакомым; но дуэль всегда по душе благородному юноше, и если вы согласитесь быть моим секундантом, то через четверть часа мы с вами уже будем на лугу. Я — Поль де Гонди, а соперник мой господин де Лоне из свиты кардинала, — впрочем, вполне воспитанный человек.

Незнакомец, ничуть не удивившись этому обращению, ответил, не меняя позы:

— А кто его секунданты?

— Право, не знаю. Но не все ли вам равно? Если слегка и кольнешь своего приятеля, так ведь это никак не может испортить отношений.

Приезжий небрежно улыбнулся, погладил длинные каштановые волосы, посмотрел на большие часы-луковицу, висевшие у него на поясе, и равнодушно ответил:

— Хорошо, сударь; делать мне нечего, и друзей у меня здесь нет, я пойду с вами; предпочитаю это чему-либо другому.

Он взял со стола широкополую шляпу с черными перьями и медленно пошел вслед за воинственным аббатом, который все время забегал вперед и возвращался, чтобы поторопить своего спутника, — подобно тому как мальчуган бежит впереди отца или как щенок раз двадцать возвращается назад, прежде чем добежит до конца аллеи.

Тем временем двое слуг в королевских ливреях раздвинули большие портьеры, отделявшие галерею от палатки короля, и сразу воцарилась тишина. Присутствующие стали один за другим не спеша входить во временные покои монарха. Король милостиво встречал придворных, каждый входящий прежде всего видел его.

Людовик XIII стоял у столика, обставленного золочеными креслами, в окружении высших военачальников; одет он был весьма изящно: своеобразная светло-желтая куртка с разрезными рукавами, украшенными шнуром и синими лентами, спускалась пониже талии. Широкие, в складках, штаны из полосатой желто-красной ткани с синими лентами внизу доходили только до колен. Ботфорты, поднимавшиеся чуть выше лодыжки, были украшены множеством кружев и так широки, что кружева помещались в них словно цветы в вазе. Короткий, из синего бархата плащ с вышитым крестом св. Духа ниспадал на его левую руку, опирающуюся на эфес шпаги.

Он стоял с непокрытой головой, и хорошо видно было его благородное бледное лицо, освещенное лучами солнца, которые пробивались сквозь облака. Острая бородка, какие носили в то время, подчеркивала худобу его

лица и вместе с тем придавала ему еще более грустное выражение; по высокому лбу, античному профилю, орлиному носу в нем сразу можно было узнать монарха из великого рода Бурбонов; он унаследовал от предков все, кроме решительности взгляда: глаза его, казалось, покраснели от слез и затуманились от постоянной дремоты, а близорукость придавала ему несколько растерянный вид.

Он намеренно окружил себя в это время самыми заклятыми врагами кардинала и внимательно слушал их в ожидании, что с минуты на минуту появится и сам министр, при этом он переминался с ноги на ногу, по привычке, переходившей в их роду из поколения в поколение; он говорил довольно оживленно, но часто прерывал речь, чтобы милостиво кивнуть или жестом приветствовать вельмож, проходивших мимо него с глубокими поклонами.

Уже почти два часа проходили придворные перед королем, а кардинал все не появлялся; позади монарха и в крытых галереях за его палаткой тесной толпой собрался весь двор; теперь уже реже стали раздаваться имена вновь входивших вельмож.

— Разве мы сегодня не увидим нашего любезного кардинала?— спросил король, обернувшись и обратив взор на Монтрезора из свиты Гастона, как бы поощряя его ответить.

— Говорят, государь, что кардинал-герцог опять расхворался,— ответил тот.

— Но кто же другой, кроме вашего величества, в силах исцелить его?— сказал герцог де Бофор.

— Мы исцеляем только золотушных*,— возразил король,— а недуги кардинала всегда так загадочны, что, признаюсь, я в них ничего не понимаю.

В отсутствие Ришелье король храбрился и в шутках черпал силы, чтобы сбросить с себя его невыносимое, подавляющее бремя. Он почти совсем уверовал в свое торжество и, видя вокруг веселые лица, в душе хвалил себя за то, что взял верховную власть в свои руки; в настоящую минуту он наслаждался своей мнимой силой. Но какая-то внутренняя тревога, таившаяся в глубине его сердца, все же говорила ему, что эти счастливые мгновения минуют и тогда все бремя по управлению государством ляжет на него одного; он разговаривал с окружающими, чтобы отогнать от себя

эту пазойливую мысль, и, не признаваясь себе в том, что втайне сознает свою неспособность царствовать, уже не тешился мыслью о результатах предпринятых им действий и тем самым поневоле забывал о трудностях, которые ему встретятся на этом пути. Он одну за другой бросал краткие фразы:

— Перпишнян мы скоро возьмем,— издали сказал он Фаберу.— Итак, кардинал, Лотарингия наша,— добавил он, повернувшись к Лавалету. Потом обратился к Мазарини, коснувшись его плеча:— Управлять государством не так уж трудно, как думают, не правда ли?

Итальянец, отнюдь не столь уверенный, как остальные, в опале кардинала, уклончиво ответил:

— Ваши последние успехи, государь, и во внешней и во внутренней политике достаточно доказывают мудрость в выборе сподвижников и в руководстве ими, и...

Но герцог де Бофор, прерывая Мазарини с той самоуверенностью, которая впоследствии заслужила ему прозвище *Влиятельного*, громко и решительно воскликнул:

— Конечно, государь, нужно только желание; подданными, как конем, правят при помощи шпор и поводьев; а так как все мы хорошие наездники — остается лишь сделать выбор.

Ловкий выпад самодовольного герцога не успел еще произнести надлежащего впечатления, как двое слуг одновременно провозгласили:

— Их высокопреосвященство.

Король невольно покраснел, словно его застали на месте преступления, но сразу же овладел собой и принял решительный, надменный вид, что не ускользнуло от министра.

Ришелье, во всем великолепии кардинальского наряда, медленно шествовал к королю, опираясь на двух юных пажей; за ним шли начальник охраны и более пятисот дворян из его свиты, причем кардинал то и дело останавливался, словно преодолевая нестерпимую боль, на самом же деле для того, чтобы рассмотреть окружающих. Ему достаточно было самого беглого взгляда.

Свита остановилась у входа, а когда кардинал вошел в королевскую палатку, никто из присутствующих не осмелился приветствовать его или хотя бы обратиться к нему взглядом; даже Лавалет притворился, будто все-

цело поглощен беседой с Монтрезором. Король, желавший оказать кардиналу дурной прием, приветствовал его с нарочитой небрежностью и продолжал вполголоса разговор с герцогом де Бофор.

Кардиналу не осталось ничего другого, как, поклонившись королю, остановиться, а затем направиться к толпе придворных, как бы намереваясь смешаться с нею; но истинной целью его было изведать настроения вельмож. Все они отпрянули, словно при появлении прокаженного, один только Фабер с обычными для него непосредственностью и развязностью подошел к кардиналу и обратился к нему, прибегая к выражениям, свойственным его ремеслу:

— Итак, ваше высокопреосвященство, вы пробиваете здесь брешь, как пушечное ядро прошу вас — извините их.

— А вы не отступаете передо мной, как не отступаете и перед неприятелем; вы не пожалевте об этом.

Мазарини тоже приблизился к кардиналу, но с опаской, и, придав своему подвижному лицу выражение глубокой грусти, отвесил несколько низких-пренизких поклонов, однако стал при этом спиной к королевской группе, так что оттуда могло показаться, будто он кланяется небрежно и холодно, как кланяются тому, от кого хотят поскорее отделаться; зато со стороны кардинала эти поклоны представлялись изъяснением одновременно и глубокого уважения, и затаенной, молчаливой скорби.

Министр, по-прежнему спокойный, презрительно улыбнулся; но вдруг он придал взгляду своему ту твердость, а всей осанке то величие, которые ему были свойственны перед лицом опасности, снова оперся на пажей и, не дожидаясь слова или взгляда монарха, вдруг принял решение и направился через всю палатку прямо к королю. Никто не спускал с него глаз, хотя каждый и делал вид, будто не смотрит на него; все умолкли, даже те, что беседовали с королем; придворные насторожились, чтобы не упустить ни единого слова, ни малейшего жеста.

Людовик XIII с удивлением обернулся и, окончательно растерявшись, застыл в ожидании, взгляд его был холоден, как лед; только в этом и заключалась сила короля — сила пассивная, но весьма ощутимая, когда речь идет о монархе.

Приблизившись к королю, кардинал не поклонился; не меняя осанки, опустив взор и опираясь обеими руками на плечи полусогнувшихся мальчиков, он сказал:

— Государь, умоляю вас — увольте меня наконец в отставку, которой я так давно жажду. Здоровье мое пошатнулось; чувствую, что жизнь моя скоро оборвется; я приближаюсь к вечности и, прежде чем дать отчет владыке небесному, хочу отдать отчет владыке земному. Прошло уже восемнадцать лет, государь, с тех пор как вы передали в мои руки слабое и раздробленное королевство; я возвращаю его вам сплоченным и могущественным. Враги ваши повержены и посрамлены. Дело мое завершено. Прошу у вашего величества позволения удалиться в Сито, в монастырь, где я числюсь игуменом, чтобы окончить там свои дни в молитве и покаянии.

Король, задетый некоторыми высокомерными выражениями этой речи, не проявил, вопреки ожиданиям кардинала, никаких признаков слабости, как это бывало всякий раз, едва только он начинал угрожать, что отстранится от дел. Наоборот, чувствуя на себе взгляды всего двора, король величественно посмотрел на него и холодно ответил:

— Что ж, мы благодарим вас за услуги, господин кардинал, и желаем вам покоя, о котором вы просите.

В глубине души Ришелье был потрясен; его охватил гнев, но он ничем не выдал себя. «Вот та самая холодность,— подумал он,— с которой ты допустил убийство Монморанси; но от меня ты так не избавишься». Поклонившись, он продолжал:

— За свои труды я прошу одну-единственную награду: соблаговолите, ваше величество, принять от меня в дар Кардинальский дворец, который я соорудил в Париже на собственные средства.

Король удивился, но кивнул в знак согласия. Среди насторожившихся придворных пробежал гул изумления.

— Припадаю также к стопам вашего величества и молю об отмене одной жестокой меры, которая была принята по моему предложению (признаюсь в этом публично), ибо я, быть может, без достаточных оснований, считал ее полезной для государства. Да, живя в миру, я ради блага государства часто подавлял в себе прежние чувства благоговения и привязанности; теперь

мне уже светит свет отшельничества, и я понимаю, что был не прав. Я раскаиваюсь в этом.

Присутствующие еще более насторожились, а король стал проявлять явные признаки беспокойства.

— Да, государь, есть особа, перед которой я всегда благоговел, несмотря на то что она бывала несправедлива к вам и что государственные дела вынуждали меня находиться с ней во враждебных отношениях; особе этой я многим обязан, а вам она должна быть особенно дорога, невзирая на то, что предпринимала против вас действия, в которых даже применялось оружие; эту особу я прошу вас вернуть из изгнания: я имею в виду королеву Марию Медичи, вашу матушку.

У короля вырвался невольный взглас — до такой степени не ожидал он услышать это имя. На всех лицах появилось изумление, которое, однако, сразу же постарались сдержать. Присутствующие, затаив дыхание, ожидали, что ответит король. Людовик XIII долго смотрел на своего старого министра молча, и этот взгляд решил участь Франции. Король мгновенно припомнил все заслуги Ришелье, его безграничную преданность, его поразительные способности, и сам удивился тому, что хотел с ним расстаться; он был глубоко тронут этой просьбой, которая проникла в самую глубину его сердца, чтобы вырвать оттуда злобу, и отнимала у него единственное оружие, которым он располагал против своего старого слуги; сыновняя любовь внушала ему слова прощения и вызывала на глаза слезы; он был счастлив согласиться на то, чего и сам хотел больше всего на свете, и он протянул герцогу руку с тем неповторимым благородством и добротой, какие свойственны были Бурбонам. Кардинал поклонился и почтительно поцеловал ее, а его сердце, которое должно бы разорваться от раскаяния, преисполнилось лишь горделивой радостью торжества.

Растроганный монарх, не отнимая руки, милостиво обернулся к придворным и взволнованным голосом сказал:

— Мы нередко ошибаемся, господа, а особенно трудно нам познать такого великого политика, как герцог; он никогда, надеюсь, не покинет нас, раз сердце у него такое же редкостное, как и ум.

Кардинал Лавалет тотчас же взялся за рукав королевского плаща, чтобы горячо, как любовник, поцело-

вать его, а молодой Мазарини почти так же поступил в отношении герцога Ришелье, причем с неподражаемой итальянской живостью придал своему лицу расстроганное и сияющее от радости выражение. Два потока льстецов хлынули один к королю, другой к министру; первые, не менее ловкие, чем вторые, хоть и не столь прямолинейные, обращались к королю со словами благодарности, которые непременно должен был расслышать и министр, и курили фимиам у ног одного, адресуя его другому. Тем временем Ришелье, улыбаясь и кивая направо и налево, ступил шага два и, как обычно, занял место справа от короля. Войди сюда иностранец, он скорее подумал бы, что это король стоит слева от него.

Маршал д'Эстрэ, послы, герцог Ангулемский, герцог д'Алюен (Шомберг), маршал де Шатийон и прочие высшие чины армии и двора окружили кардинала, и каждый с нетерпением ждал, когда кончатся приветственные слова других, чтобы сказать самому, и боялся при этом, как бы кто-нибудь другой не опередил его, предвосхитив тут же сочиненный им мадригал или какую-нибудь иную форму подобоострастной лести. Что касается Фабера, то он один удалился в угол палатки и, видимо, не обращал особого внимания на происходящее. Он беседовал с Монтрезором и придворными Гастона Орлеанского, которые все до одного были заклятыми врагами кардинала, ибо, кроме той толпы, которой он избегал, ему больше не с кем было говорить. Будь на месте Фабера человек менее известный, такое поведение показалось бы в высшей степени бестактным; но, как все знали, хоть он и жил при дворе, но был чужд каких бы то ни было интриг; о нем говорили, что, выиграв сражение, он возвращается домой, как королевский конь возвращается с охоты: конь предоставляет собакам ластиться к хозяину и делить между собою добычу, а сам даже не помышляет напомнить о том, что победой в немалой степени обязаны и ему.

Итак, буря как будто совсем улеглась и после неистовых утренних волнений наступил приятный покой; в палатке слышались только благоговейный шепот, прерывавшийся счастливым смехом, и громкие уверения в безграничной преданности. Время от времени раздавался голос кардинала, восклицавшего: «Бедная

королева! Теперь мы снова увидим ее! Я и не надеялся, что доживу до такого счастья!» Король доверчиво слушал эти возгласы и не скрывал своего удовлетворения.

— Поистине, эта мысль внушена ему свыше, — говорил он. — Добрый кардинал, против которого меня так настраивали, заботился о сплочении моей семьи; со дня рождения дофина я не испытывал такой большой радости, как сейчас. Пресвятая дева являет нам свое покровительство.

В это время гвардейский офицер подошел к королю и что-то сказал ему шепотом.

— Курьер из Кельна? — переспросил король. — Пусть подождет у меня в кабинете. — Потом нетерпеливо добавил: — Сейчас иду, иду.

И он один ушел в маленькую четырехугольную палатку, примыкавшую к большой. Там можно было разглядеть молодого курьера с черным пакетом в руках, но как только король вошел в кабинет, за ним опустился занавес.

На кардинале, оставшемся единственным властителем двора, сосредоточилась вся лесть; однако многие заметили, что он принимает ее уже не так самоуверенно, как до сих пор; он несколько раз спросил, который час, и стал подавать признаки неприятного смущения; его жестокий, тревожный взгляд неоднократно обращался к кабинету: вдруг занавес раздвинулся; король появился один и остановился на пороге. Он был бледнее обычного и весь дрожал; в руках его находился большой конверт с пятью черными печатями.

— Господа, — сказал он громким, но прерывающимся голосом, — королева-мать скончалась в Кельне, и, быть может, не я первым узнаю об этом, — добавил он, бросив строгий взгляд на кардинала, который стоял невозмутимо. — Но господь всеведущ. Через час — на коней и в атаку! Господа маршалы, прошу следовать за мной.

И он круто повернулся и вместе с восначальниками удалился в кабинет.

Придворные разошлись вслед за министром, а тот удалился, не подавая ни малейшего признака грусти или досады, так же величественно, как появился, с той только разницей, что теперь он чувствовал себя победителем.



Глава IX

О С А Д А

Il papa alzato le mani e fattomi un patente crocione sopra la mia figura, mi disse, che mi benediva e che mi perdonava tutti gli omicidii che io avevo mai fatti, e tutti quelli che mai io farei in servizio della Chiesa apostolica ¹.

Бенвенуто Челлини

В жизни бывают минуты, когда горячо желаешь самых сильных потрясений, чтобы отвлечься от мелких невзгод; бывают дни, когда душа, устав, подобно льву из басни, от беспрестанных нападений мошкары, жаждет более мощного врага и со всей страстью призывает опасности. Сен-Мар находился именно в таком состоянии, которое всегда порождается болезненной чувствительностью и постоянным волнением сердца. Утомившись от бесконечных раздумий о том, насколько благоприятны или неблагоприятны станут для него обстоятельства; утомившись от расчетов и догадок, требовавших напряжения всех сил его ума; тщетно припоминая все, что он в силу своего образования знал о жизни людей, прославившихся своей деятельностью, чтобы сопоставить это с тем положением, в котором он находился; удрученный сожалениями, мечтами, предсказаниями, несбыточными упованиями, опасениями и всем тем воображаемым миром, в котором он пребывал во время своего одинокого пути, — он с облегчением вздохнул, оказавшись в почти столь же бурном реальном мире; от сознания, что он находится перед лицом двух истинных опасностей, кровь в его жилах снова заиграла, и к нему вернулась молодость.

¹ На это папа, воздев руки и осенив широким крестным знаменем мою фигуру, сказал мне, что он меня благословляет и что он мне прощает все человекоубийства, которые я когда-либо совершил, и все те, которые я когда-либо совершу на службе апостольской церкви. *Перевод М. Лозинского.*

После ночного происшествия в харчевне под Луденом ему никак не удавалось взять себя в руки и преодолеть все те же, любезные ему и вместе с тем тягостные, мысли, и им уже стало овладевать какое-то изнеможение, когда он, к счастью, достиг перпиньянского лагеря и, опять-таки к счастью, согласился на предложение аббата де Гонди, ибо в лице того молодого, рассеянного и грустного незнакомца в трауре, которого дуэлянт в сутане попросил быть его секундантом, читатель, конечно, узнал Сен-Мара.

В качестве добровольца он распорядился разбить свою палатку в том месте лагеря, где расположились многие молодые дворяне, которым надлежало быть представленными королю, а затем служить в качестве адъютантов; он поспешил к себе в палатку; вскоре он уже сидел на коне, с оружием и в латах, соответственно существовавшему тогда обычаю, и без провожатых направлялся к испанскому бастиону, где была назначена встреча. Он оказался там первым и не мог не признать, что место дуэли — зеленая лужайка, скрытая за укреплениями осажденной крепости, — весьма удачно выбрано маленьким аббатом для осуществления его смертоубийственных намерений, ибо никому и в голову бы не пришло, что офицеры отправятся драться под стены осажденного города, к тому же выступ бастиона отделял эту лужайку от французского лагеря и скрывал ее словно огромная ширма. А меры предосторожности были необходимы, ибо в случае огласки дуэли — за удовольствие рискнуть своей жизнью пришлось бы заплатить не более не менее как головой*.

В ожидании друзей и противников Сен-Мар успел хорошо рассмотреть лежавшую перед ним южную окраину Перпиньяна. Он слышал, что осаду собираются пачать не здесь, и теперь тщетно старался разгадать план атаки. Между этой, южной, частью города, горами Альбера и Пертюсским перевалом легко было наметить направление атаки и расставить редуты против наименее защищенного места; но ни одного солдата здесь не оказалось; все силы, по-видимому, были сосредоточены на севере от Перпиньяна, в самом недоступном месте, против каменного форта Кастилье, возвышавшегося над воротами Нотр-Дам. Сен-Мар заметил, что до самого подножья испанского бастиона почва с виду болотистая, а в действительности очень твердая; что басти-

он охраняется с чисто кастильской беспечностью, а между тем защищать его можно только живою силой, ибо стенные зубцы и бойницы разрушены, а четыре пушки, очень крупного калибра, завязли в грунте, и, следовательно, их нельзя будет переместить и направить против армии, которая стремительно ринется к подножию стены.

Нетрудно было догадаться, что именно из-за этих грозных пушек осаждающие и решили не нападать в этом месте, а осажденные, надеясь на них, не позаботились усилить здесь средства обороны. Поэтому с одной стороны передовые посты и конные часовые были слишком удалены, а с другой сторожевые посты были редки и плохо содержались. Какой-то молодой испанец непринужденно расхаживал по крепостному валу, держа в руках длинную пицаль с сошкой и тлеющий фитиль; заметив Сен-Мара, который объезжал болото и рвы, испанец остановился и стал наблюдать за ним.

— *Señor caballero*¹, — крикнул он, — уж не собираетесь ли вы захватить бастион верхом на лошади, как Дон-Кихот Ламанчский?

С этими словами он отвязал железную сошку, висевшую у него сбоку, воткнул ее в землю и водрузил на нее пицаль, собираясь прицелиться; но тут другой испанец, закутанный в грязный коричневый плащ, с виду постарше и посерьезнее, обратился к молодому на родном языке:

— *Ambrosio de demonio*², разве ты не знаешь, что запрещено зря расходовать порох, пока дело не дошло до вылазок и атак? А ты собираешься для собственной потехи подстрелить мальчишку, который и фитиля-то твоего не стоит! Карл Пятый на этом самом месте сбросил в ров и утопил часового, который заснул на посту. Исполняй свой долг, а не то я так же расправлюсь с тобой.

Амбросио вскинул пицаль на плечо, повесил на бок сошку и вновь зашагал по валу.

На Сен-Мара эта угроза не произвела особого впечатления, он только подтянул поводья да собрался пришпорить коня, зная, что достаточно одного прыжка

¹ Обращение к дворянину, принятое в Испании.

² Чертов Амбросио (*исп.*).

этого легкого животного, чтобы перенестись за хижину, которая виднелась неподалеку, и оказаться в безопасности еще до того, как испанец успеет укрепить сошку и зажечь фитиль. К тому же он знал, что по существующему молчаливому соглашению запрещено стрелять в часовых, так как это считается убийством. По-видимому, молодой испанец, собиравшийся прицелиться, просто не знал этого правила, — иначе он так не поступил бы. Сен-Мар не проявил ни малейшего беспокойства и, когда часовой опять начал прохаживаться по валу, снова принялся объезжать местность; вскоре Сен-Мар увидел направлявшихся к нему пятерых всадников. Двое первых, подъехавших широким галопом, чуть не задев его, соскочили с коней, и Сен-Мар оказался в объятиях советника де Ту, тогда как маленький аббат де Гонди хохотал от всего сердца и восклицал:

— Орест встречается с Пиладом! Да еще в ту минуту, когда он собирался заколоть в угоду богам негодяя, который отнюдь не принадлежит к родне царя царей, — можете быть в этом вполне уверены!

— Кого я вижу! Это вы, дорогой Сен-Мар! — восклицал де Ту. — Как же так! Я и не знал, что вы прибыли в лагерь! Да, как есть — это вы; узнаю вас, хоть вы и побледнели! Любезный друг, вы хворали? Я часто писал вам; вы мне все так дороги, как во времена нашей детской дружбы.

— А я очень виноват перед вами, — ответил Анри д'Эффиа, — но я поведаю вам обо всем, чем я жил это время; я все расскажу вам, а писать об этом мне было совестно. Но какой вы добрый, ваша дружба выдерживает любое испытание!

— Я слишком хорошо вас знаю, — продолжал де Ту, — я верил, что в наших отношениях нет места гордыне и что моя душа всегда находит отклик в вашей.

С этими словами они обнялись, и глаза их увлажнились сладостными слезами, которыми люди плачут столь редко и от которых сердцу становится так отраднo.

Это длилось всего лишь мгновенье; однако, пока они обменивались приветствиями, Гонди не переставал теребить их за плащи, говоря:

— На коней! На коней господ! Успеете еще нацеловаться, раз вы уж такие нежные; смотрите, как бы нас не задержали, и постараемся скорее покончить

с этим делом, — вон приятели уже подъезжают. Положение у нас не из лучших, перед нами три молодца, неподалеку — стрелки, и испанцы — наверху; враг с трех сторон.

Не успел он кончить фразу, как шагах в шестидесяти от них показался господин де Лоне с секундантами, wybranными им скорее из среды своих личных друзей, чем из среды сторонников кардинала; он *поднял*, как говорится в манежах, коня на короткий галоп и по всем правилам искусства изящно подъехал к своим молодым противникам и важно приветствовал их.

— Господа, — сказал он, — хорошо бы нам, мне думается, поскорее выбрать себе противников и приступить к делу, ибо поговаривают о наступлении и мне надо быть на своем посту.

— Мы готовы, сударь, — ответил Сен-Мар, — а что касается выбора противников, то мне хотелось бы встретиться с вами. Я не забыл маршала де Басомпьера и Шомонский лес, и вам известно мнение мое о вашем дерзком приезде в замок моей матушки.

— Вы еще молоды, сударь; у вашей матушки я вел себя как светский человек, с маршалом — как капитан гвардии, с господином аббатом, который вызвал меня, — как дворянин, и точно так же буду иметь честь вести себя и с вами.

— Если я вам это позволю, — заметил аббат, уже в седле.

Они отметили шестьдесят шагов — да на лужайке и не нашлось бы больше места; аббата де Гонди поместили между де Ту и его приятелем, который оказался ближе всех к крепостному валу, где двое испанских офицеров и человек двадцать солдат разместились как на балконе, чтобы посмотреть на дуэль вшестером — зрелище для них довольно привычное. Видно было, что они радуются ему не меньше, чем бою быков, и смеются диким, язвительным смехом, выдающим их арабскую кровь.

По знаку Гонди шесть лошадей ринулись галопом и встретились на середине арены, не задев друг друга; в тот же миг почти одновременно раздалось шесть пистолетных выстрелов, и облако дыма окутало дерущихся.

Когда он рассеялся, из шести коней и шести всадников в целости оказались только трое всадников

и трое коней. Сен-Мар, сидя верхом, протягивал руку своему противнику, столь же спокойному, как и он сам; на другом конце де Ту подошел к своему противнику, лошадь которого он убил, и стал помогать ему подняться; что же касается Гонди и де Лоне, то ни того, ни другого не было видно. С тревогой разыскивая их, Сен-Мар заметил поодаль лошадь аббата — она пошла по кругу, волоча за собой будущего кардинала, который зацепился ногой за стремя и ругался так, словно всю жизнь только и изучал солдатский словарь; при падении, стараясь ухватиться за траву, он до крови разбил себе нос и руки; он невольно царапал шпорой брюхо лошади и с досадой видел, что она направляется ко рву с водой, окружающему бастион; но тут Сен-Мар, устремившись ей наперерез, к счастью, схватил ее за повод и удержал.

— Как видно, дорогой аббат, вы не так уж сильно ранены, ибо выражаетесь весьма решительно!

— Черт возьми! — кричал Гонди, протирая глаза, которые ему засыпало землей. — Чтобы выстрелить в лицо этому великану, мне поневоле пришлось нагнуться вперед и приподняться на стременах; из-за этого я и потерял равновесие; но он, кажется, тоже свалился.

— Вы не ошибаетесь, сударь, — ответил подъехавший к ним де Ту, — вон лошадь его плавает во рву вместе с хозяином, вы ему раздробили череп. Надо поскорее скрыться.

— Скрыться? Не так-то легко, господа, — сказал появившийся тут же противник Сен-Мара. — Слышите пушечный выстрел? Это сигнал к атаке; я не ожидал, что его подадут так рано; если мы поедем обратно, то встретимся со швейцарцами и ландскнехтами, которым поручен этот участок.

— Господин де Фонтрай прав, — сказал де Ту, — но если мы не повернем обратно, то попадемся испанцам, — вон они уже бегут к оружию, и сейчас пули зашвистят у нас над головой.

— Что ж, обсудим положение, — сказал Гонди, — позовите же господина де Монтрезора, зря он разыскивает тело бедняги де Лоне. Ведь вы, господин де Ту, не ранили господина де Монтрезора?

— Нет, господин аббат, не всем дано счастье обладать такой рукой, как ваша, — с горечью ответил подо-

шедший к ним Монтрезор; он хромал после падения, — у нас уже нет времени продолжать дуэль на шпагах.

— Что до меня, господа, то я отказываюсь от дуэли, — сказал Фонтрай, — господин де Сен-Мар поступил со мной слишком благородно; мой пистолет дал осечку, а его уже коснулся моей щеки, и, право же, я еще чувствую прикосновение пистолета; но господин де Сен-Мар великодушно отвел дуло и выстрелил в воздух; я этого никогда не забуду, и отныне я предан ему до гроба...

— Не в этом дело, господа, — прервал его Сен-Мар, — сейчас пуля прожужжала у меня над самым ухом; атака началась со всех сторон, и мы зажаты между нашими и неприятелем.

И действительно, отовсюду слышалась пальба; крепость, город и войска обволокло дымом; один только бастион, против которого они находились, не подвергся атаке, и его персонал, по-видимому, не столько готовился защищать его, сколько наблюдал за судьбой остальных укреплений.

— Противник, кажется, предпринял вылазку, — сказал Монтрезор, — дым в долине рассеялся, и кавалерийские части неприятеля атакуют под прикрытием крепостного орудия.

— Господа, — сказал Сен-Мар, все время наблюдавший за стенами крепости, — нам остается лишь одно: овладеть бастионом, который так слабо охраняется.

— Прекрасная мысль, сударь, — воскликнул Фонтрай, — но нас всего пятеро против, по меньшей мере, тридцати, мы у них на виду, и нас легко пересчитать.

— Клянусь честью, мысль недурна, — сказал Гонди, — лучше быть расстрелянным наверху, чем повешенным внизу, а последнего не миновать, если нас тут застигнут; в отряде господина де Лоне, конечно, уже заметили, что он пропал, а ссора наша известна всему двору.

— Смотрите, господа, — воскликнул Монтрезор, — к нам идут на помощь!

На них во весь опор надвигался большой, но беспорядочный отряд кавалеристов; их красные мундиры можно было разглядеть еще издалека; они, по-видимому, устремлялись именно к тому месту, где находились наши незадачливые дуэлисты, ибо едва первые лошади

достигли лужайки, как раздались и прокатились по всему отряду крики: «Стой!»

— Подъедемте к ним, это отряд тяжелой конницы,— сказал Фонтрай,— я узнаю ее по черным кокардам. Там видна и легкая кавалерия; присоединимся к ним, ряды их в полном беспорядке; их, по-видимому, отводят.

Это слово — благопристойное выражение, под которым подразумевалось, да и ныне на языке военных подразумевается *разгром*. Дуэлисты направились к взволнованному, шумному отряду и сразу же убедились, что предположение Фонтрая правильно. Но вместо уныния, которого можно было бы ожидать при подобных обстоятельствах, они застали в обоих отрядах лишь задорное молодое веселье да громкие раскаты смеха.

— Ничего не скажешь, Каюзак, твоя лошадь обогнала мою,— острил один из кавалеристов,— видно, ты на ней выезжал на королевскую охоту.

— А ты спешил сюда, должно быть, для того, чтобы поскорее со мной встретиться,— отвечал другой.

— Маркиз де Куален не иначе как совсем спятил, раз он бросил наш отряд в четыреста всадников на восемь полков испанцев.

— Ха-ха! Локмариа, ну и досталось же вашему султану, он стал похож на плакучую иву! С ним теперь только на похороны.

— Ах, господа, ведь я так и предсказывал,— довольно мрачно ответил молодой офицер,— капуцин Жозеф всюду сует нос, и я был уверен, что он что-то спутал, передавая от имени кардинала приказ начать атаку. Но разве вы были бы довольны, если бы тот, кто имеет честь вами командовать, отказался выступить.

— Нет, нет, нет!— в один голос закричали молодые люди и стали поспешно строиться в ряды.

— То-то я и говорил,— подхватил старик маркиз де Куален, глаза которого, несмотря на его седину, горели юношеским огнем,— что даже если вам прикажут в конном строю взять приступом крепость, то вы и это выполните.

— Браво, браво,— закричали гвардейцы, хлопая в ладоши.

— Что же, маркиз,— сказал Сен-Мар, подойдя к де Куалену,— сейчас как раз представляется случай осу-

ществовать то, что вы обещали; я всего лишь простой доброволец, но мы уже некоторое время наблюдаем за этим бастионом, и мне представляется, что его можно захватить.

— Сначала, сударь, надо бы поискать брода, а уж тогда...

В этот миг с бастиона, о котором шла речь, раздался выстрел, и пуля разможила голову коню старого командира.

— Локмариа, де Муи, принимайте команду и — в атаку, в атаку! — закричали из обоих отрядов; все думали, что старик убит.

— Пойдите, пойдите, господа, — сказал Куален, поднимаясь, — я сам вас поведу, с вашего позволения; показывайте дорогу, господин доброволец; испанцы приглашают нас, и наш долг — учтиво им ответить.

Едва успел старик сесть на другую лошадь, поданную ему ординарцем, и вынуть шпагу, как, не дожидаясь его команды, оба отряда, предводимые Сен-Маром и его друзьями, бросились в болото, где, к великому удивлению пылкой молодежи, да и самих испанцев, чересчур полагавшихся на его глубину, вода доходила лошадям лишь до колена; несмотря на картечь двух самых больших пушек, всадники, потеряв всякий строй, ворвались на лужайку под полуразрушенной стеной бастиона. В пылу атаки Сен-Мар, Фонтрай и юный Локмариа направили своих лошадей прямо на вал, но сильным ружейным огнем все три лошади были убиты и рухнули вместе с всадниками.

— Спешиться, господа! — крикнул старик Куален. — Пистолеты и шпаги в руки и — вперед! Коней оставить!

Все немедленно выполнили приказ и толпой бросились к бреши.

Тем временем де Ту, которому никогда не изменяло хладнокровие, равно как и преданность друзьям, не переставая наблюдал за своим юным товарищем и успел подхватить его, когда под тем пошатнулась лошадь. Он помог ему подняться, подал выпавшую из рук шпагу и, невзирая на град пуль, преспокойно сказал:

— Друг мой, ведь на мне мундир парламентского советника, поэтому у меня в этой переделке, вероятно, очень нелепый вид?

— Полноте, — сказал подошедший к ним Монтезор, — взгляните на аббата и успокойтесь.

И действительно, маленький Гонди локтями расталкивал гвардейцев и изо всех сил кричал:

— Три дуэли и штурм! Надеюсь, что уж на этот раз я расстанусь с сутаной!

И с этими словами он стал яростно колотить и рубить рослого испанца.

Соппротивление было недолгим. Испанские солдаты не выдержали натиска французских офицеров, и ни у одного из них не хватило ни времени, ни решимости перезарядить пищаля.

— Да, господа, будет у нас о чем рассказать нашим возлюбленным в Париже, — воскликнул Локмариа, подбросив в воздух шляпу.

Тут Сен-Мар, де Ту, Куален, де Муи, Лондишн, офицеры королевской конной гвардии и все прочие молодые дворяне со шпагой в правой руке и пистолетом в левой, теснясь, сталкиваясь и нанося себе в спешке не меньше вреда, чем неприятелю, высыпали наконец на площадку бастиона, подобно тому как вода бурно вырывается из сосуда с узким горлышком.

Победители с таким презрением относились к побежденным солдатам, которые бросались им в ноги, что даже не разоружали их и предоставили им бродить по бастиону, а сами стали бегать в захваченной крепости, как школьники во время каникул, и хохотали от всего сердца, словно участвовали в увеселительной прогулке.

Испанский офицер в коричневом плаще мрачно наблюдал за ними.

— Что это за черти, Амбросио? — говорил он какому-то солдату. — Я в свое время эдаких во Франции не видывал. Если у Людовика Тринадцатого вся армия такая, — значит, он только по доброте своей не завоевывает всю Европу.

— Ну, таких, верно, не много; это, видно, отряд головорезов, которым терять нечего, а пожить всегда кстати.

— Ты прав, — согласился офицер, — попробую подкупить кого-нибудь из них и удрать.

И он не спеша подошел к одному из гвардейцев, юноше лет восемнадцати, который сидел в сторонке на бруствере; цвет лица у него был розовый, как у де-

вушки, в руке он держал платок с вышивкой и вытирал лоб и светлые белокурые волосы; он взглянул на усеянные рубинами часы-луковицу, которые висели у его пояса на ленте с пышным узлом.

Испанец в удивлении остановился. Если бы он собственными глазами не видел, как этот юноша раскидывал вокруг себя солдат, он подумал бы, что тому под стать лишь нежиться на кушетке да напевать романсы. Но после предположения, высказанного Амбросио, ему пришла в голову мысль, что эти роскошные вещи, вероятно, похищены французом при разграблении дома какой-нибудь богатой женщины; поэтому он решительно подошел к юноше и сказал:

— *Hombre!*¹ Я офицер. Отпусти меня, позволь вернуться на родину.

Юный француз по-детски ласково взглянул на него и, вспомнив о собственной семье, ответил:

— Сударь, я вас представлю маркизу де Куалену, и он, несомненно, удовлетворит вашу просьбу; вы родом из Кастилии или из Арагона?

— Твой Куален обратится за разрешением еще к кому-нибудь, и мне придется ждать целый год. Помогите мне скрыться — получишь четыре тысячи дукатов.

Ласковое лицо французa вспыхнуло гневным румянцем, голубые глаза метали молнии.

— Мне денег? Прочь отсюда, болван! — вскричал он и закатил испанцу звучную пощечину.

Тот, не задумываясь, выхватил из-за пазухи длинный кинжал, рассчитывая без труда всадить его в сердце обидчика; но сильный и ловкий юноша схватил испанца за правую руку, резко вскинул ее вверх и опустил вместе с кинжалом, приставив лезвие к груди взбешенного врага.

— Эй, эй, спокойнее, Оливье! Оливье! — закричали со всех сторон его товарищи. — И так уж кругом валяется немало испанцев.

Вражеского офицера обезоружили.

— Что же нам делать с этим одержимым? — сказал один из них.

— Я себе такого и в лакеи бы не взял, — ответил другой.

— Его стоило бы повесить, — сказал третий, — но,

¹ Здесь: приятель! (*исп.*)

право же, господа, вешать не наше ремесло; передадим его швейцарцам, воп их батальон идет по долине.

И мрачный, невозмутимый испанец, вновь закутавшись в плащ, сам пошел по направлению к батальону; Амбросио решил не оставлять его; пять-шесть молодых сорванцов подталкивали пленника в спину.

Тем временем победители, удивленные собственным успехом, хотели было добиться еще большего. Сен-Мар и старик Куален, с которым юноша во всем советовался, обошли вокруг бастиона и с горечью убедились, что он совершенно отделен от города и что больше ничего предпринять нельзя. Им волей-неволей пришлось вернуться обратно; беседуя, они не спеша направились к де Ту и аббату де Гонди, которые весело балагурили с гвардейцами.

— На нашей стороне вера и справедливость, господа, мы не могли не победить.

— Еще бы! Но и они рубились не хуже нашего!

Завидя Сен-Мара, все притихли и стали шепотом спрашивать друг друга, кто он такой, потом все его окружили и стали с восторгом пожимать ему руки.

— Вы правы, господа,— сказал старый командир,— нынче он, как выражались наши предки, *герой дня*. Он доброволец, сегодня должен быть представлен королю самим кардиналом.

— Кардиналом! Мы его сами представим. Не быть же такому славному малому *кардиналистом*,— задорно кричала молодежь.

— Сударь, я лучше, чем кто-либо, отобью у вас охоту служить кардиналу; я состоял при нем пажом и знаю его отлично,— сказал, приблизившись, Оливье д'Антрег.— Зачисляйтесь лучше в королевские гвардейцы; тут, уверяю вас, вы найдете неплохих товарищей.

Старик маркиз приказал трубить сбор его доблестных отрядов и тем самым избавил Сен-Мара от затруднительного ответа. Пушка умолкла, и прибывший ординарец доложил маркизу, что король и кардинал объезжают позиции, чтобы ознакомиться с результатами атаки; маркиз распорядился ввести всех лошадей через брешь, на что потребовалось немало времени, и выстроить оба конных отряда в боевом порядке на таком месте, куда, казалось бы, не мог проникнуть никакой другой род войска, кроме пехоты.



Глава X НАГРАДЫ

С м е р т ь:

Как этот подлый сброд, алкавший грабежа,
От моего хлыста спасается, дрожа!
Гремите в уши им, валторна, флейта, дудка,
Вселите ужас в них, лишите их рассудка!

Н. Лемерсье «Пангипокризида»

«Чтобы утолить первый порыв горя, который охватит короля,— говорил Ришелье,— чтобы создать источник волнений, которые отвлекли бы его слабую душу от скорби, пусть начнется осада этого города — я согласен; пусть Людовик едет туда — я разрешаю ему нанести удары некоторому числу злополучных солдат, удары, которые он хотел бы, но не смеет нанести мне; пусть его гнев будет погашен кровью этих темных людей — такова моя воля; но его мимолетная жажда славы не изменит моих непреклонных намерений, крепость еще не сдастся, она станет французской только года через два; она попадетсЯ в мои сети лишь в день, который я сам намечу. Гремите, пушки и снаряды; обдумывайте военные действия, мудрые полководцы; бросайтесь в атаку, юные воины; я приглушу ваш грохот, расстрою ваши планы, подорву ваши усилия; все это рассеется, как дым, и я сам буду руководить вами, чтобы вас сбить с толку!»

Вот приблизительно какие мысли возникали в лысеющей голове кардинала-герцога перед атакой, некоторые подробности которой мы описали в предыдущей главе. Кардинал, верхом на лошади, находился на одной из возвышенностей Сальских гор, расположенных к северу от города. Отсюда он мог наблюдать всю Руссильонскую долину, спускающуюся к Средиземному морю; Перпиньян со своей кирпичной крепостной стеной, бастаионами, цитаделью и колокольной выделялся темным силуэтом на фоне просторных зеле-

неющих лугов, а широко раскинувшиеся горы охватывали его вместе с долиной, словно огромный лук, изогнутый с севера на юг, а море, растянувшееся беловатой чертой на востоке, казалось его серебристой тетиной. Справа высилась огромная гора, именуемая Капигу, по склонам которой сбегали в долину две речки. Армия французов простиралась на запад, вплоть до самого подножия этого барьера. Позади министра теснилось множество военачальников и вельмож на конях; все они держались шагах в двадцати от него и хранили глубокое молчание. Сначала министр шагом проехал вдоль передовых позиций, а потом остановился на возвышенности, откуда его взгляд и мысль парили над судьбами осаждающих и осажденных. Взоры всей армии сосредоточились на нем, он был виден отовсюду. Каждый, кто носил оружие, считал его своим непосредственным начальником и ждал его знака, чтобы приступить к действиям. Уже давно Франция находилась под его ярмом, и всеобщий восторг мешал людям увидеть в его поступках что-либо нелепое, хотя, будь на его месте кто-нибудь другой, это нелепое сразу стало бы очевидным. А здесь, например, никому и в голову не приходило улыбнуться или даже просто подивиться тому, что в латы закован священнослужитель; суровость его нрава и самый вид исключали возможность каких-либо иронических сопоставлений и непочтительных мыслей. В тот день кардинал был облачен в мундир цвета опавших листьев с золотым галуном и латы цвета морской волны; на боку — шпага, на луке седла — пистолеты; на голове — шляпа с перьями, которую он надевал редко, потому что постоянно носил красную скуфейку. Позади кардинала стояли два паж — один из них держал его латные рукавицы, другой — шлем; рядом с ним находился начальник его охраны.

Недавно король назначил его генералиссимусом, поэтому все генералы присылали к нему адъютантов за распоряжениями; но кардинал, отлично понимая тайные причины, вызвавшие ныншний гнев монарха, умышленно отсылал к королю всех, кто ожидал от него того или иного решения. И случилось то самое, что он и предвидел, ибо он умело управлял этим сердцем, безошибочно рассчитывал все его движения, словно то был часовой механизм, и мог бы совершенно точно ска-

зять, какие чувства владеют им в настоящее время. Людовик XIII подъехал и остановился возле кардинала, но подъехал как ученик-подросток, который поневоле вынужден признать, что учитель прав. Вид у него был высокомерный и недовольный, говорил он отрывисто и сухо. Кардинал был невозмутим. Всякий заметил бы, что король, советуясь, говорит как бы командуя и таким образом примиряет свою слабость с властью, нерешительность с гордостью, неумение с притязаниями, в то время как министр диктует ему свои веления в тоне глубочайшей покорности.

— Я желаю, кардинал, чтобы атака началась незамедлительно, — сказал король, подъехав, — то есть, — добавил он небрежно, — как только все будет готово и в тот час, который вы наметите вместе с нашими маршалами.

— Если осмелюсь выразить свою мысль, государь, мне было бы приятно, если бы вы сооблаговостили назначить атаку через четверть часа, ибо этого времени вполне достаточно, чтобы ввести в дело третью линию.

— Да, да, отлично, господин кардинал; я так и думал; я сам отдам распоряжение; я все хочу делать сам. Шомберг, Шомберг! Я хочу, чтобы через четверть часа был дан сигнал к атаке. Я так хочу.

Шомберг, которому предстояло возглавить правый фланг армии, отдал распоряжение, и раздался сигнальный выстрел.

Батареи, еще заранее размещенные маршалом де Ламейре, стали пробивать в стене брешь, но действовали нерешительно: артиллеристы понимали, что им предложили стрелять по двум совершенно неприступным целям и что при их опыте и особенно при здравом смысле и сообразительности, свойственным французскому солдату, каждый из них легко мог бы указать место, куда надо бить.

Король был поражен тем, как вяло стреляют пушки.

— Ламейре, — сказал он в нетерпении, — вон те батареи замерли, ваши пушки спят.

Маршал и начальник артиллерии стояли тут же, но ни один из них не ответил ни слова. Они обратили взоры на кардинала, который замер в неподвижности, как конная статуя, и последовали его примеру. Они могли бы возразить, что виноваты не солдаты, а тот, кто не-

правильно расположил батареи, но именно Ришелье, делавший вид, будто считает, что они расставлены наилучшим образом, не давал начальникам возможности возразить.

Короля крайне удивило их молчание, и он слегка покраснел при мысли, не явился ли его вопрос какой-нибудь грубой ошибкой в военном искусстве; приблизившись к сопровождающей его свите, он сказал, стараясь приободриться:

— Д'Ангулем, Бофор, какая скука, не правда ли? Мы стоим тут как мумии.

Шарль де Валуа подъехал к королю и заметил:

— Мне кажется, государь, что не пущены в ход машины инженера Помпе-Таргона.

— Это вполне понятно, — съязвил герцог де Бофор, пристально смотря на Ришелье, — ведь когда к нам явился этот итальянец, нам куда больше хотелось взять Ларошель, чем Перпиньян. Здесь — ни одной заготовленной машины, ни одной мины, ни одной подрывной шашки под стенами, а ведь маршал де Ламейре говорил мне сегодня утром, что он предлагал применить их, чтобы пробить брешь. Не надо было атаковать ни Кастилье, ни шесть больших внешних бастионов, ни примкнутый к ним рavelин. Если так пойдет дальше, то из каменного рукава цитадели нам еще долго будут угрожать.

Кардинал, находившийся все на том же месте, не проронил ни слова; он только поманил к себе Фабера, и тот, отделившись от свиты, подъехал к нему и стал немного позади, возле начальника охраны.

Тут герцог де Ларошфуко приблизился к королю и сказал:

— Мне думается, государь, что наша медлительность придает противнику дерзости, ибо он предпринял вылазку, и большой неприятельский отряд направляется прямо в сторону вашего величества, полки Бирона и де Попа отстреливаются и отступают.

— Ну что ж, — ответил король, обнажая шпагу, — нападем на этих негодяев и вынудим их вернуться в крепость; дайте мне кавалерию, д'Ангулем. Где она, кардинал?

— Вон за тем холмом, государь, выстроены шесть драгунских полков и карабинеры де Ларока: внизу находятся мои отряды — соблаговолите воспользоваться

ими, ибо маркиз де Куален, как всегда чересчур ретивый, завел вашу гвардию далеко в сторону. Жозеф, поезжай к маркизу и передай, чтобы он вернулся сюда.

Последние слова кардинал прошептал, обращаясь к отцу Жозефу, который сопутствовал ему, облачившись в военный мундир, хоть и чувствовал себя в нем весьма неловко; капудин тотчас же поскакал в долину.

Тем временем из ворот Нотр-Дам, словно движущийся темный лес, выходили сомкнутые ряды старой испанской пехоты, а из других ворот выезжала и выстраивалась в долине тяжелая конница. Французская армия, расположенная у подножья холма, где находился король, на поросших травой укреплениях, под прикрытием редутов и фашин, с ужасом увидела оба отряда королевских конногвардейцев, зажатыми между двумя вражескими отрядами, которые численностью своею раз в десять превышали французов.

— Трубите же сигнал атаки!— воскликнул Людовик XIII.— А не то моему старому Куалену конец!

И король вместе со свитой, столь же пылкой, как и он, стал спускаться с холма; однако не успел он спуститься к подножью и стать во главе своих мушкетеров, как оба отряда сами приняли решение; с быстротой молнии, с возгласами *«Да здравствует король!»* они ринулись на длинную колонну вражеской кавалерии, словно два коршуна на змею, в кровопролитной схватке прорвались сквозь вражеские ряды и соединились позади испанского бастиона; противник был настолько ошеломлен происшедшим, что стал восстанавливать ряды, даже и не помышляя о преследовании.

Армия рукоплескала; король в изумлении остановился; он осмотрелся вокруг и во всех взорах увидел горячее желание броситься в атаку; в глазах его сверкнула доблесть, прославившая его предков; еще секунду он находился как бы в нерешительности, с упованием вслушиваясь в грохот пушек и вдыхая запах пороха; казалось, он преобразился и снова стал Бурбоном; всем, кто видел его тогда, чудилось, будто ими командует какой-то другой человек. Вскинув шпагу и обратив взор к сияющему солнцу, он воскликнул:

— За мной, храбрецы! За мной, друзья! Здесь я — король Франции!

Королевская гвардия, развернувшись, бросилась вперед, преодолевая пространство и взметая тучи пыли

с земли, дрожавшей под копытами коней, и несколько мгновений спустя смешалась с испанской конницей, точно так же окутанной огромной зыбкой тучей.

— Теперь, вот теперь действуйте! — вскричал громовым голосом кардинал, наблюдавший за сражением с высоты холма. — Снимайте батареи с позиций, они там не пужны. Фабер, командуйте: всем пушкам палить по пехоте, которая постепенно окружает короля. Бегите, летите, спасайте короля!

И тотчас же свита, до сего времени неподвижная, приходит в волнение: генералы отдают распоряжения, адъютанты мчатся, устремляясь в долину, и, преодолевая рвы, изгороди и кусты, достигают цели почти так же быстро, как мысль, направляющая их, и следящий за ними взор. Вдруг доселе редкие огни, вспыхивавшие над батареями, солдаты которых уже пали духом, превращаются в огромное пламя; оно вытесняет дым, который возносится к самому небу, образуя бесчисленные легкие колеблемые ветром облака; пушечные залпы, казавшиеся далеким слабым эхом, превращаются в оглушительный гром, и раскаты его следуют друг за другом с такой же стремительностью, как и барабанная дробь, призывающая к атаке; между тем широкие огненные языки с трех сторон обрушиваются на темные колонны, выступающие из осажденного города.

Ришелье, оставаясь все на том же месте, беспрестанно отдавал распоряжения и бросал при этом на подчиненных взгляды, которые ясно говорили, что любого, кто замешкается с исполнением приказа, ждет смертный приговор. Глаза кардинала горели, движения стали повелительны.

— Король разгромил конницу; но пехота еще сопротивляется; наши батареи нанесли противнику значительный урон, но еще не победили. Гассион, Ламейре и Ледигьер, три полка пехоты — вперед, немедленно! Подойти к колонне с флангов! Дайте приказ остальной армии прекратить атаку и по всей линии стоять на месте! Бумаги! Я сам напишу Шомбергу.

Один из пажей спешил и подал кардиналу карандаш и бумагу. Министр, поддерживаемый четырьмя офицерами из его свиты, с трудом слез с коня, несколько раз невольно вскрикнув от боли, которую он, однако, преодолел; он присел на лафет, а паж наклонился и в качестве копытки подставил свое плечо;

кардинал наспех набросал приказ, дошедший до нас среди прочих рукописей того времени; он мог бы служить примером для нынешних дипломатов, которые, по-видимому, предпочитают находиться в равновесии между двумя решениями, чем искать то единственное, которое должно определить судьбы мира, ибо они считают, что гений чересчур груб и прямолинеен, чтобы следовать по его пути.

Господин маршал, не рискуйте, а тщательно все обдумайте прежде, нежели атаковать. Когда вас уведомят, что король не желает рисковать, это не значит, что его величество решительно запрещает вам приступать к военным действиям, но он не желает, чтобы вы дали решительное сражение,— разве что у вас имеется твердая надежда на успех, основанная на преимуществах вашей позиции, ибо ответственность за исход сражения лежит, разумеется, на вас.

Отдав эти распоряжения, старый министр молча стал наблюдать за сражением, которым командовал король; он сидел на лафете, положив обе руки на запальный выступ душки и наклонив голову вперед,— в положении человека, который налаживает и нацеливает орудие, и был похож на матерого, одряхлевшего от старости волка, который уже пресытился добычей и теперь только смотрит, как лев терзает в долине стадо быков, на которое сам он уже не решился бы броситься; время от времени взор его оживляется: запах крови радует его, и, вспоминая ее вкус, он пылающим языком облизывает беззубую пасть.

В тот день слуги кардинала (а почти никого больше при нем и не было) заметили, что с утра до самой ночи он ничего не ел, он настолько напряг все свои духовные силы, чтобы управлять событиями, что даже преодолел телесные страдания и забыл о них, как будто они не существовали. Именно сила сосредоточенности и постоянное присутствие духа возносили его почти что на уровень гения. Да он достиг бы этого, будь наделен врожденным величием души и благородной отзывчивостью сердца.

На поле брани все произошло так, как ему хотелось, и счастье, не покидавшее его в кабинете, сопутствовало ему и на войне. Людовик XIII жадно при-

нял победу, которую предуготовил ему министр, а от себя добавил только величественность и отвагу, всегда присущие победителю.

Пушка умолкла, ибо разгромленные колонны пехоты укрылись в Перпиньяне; остальные части были рассеяны, и в долине теперь виднелись лишь яркие королевские эскадроны, которые следовали за монархом, перестраиваясь на ходу.

Король возвращался шагом и с удовлетворением оглядывал поле битвы, совершенно очищенное от противника; он горделиво проехал под огнем испанских пушек, но неприятель, то ли по оплошности, то ли по тайному сговору с кардиналом, то ли совестясь убить короля Франции, послал ему вдогонку всего лишь несколько ядер, которые, пройдя над его головой на высоте шести футов, не долетели до лагеря, зато послужили к вящей славе короля, лишний раз доказав его отвагу.

Но по мере того как он приближался к холму, где его ждал Ришелье, выражение его лица заметно менялось и мрачнело: румянец, вызванный треволнениями битвы, тускнел и благородная испарина исчезала со лба. С каждым шагом к нему возвращалась обычная бледность, точно ей одной подобало господствовать на королевском челе; во взгляде уже погасли мимолетные молнии, и, когда он подъехал к министру, глубокая грусть сковала его черты. Он застал кардинала в том же положении, в каком оставил его. Кардинал, сидевший на коне и по-прежнему холодно-почтительный, поклонился королю и, сказав несколько любезных слов, поместился рядом с ним, чтобы проехать вдоль рядов солдат и ознакомиться с итогом сражения, а свита и крупнейшие вельможи следовали на некотором расстоянии впереди и позади, образуя вокруг них как бы облако.

Ловкий министр не проронил ни слова, не сделал ни единого жеста, который хоть отдаленно мог навести на мысль, что он принял участие в событиях этого дня. И удивительно было то, что все являвшиеся с донесениями отлично понимали намерения кардинала и старались не подрывать его незримое могущество внешним проявлением покорности; все заслуги приписывались королю. Кардинал рядом с королем объехал правый фланг, который ему не был виден с высоты

холма, и с удовлетворением отметил, что Шомберг, хорошо его знавший, действовал именно так, как он приказал: пустив в ход только несколько легко вооруженных отрядов, генерал принял участие в сражении лишь настолько, чтобы застраховать себя от упрека в бездействии, но не настолько, чтобы добиться какого-либо результата. Такой образ действий привел министра в восторг и не вызвал неудовольствия короля, самолюбию которого льстила мысль, что победа в данном случае принадлежит ему одному. У него даже возникло желание еще больше убедить самого себя в этом и представить дело так, будто все усилия Шомберга оказались совершенно бесплодными; поэтому он сказал Шомбергу, что не гневается на него за малую помощь, ибо сам убедился, что перед ними враг далеко не столь слабый, как думали сначала.

— В доказательство того, что теперь мы вас еще больше ценим,— добавил король,— назначаем вас в нашу свиту и жалуем вам право присутствовать на наших больших и малых выходах.

Кардинал мимоходом крепко пожал маршалу руку, а тот, удивленный этим потоком милостей, последовал за монархом, понутив голову, как виновный; в утешение себе он стал припоминать свои прежние боевые подвиги, оставшиеся безвестными, и ради успокоения совести мысленно приписывал им теперешние незаслуженные награды.

Король уже собирался повернуть обратно, когда герцог де Бофор, стараясь угодить, удивленно воскликнул:

— Что это, государь, орудийный ли огонь у меня еще в глазах, или я с ума сошел от солнечного удара? Мне чудится, что вон на том бастионе видны всадники в красных мундирах и они страшно похожи на легкую кавалерию вашего величества, которых мы считали убитыми.

Кардинал нахмурился.

— Этого быть не может, сударь,— возразил он,— господин де Куален из-за своей неосторожности погубил всю конницу его величества; поэтому-то я сейчас и осмелился доложить его величеству, что если бы эти бесполезные отряды были упразднены, то от этого, с военной точки зрения, получилась бы только польза.

— Нет, уж позвольте, ваше высокопреосвященство, — настаивал герцог де Бофор, — я не ошибаюсь. Вот семь-восемь кавалеристов идут пешком и ведут пленных.

— Так поедemте туда и посмотрим, — равнодушно сказал король, — если там отыщется и мой старик Куален, я буду очень рад.

Всем пришлось последовать за монархом.

С большими предосторожностями лошади короля и свиты прошли по болотам, среди осколков снарядов, а на холме, к всеобщему удивлению, были обнаружены два отряда королевской гвардии, выстроившиеся в боевом порядке, словно на параде.

— Хвала богу! — воскликнул Людовик XIII. — Кажется, все до одного целы! Итак, маркиз, вы сдержали слово и в конном строю одолели крепостные стены.

— Мне кажется, место выбрано крайне неудачно, — презрительно сказал Ришелье, — отсюда нельзя содействовать взятию Перпиньяна, зато жертв, вероятно, было много.

— Да, вы правы, — сказал король (он впервые обратился к кардиналу не так сухо, как говорил с ним после их встречи, когда была получена весть о смерти королевы), — и я весьма сожалею о крови, которую пришлось здесь пролить.

— В атаке, государь, было ранено только двое наших молодцов, — ответил старик Куален, — зато мы тут приобрели новых товарищей по оружию в лице добровольцев, которые и послужили нам проводниками.

— Кто они такие? — спросил король.

— Трое из них, государь, скромно удалились, но самый молодой, которого вы изволите видеть, как раз и был первым среди атакующих, и его пример подсказал мне, как действовать. Оба отряда просят о чести представить его вашему величеству.

Сен-Мар, находившийся верхом позади старого командира, снял шляпу, и все взоры обратились на его юное бледное лицо, большие черные глаза и длинные каштановые кудри.

— Он напоминает мне кого-то, — сказал король, — а как по-вашему, кардинал?

Ришелье, уже успевший бросить на незнакомца пронизательный взгляд, ответил:

— Если не ошибаюсь, этот юноша...

— Анри д'Эффия, — громко сказал, кланяясь, доброволец.

— Как же так, государь? Ведь именно о нем я докладывал вашему величеству и сам должен был вам его представить. Это младший сын маршала.

— Ах, пусть лучше представит мне его этот бастион, — резко возразил король. — Это вполне к лицу тому, кто носит имя нашего старого друга, дитя мое. Следуйте за мной в лагерь, нам есть о чем с вами поговорить. Но что я вижу? И вы здесь, господин де Ту? Приехали кого-нибудь судить?

— Вероятно, государь, он приговорил к смерти немало испанцев, ибо он вошел в крепость вторым, — ответил Куален.

— Я никого не убивал, сударь, — прервал его де Ту, краснея, — это не мое ремесло; никаких заслуг у меня здесь нет, я просто сопровождал господину де Сен-Мару, моему другу.

— Ваша скромность нам по душе не меньше, чем его отвага, и мы не забудем этой вашей черты. Кардинал, нет ли где-нибудь вакантной должности председателя суда?

Ришелье не любил господина де Ту, но так как причины, по которым он ненавидел того или иного человека, всегда бывали скрыты, то поиски их обычно ни к чему не приводили; однако в данном случае вырвавшиеся у кардинала слова все разъяснили. Неприязнь его основывалась на фразе, сказанной президентом де Ту *, отцом молодого чиновника, в его «Истории»; эта фраза изобличала двоюродного деда кардинала, который был сначала монахом, потом отступился от веры и запятнал себя множеством пороков.

Ришелье склонился к Жозефу и шепнул:

— Видишь этого человека? Его отец вписал мое имя в свое жизнеописание. Ну что ж, придется мне ответить ему тем же.

И действительно, он впоследствии вписал это имя кровью в историю своей жизни. В настоящую же минуту, чтобы уклониться от ответа королю, он сделал вид, будто не слышал вопроса, и что-то сказал о заслуге Сен-Мара и о том, что будет рад видеть его при дворе.

— Я заранее обещал, что назначу его капитаном моих гвардейцев, — сказал монарх. — Назначьте его на

эту должность завтра же. Я хочу ближе познакомиться с ним, и если он мне понравится, то впоследствии получит повышение. Поедемте; солнце садится, а мы далеко от армии. Прикажите, чтобы мои доблестные гвардейцы следовали за нами.

Передав это распоряжение, — из которого он позаботился исключить похвальный отзыв монарха, — министр занял место справа от короля, и кавалькада направилась в лагерь, доверив бастион охране швейцарцев.

Оба отряда медленно прошли сквозь брешь, которую столь стремительно пробили; они были мрачны и молчаливы.

Сен-Мар приблизился к своему другу.

— Герои остались без награды, — сказал он, — ни единой милости, ни единого лестного слова!

— Зато я, приехавший сюда против воли, удостоился похвалы, — ответил простодушный де Ту. — Таковы придворные нравы, такова жизнь; но есть над нами и судья истинный, которого ничем нельзя ослепить.

— Это не помешает нам завтра же, если понадобится, сложить голову на поле сражения, — заметил, смеясь, юный Оливье.



Глава XI ОШИБКИ

А Сен-Гилен, тот в свой черед
На стол швырнул три кости разом,
Взглянул на черта хитрым глазом
И молвил: «Кто ж из нас вперед
Владеть его душою будет?»

Старинная легенда

Чтобы предстать перед королем, Сен-Мару пришлось сесть на коня одного из кавалеристов, раненных в стычке, ибо своего он лишился у подножья крепостной стены. Выход двух отрядов через брешь потребовал довольно много времени, и они все еще шли и шли, когда Сен-Мар почувствовал, что кто-то коснулся его плеча; обернувшись, он увидел старика Граншана, который держал под уздцы прекрасную пегую лошадь.

— Соблаговолите, ваше сиятельство, сесть на собственного коня,— сказал он.— Я надел на него седло и бархатный чепрак, расшитый золотом, которые подобрал во рву. Подумать только — ведь их мог захватить какой-нибудь испанец или даже француз: в наши дни развелось немало людей, которые хватают все, что попадется под руку, как свою собственность, да и недаром говорят: «Что с возу упало — то солдату в руки попало». Они могли бы утащить и четыреста золотых экю, которые ваше сиятельство,— не в укор будь сказано,— забыли в седельных кобурах. А пистолеты-то, да еще какие пистолеты! Я их купил давным-давно в Германии, а они все такие же исправные, и спуск работает не хуже, чем в день покупки. Хватит и того, что убили бедного вороного, который был родом из Англии,— это так же верно, как то, что я родом из Тура в Турени; зачем же было бросать такие ценные вещи, ведь они могли достаться неприятелю.

Причитая таким образом, Граншан сам тем временем кончал седлать пегого коня; отряды выходили

медленно, и слуга, пользуясь этим, тщательно проверял шпеньки на каждой пряжке седла и длину подпруг, что не мешало ему продолжать свои рассуждения.

— Простите, сударь, я немножко замешкался, да дело в том, что я чуточку попортил себе руку, когда поднимал господина де Ту, а господин де Ту поднимал ваше сиятельство после того, как все вы свалились.

— Как? Ты и там был, старый дурак!— сказал Сен-Мар.— Это не твоя забота; я тебе приказывал оставаться в лагере.

— Ну, насчет того, чтобы оставаться в лагере, так это не в моих правилах; когда раздается выстрел, мне во что бы то ни стало надо видеть его вспышку, иначе я захвораю. А что касается моих забот, сударь, то в том они и заключаются, чтобы позаботиться о ваших конях, а вы сейчас на своем коне и сидите. Неужели вы думаете, что, если бы только можно было, я не спас бы того бедного вороного, который лежит сейчас во рву? Как я любил его, сударь! Ведь этот конь три раза выходил победителем на скачках. Всякий, кто любил его, как я, скажет, что мало ему пожилось на свете. Он не принимал овес ни от кого другого, кроме как от своего друга Граншана, и каждый раз ласкался ко мне,— в доказательство этому кончика левого уха у меня не хватает,— это он, бедняга, откусил мне его однажды; но он не хотел причинить мне зла,— наоборот. Слышали бы вы только, как сердито он ржал, когда к нему подходил кто-нибудь другой; он, милое создание, Жану ногу из-за этого переломил; как я любил его! А когда он упал, я старался одной рукой поддержать его, а другой — господина де Локмариа. Сначала я было подумал, что и он и всадник поднимутся; но, к несчастью, из них только один очнулся, и как раз тот, которого я меньше знал. Вы, кажется, посмеиваетесь над тем, что я говорю о вашем коне, сударь; но вы забываете, что на войне лошадь — душа всадника, да, сударь, душа; ибо что особенно устрашает пехоту? Конница! И, уж конечно, не человек, которого сбрось только — и он все равно что сноп сена. Кто действует так, что все любят? Опять-таки конь! И хоть иной раз хозяину и хотелось бы быть где-нибудь подальше, а все же, благодаря коню, он оказывается победителем и награду получает, а бедной скотине одни только удары достаются. Кто берет призы на скачках? Опять-таки

конь, хоть он после этого даже и не поест получше, зато хозяин его кладет себе золото в карман, да все друзья ему завидуют, и важные господа уважают, как будто он сам скакал. Кто гонится за косулей и не получает ни кусочка ее мяса? Опять-таки лошадь. А случается, что и ее самое, беднягу, съедят. Однажды в походе с господином маршалом и мне случилось... Но что это с вами, ваше сиятельство? Вы побледнели...

— Стяни мне погу чем-нибудь потуже — платком, что ли, или ремнем, словом, чем хочешь. Очень болит что-то!

— У вас, сударь, сапог продырявлен. И пожалуй, что пулей; ну, не беда, свинец — друг человека.

— Однако мне от него очень больно.

— Кого любит, того и бьет, сударь. Свинец! О свинце дурно отзываться не следует; однажды...

Запявшись перевязкой ноги Сен-Мара повыше колена, чудак собрался было произнести столь же нелепое похвальное слово свинцу, какое он только что произнес в честь лошади, но тут его внимание, как и внимание Сен-Мара, привлекла шумная, ожесточенная перебранка между швейцарцами, которые после ухода остальных воинских частей оказались поблизости от них; швейцарских солдат было человек тридцать, и все они кричали и размахивали руками, а речь шла, по видимому, о двух испанцах, которых они окружили кольцом.

Д'Эффиа прислонился к седлу и протянул ногу слуге, а сам внимательно прислушивался и старался уловить, что они говорят; но он совсем не знал немецкого и поэтому не мог понять их спора. Граншан, не выпуская его сапога, тоже сосредоточенно вслушивался и вдруг от души расхохотался и даже схватился за бока, чего с ним никогда не случалось.

— Ха-ха-ха! Два сержанта, сударь, спорят о том, которого из двух испанцев, что там стоят, надо повесить, потому что ваши приятели в красном не потрудились толком распорядиться; один швейцарец говорит, что повесить надо офицера, а другой уверяет, что солдата. Но вот третий, кажется, примирил их.

— Что же он сказал?

— Что надо повесить обоих.

— Осторожно! Осторожно! — вскрикнул Сен-Мар, пытаясь стать на ноги.

Но стоять он не мог.

— Подсади меня на лошадь, Граншан.

— Как же можно, сударь, ведь рана...

— Исполни, что тебе приказывают, и сам садись верхом.

Старый слуга, ворча, подчинился и по приказанию хозяина помчался, чтобы задержать швейцарцев, которые уже спустились в долину и готовились повесить пленников или, вернее, предоставили им самим привязать себя к ветке дерева; офицер, с хладнокровием, свойственным его мужественной нации, уже надел себе на шею петлю и собирался, не дожидаясь приказа, подняться на лесенку, приставленную к дереву, и привязать к ветке другой конец веревки. А солдат с тем же беззаботным спокойствием поддерживал лесенку и наблюдал, как спорят швейцарцы.

Сен-Мар подоспел как раз вовремя, чтобы спасти их; он назвал себя сержантом и, воспользовавшись Граншаном как переводчиком, сказал, что двое пленников принадлежат ему и что он отведет их в свою палатку; он капитан королевских гвардейцев и ответственность берет на себя. Немец, как человек дисциплинированный, не осмелился возражать; сопротивление оказал только сам пленный офицер. Еще стоя на лесенке, он обернулся и точно с кафедры сказал с язвительной усмешкой:

— Хотел бы я знать, чего тебе тут надо? Откуда ты взял, что я дорожу жизнью?

— Я об этом и не спрашиваю,— ответил Сен-Мар,— мне совершенно безразлично, что с вами станет потом, но сейчас я хочу воспрепятствовать делу, которое мне представляется несправедливым и жестоким. А потом вы можете лишиться себя жизни, если пожелаете.

— Недурно сказано,— продолжал свирепый испанец,— ты мне нравишься. Поначалу я подумал, что ты намерен проявить великодушие в расчете, что мне придется благодарить тебя, а этого я терпеть не могу. Ну что ж, я согласен слезть отсюда: но я все-таки буду по-прежнему ненавидеть тебя, ибо ты француз,— предупреждаю тебя об этом и благодарить тебя не стану, потому что мы всего лишь квиты: я сегодня утром помешал этому солдату убить тебя; ведь он уже прице-

лился, а еще не было случая, чтобы он промахнулся, охотясь на серн в горах Леоне.

— Пусть так, — сказал Сен-Мар, — слезайте.

Он давно взял себе за правило относиться к людям так же, как сами они ведут себя по отношению к нему, и резкость испанца вызвала в нем ответную суровость.

— Ну и отчаянный же молодчик, ваше сиятельство, — заметил Граншан, — на вашем месте господин маршал не позволил бы ему спуститься с лесенки. Эй, Луи, Этьен, Жермен, возьмите под стражу пленных его сиятельства и ведите их. Нечего сказать, хороша находка. Весьма удивлюсь, если от нее будет прок.

Каждый шаг лошади причинял Сен-Мару сильную боль; он ехал медленно, чтобы не обогнать пленных, которые шли пешком; вдали он видел колонну королевских гвардейцев, следовавших за королем, и старался предугадать, что именно хочет сказать ему монарх. Луч надежды осветил в его воображении далекий образ Марии Мантуанской, и на время в его душе воцарился мир. Но вся его будущность заключалась в словах: *понравиться королю*, — и он стал размышлять о том, как много горечи заключено в этой истине.

Тут он увидел приближающегося к нему господина де Ту; его друг беспокоился, узнав, что он отстал, принялся искать его в долине и поспешил, чтобы в случае надобности помочь ему.

— Уже поздно, друг мой, смеркается; вы очень задержались, я тревожился за вас. Кого это вы ведете? Почему вы так замешкались? Скоро король потребует вас к себе.

Таковы были вопросы, которые задавал молодой советник, так как беспокойство за судьбу товарища по оружию вывело его из привычного равновесия, которое он не терял даже в бою.

— Меня слегка ранило; я веду пленного, а сейчас думал о короле. Зачем я ему нужен? Как поступить, если он пожелает приблизить меня к трону? Придется угождать. При этой мысли, признаюсь, мне хочется бежать без оглядки, но я надеюсь, что на мою долю не выпадет роковая честь жить возле него. Угождать! Какое унижительное слово. Повиноваться — не так оскорбительно. Солдат всегда готов отдать свою жизнь, и этим все сказано. Но сколько угодничества, сколько

притворства, сколько сделок с собственной совестью, какое унижение ума связано с судьбою придворного! Ах, де Ту, дорогой мой де Ту, я не создан для двора, чувствую это, хоть и видел двор всего лишь мгновение; в глубине души во мне таится дикарь, и воспитание придало мне только внешний лоск. Издали мне казалось, что я смогу жить в этом мире, среди всемогущих людей, я даже желал этого, ибо мною руководила мысль, очень дорогая моему сердцу; и вот с первого же шага я отступаю; вид кардинала привел меня в трепет; воспоминание о его последнем преступлении, совершенном у меня на глазах, помешало мне говорить с ним; он мне отвратителен, и я никогда не смогу обратиться к нему хоть с единым словом. В благосклонности короля тоже есть что-то устрашающее, словно его благоволение несет мне гибель.

— Я счастлив, что вижу вас в таком настроении; быть может, оно окажется для вас спасительным, — ответил де Ту, ехавший рядом. — Вы встретитесь с людьми, облеченными властью; вы не почувствуете ее на себе, но соприкоснетесь с нею; вы поймете, что она собою представляет, и узнаете, чья рука мечет молнии. Да будет угодно небесам, чтобы молния не поразила и вас! Вам придется, быть может, присутствовать на совещаниях, где решаются судьбы народов; вы увидите, вы сами дадите толчок тем прихотям, плодом которых бывают кровопролитные войны, завоевания и союзы; вы будете держать на ладони каплю воды, которая может переполнить чашу. Именно сверху, друг мой, легче всего понять человеческие дела; только поднявшись на вершину, можно убедиться в ничтожности того, что представляется нам величественным.

— Ах, если бы все сложилось так, как вы предсказываете, я, друг мой, по крайней мере, обогатился бы знаниями, о которых вы говорите; но кардинал, человек, которому я должен быть обязан, человек, которого я уже слишком хорошо знаю по его делам, — кем станет он для меня?

— Другом, покровителем, конечно, — ответил де Ту.

— Лучше тысячу раз смерть, чем сго дружба! Все его существо и даже имя мне ненавистны; он проливает кровь, вооружившись крестом искупителя.

— Какие страшные слова, дорогой мой! Вы себя

погубите, если король узнает о ваших чувствах к кардиналу.

— Пусть. Среди извилистых тропинок я хочу избрать другой путь — прямой. Мои мысли, мысли человека справедливого, откроются перед королем, если он меня спросит, — хотя бы это и стоило мне жизни. Я наконец увидел короля, которого мне рисовали таким слабым; я увидел его, и сердце мое невольно растрогалось; он, конечно, глубоко несчастен, но он не может быть жестоким, он выслушает истину.

— Выслушает, но не решится дать ей восторжествовать, — сказал осторожный де Ту. — Берегитесь душевных порывов, внезапных и опасных порывов, которые так часто обуревают вас. Не нападайте на такого колосса, как Ришелье, не рассчитав своих сил.

— Вы совсем как мой наставник, аббат Кийе, дорогой мой, благоразумный друг! Вы оба не знаете меня; вы не представляете себе, как я устал от самого себя и как высоко мечу. Мне нужно либо возвыситься, либо умереть.

— Как! Уже тщеславие! — воскликнул де Ту с крайним удивлением.

Его друг отпустил поводья, закрыл лицо руками и промолчал.

— Неужели эта себялюбивая страсть, свойственная зрелому возрасту, уже завладела вами в двадцать лет, Анри? Тщеславие — самое жалкое из человеческих заблуждений.

— И все же оно теперь овладело мной безраздельно, ибо я живу только ради него, им полнится мое сердце.

— Ах, Сен-Мар, я вас не узнаю! Прежде вы были совсем другим! Не скрою от вас: как вы низко пали! Помните, во времена наших юношеских прогулок, рассказы о жизни и особенно о смерти Сократа исторгали у нас слезы восторга и зависти; возносясь мечтой к идеалу высочайшей добродетели, мы жаждали для себя тех прославляющих человека невзгод, тех возвышенных страданий, которые придают ему величие; мы придумывали возможные случаи самопожертвования и преданности... Если бы тогда чей-нибудь голос вдруг произнес в нашем присутствии одно только слово «тщеславие», нам показалось бы, что мы коснулись змеи...

Де Ту говорил с жаром, и в словах его слышался упрек. Сен-Мар ехал по-прежнему молча, закрыв лицо

руками; когда он опустил их, глаза его были полны благородных слез; он крепко пожал руку другу и сказал проникновенно:

— Господин де Ту, вы оживили во мне прекраснейшие мечты моей юности; поверьте, я не пал низко, но я во власти тайной надежды, которую не могу открыть даже вам; я не меньше вас ненавижу тщеславие, которое мне, вероятно, припишут; весь мир так будет считать, но что мне мир? Что же касается вас, мой благородный друг, то обещайте мне, что не перестанете меня уважать, как бы я ни поступил. Клянусь всем святым, мои намерения чисты, как небеса.

— И я тем же клянусь, что слепо вам верю, — сказал де Ту, — вы возвращаете меня к жизни.

Они еще раз в сердечном порыве пожали друг другу руки — и только тут заметили, что находятся почти у самой палатки короля.

Приближалась ночь, но можно было подумать, что занимается какой-то другой день с более мягким светом, ибо из-за моря во всем своем великолелии всходила луна; на прозрачном южном небе не было ни единого облачка, и оно казалось голубым покрывалом, усеянным серебряными блестками; еще раскаленный воздух только изредка трепетал от дуновенья средиземноморского ветерка, а на земле замерли все звуки. Уставшие воины спали под сенью палаток, линия которых обозначалась кострами; осажденный город был, по-видимому, тоже скован сном; на крепостной стене остались только часовые и видны были лишь стволы их ружей, поблескивавшие в лунном свете, да факелы ночных дозоров; среди тишины время от времени слышались протяжные глухие возгласы стражников, дававших друг другу знать, что они бодрствуют.

Только в свите короля никто не спал, но люди находились вдалеке от него. Король отослал от себя всех приближенных; он в одиночестве прогуливался возле палатки, порой останавливался, чтобы полюбоваться красотой неба, и был, по-видимому, погружен в печальные раздумья. Никто не решался нарушить его уединение, зато все придворные из королевской свиты собрались возле кардинала; он сидел шагах в двадцати от короля на небольшом возвышении, сложенном солдатами из дерна, и утирал платком свое

бледное чело; устав от дневных забот и от непривычной тяжести доспехов, он несколькими краткими, но неизменно внимательными и вежливыми словами отпуская тех, кто подходил к нему, чтобы пожелать спокойной ночи; теперь при нем находился только Жозеф, беседовавший с Лобардемоном. Кардинал смотрел в сторону короля, ожидая, не пожелает ли монарх сказать ему что-либо перед сном, и в это время до слуха его донесся топот коней Сен-Мара и его спутников; часовые кардинала опросили его и пропустили вместе с де Ту, но без сопровождающих.

— Вы слишком поздно приехали, молодой человек, чтобы беседовать с королем,— сказал кардинал-герцог недовольным голосом,— нельзя заставлять ждать его величество.

Друзья собирались удалиться, как вдруг послышался голос самого Людовика XIII. Король находился тогда в одном из тех ложных положений, которые преследовали его всю жизнь. Он был весьма недоволен своим министром, но вместе с тем сознавал, что именно ему обязан успехом, одержанным в тот день; вдобавок он желал объявить ему о своем намерении уехать из армии и снять осаду Перпиньяна; поэтому в душе его боролись два чувства: желание переговорить с министром и боязнь, что беседа умиротворит его гнев. А министр, со своей стороны, не решался первым заговорить с королем, ибо не знал в точности его намерений и боялся предпринять что-либо некстати, но в то же время не решался удалиться; оба они находились в положении, точь-в-точь напоминающем двух любовников, которым очень хотелось бы объясниться. Поэтому король с радостью воспользовался первым же предложением, чтобы выйти из затруднения. Но на этот раз случай оказался для министра роковым; вот от таких-то случайностей и зависят так называемые великие судьбы.

— Тут, кажется, господин де Сен-Мар,— громко спросил король,— пусть подойдет, я его жду.

Анри д'Эффиа подъехал к палатке короля верхом, а в нескольких шагах от монарха спешил, но едва он ступил ногой на траву, как упал на колени.

— Простите, ваше величество, я, кажется, ранен. Из его сапога хлынула кровь.

Де Ту видел, что он упал, и приблизился, чтобы поддержать его; Ришелье воспользовался случаем и подошел к ним с нарочитой поспешностью.

— Избавьте его величество от этого зрелища! — воскликнул он. — Разве вы не видите, что молодой человек при смерти.

— Вовсе нет, — ответил Людовик, поддерживая юношу, — король Франции не боится видеть умирающих и не страшится крови, когда она пролита за него. Этот молодой человек вызывает у меня сочувствие; пусть его перенесут в мою палатку и вызовут моих врачей; если рана не опасна, он поедет со мной в Париж, ибо осада, господин кардинал, отменена; я вполне удовлетворен тем, что видел. Меня призывают в столицу другие дела; оставляю вас здесь командующим в мое отсутствие; именно это я и хотел сказать вам.

С этими словами король порывисто направился к своей палатке, предшествуемый пажам и офицерами с факелами в руках.

Королевская палатка закрылась, де Ту и солдаты унесли Сен-Мара, а Ришелье, ошеломленный и застывший, все еще смотрел на место, где разыгралась эта сцена; его словно громом поразило, и он, казалось, не видел и не слышал окружающих, которые пристально наблюдали за ним.

Лобардемон, все еще испуганный враждебным приемом, оказанным ему накануне, не решался сказать кардиналу ни слова, а Жозеф едва узнавал своего прежнего хозяина; он даже пожалел, что стал его сподручным, и подумал, не закатывается ли звезда мишистра, но, вспомнив, что к нему, Жозефу, все питают только ненависть и что нет у него другого заступника, кроме Ришелье, он взял его за руку и, сильно встряхнув, сказал шепотом, но резко:

— Что это, монсеньер! Вы как мокрая курица. Пойдемте с нами.

Делая вид, будто он поддерживает кардинала под руку, он на самом деле с помощью Лобардемона силой потащил его в палатку — подобно тому как учитель заставляет школяра лечь спать, чтобы он не простудился от вечернего тумана. Не по годам состарившийся кардинал не спеша подчинился воле своих приспешников, и вскоре пурпурная завеса палатки скрыла его от окружающих.



Глава XII

ВЕЧЕР

O coward conscience, how dost thou afflict me!
— The lights burn blue.— It is now dead
midnight,
Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
— What do I fear? myself?..
— I love myself!¹

*Shakespeare*¹

Едва войдя в палатку, не сняв оружия и лат, кардинал опустился в широкое кресло, поднес к губам платок и замер, глядя в одну точку, предоставив своим зловещим доверенным догадываться, причина ли тому раздумье или упадок сил. Он был смертельно бледен, по лбу его струился холодный пот. Наконец он резким движением утер лицо, отбросил прочь красную скуфейку — единственный остававшийся на нем знак духовного сана, и опустил голову на руки. На него молча взирали с одной стороны капуцин в коричневой рясе, с другой — мрачный чиновник в черном платье, и их можно было принять за священника и нотариуса возле умирающего.

Первым заговорил монах; утробным голосом, скорее подходившим для зауспокойной службы, чем для утешения, он произнес:

— Если вашему высокопреосвященству угодно будет припомнить советы, поданные мною в Нарбонне, то вы признаете, что я так и предчувствовал: в один прекрасный день этот молодой человек причинит вам неприятности.

¹ О совесть робкая, как мучишь ты!
Огни синеют. Мертв полночный час.
В поту холодном трепетное тело.
Боюсь себя? Ведь никого здесь нет...
Бсжать? Но от себя? И от чего?..

Шекспир, «Ричард III». Перевод А. Радловой

Чиновник подхватил:

— Глухой старик аббат, который присутствовал на обеде у маркизы д'Эффия и все отлично слышал, говорил мне, что молодой Сен-Мар выказал больше решительности, чем можно было бы от него ожидать, и попытался освободить маршала де Басомпьера. У меня есть подробный отчет глухого, он превосходно сыграл свою роль; ваше высокопреосвященство должны быть им вполне удовлетворены.

— Я уже докладывал вашему высокопреосвященству, — продолжал отец Жозеф (ибо эти двое свирепых приспешника кардинала говорили по очереди, как Вергилиевы пастухи), — я докладывал, что следовало бы избавиться от этого мальчика и что я берусь за это, если такова будет воля вашего высокопреосвященства; его нетрудно очернить перед королем.

— А еще вернее — предоставить ему умереть от раны, — возразил Лобардемон, — если ваше высокопреосвященство соизволит дать мне соответствующее приказание, то я могу обратиться к лекарскому помощнику, который вылечил меня от раны на лбу, а теперь лечит д'Эффия. Я его хорошо знаю, он человек осторожный, всецело преданный вашему высокопреосвященству, а в настоящее время его дела несколько расстроены вследствие увлечения бреланом*.

— Мне кажется, — вставил Жозеф скромно и вместе с тем не без язвительности, — что если его высокопреосвященству понадобится поручить кому-нибудь это полезное дело, то лучше всего прибегнуть к обычному доверенному, который небезуспешно исполнил уже не одно такое поручение.

— Я тоже могу перечислить несколько довольно значительных и необычных дел, представлявших большие затруднения, — возразил Лобардемон.

— Слов нет, — согласился монах, слегка поклонившись с вежливым и почтительным видом, — самым смелым и ловким вашим делом был суд над колдуном Грандье. Но с божьей помощью можно совершить не менее полезные и трудные подвиги. Нельзя отказать в некоторых заслугах и тому, например, — сказал он, потупившись, как девушка, — кто мощной дланью с корнем вырвал одну из ветвей Бурбонского королевского дерева.

— Выбрать среди солдат такого, который взялся бы убить графа Суассонского, было не так уж трудно, — с неприязнью возразил чиновник, — а вот руководить следствием, судом...

— И самому казнить... — прервал его раздраженный капуцин. — Все это, однако, легче, чем с детских лет воспитать человека в сознании, что ему предстоит втайне совершить великие деяния, вытерпеть, если понадобится, всевозможные пытки во имя неба и все же не выдать имен тех, чью праведную волю он выполнял, или доблестно умереть на трупе того, кого сам же убил, — так поступил мой агент; он даже не вскрикнул, когда Рикмон заколол его шпагой; он кончил дни свои, как святой; и это был мой ученик.

— Одно дело — приказывать, другое — подвергаться опасности.

— А разве я не подвергался опасности при осаде Ларошели?

— Вы могли утонуть в сточной канаве?* — спросил Лобардемон.

— А вы хотите сказать, что вам грозила опасность самому попасть рукой в тиски для пыток? — возразил Жозеф. — Притом из-за того, что настоятельница урсулинок доводится вам племянницей?

— В тиски могли попасть ваши братья-францисканцы, потому что они держали орудия пытки, а меня ранил в лоб не кто иной, как Сен-Мар, возглавивший оголтелую чернь.

— Вы уверены в этом?! — воскликнул Жозеф в восторге. — Неужели он решился до такой степени пренебречь королевским распоряжением?

Он так обрадовался этому открытию, что даже позабыл свой гнев.

— Наглецы! — вдруг вскричал кардинал, отняв от губ платок, запятнанный кровью. — Я изрядно наказал бы вас за эту мерзкую перебранку, но она обнажила передо мной ваши подлые действия. Вы превысили мои распоряжения, я не хотел пыток, Лобардемон; это уже второй ваш промах; вы зря внушаете людям ненависть ко мне; не следовало этого делать. Однако, Жозеф, не пренебрегайте никакими подробностями бунта, в котором участвовал Сен-Мар; впоследствии они могут пригодиться.

— У меня записаны все имена и приметы участников,— угодливо ответил судья тайных дел, склонив до самого кресла свою высокую фигуру и худое, темное лицо, искривившееся в подобострастной усмешке.

— Хорошо, хорошо,— сказал министр, отталкивая его,— об этом пока что речи нет. Вы, Жозеф, будете в Париже раньше, чем там появится этот молодой гордец; я уверен, он станет фаворитом; подружитесь с ним, постарайтесь привлечь его на мою сторону, а не то погубите его; пусть он либо служит мне, либо падет. А главное — присылайте ко мне надежных людей, и притом ежедневно, для устных докладов; в дальнейшем — никаких письменных донесений! Я очень недоволен вами, Жозеф; какого ничтожного курьера прислали вы мне из Кёльна! Он не в силах был понять меня; к королю он явился раньше, чем следовало, и теперь нам приходится снова преодолевать неудовольствие монарха. Вы чуть было окончательно не погубили меня. Теперь увидите, что будет в Париже; там не замедлят составить против меня заговор; но он будет последним. Я остаюсь здесь, чтобы предоставить им свободу действий. Уходите оба и пришлите ко мне камердинера, но не раньше как через два часа; я хочу побыть один.

Пока не стихли шаги его доверенных, Ришелье не спускал глаз со входа в палатку, словно провожая их своим гневным взглядом.

— Ничтожества! — вскричал он, оставшись один. — Ступайте, исполните еще несколько тайных поручений, а там я вас самих уничтожу, грязные орудия моей власти! Скоро король умрет от недуга, который его снедает; тогда я стану регентом, сам сделаюсь королем, и мне уже нечего будет опасаться причуд его безволия; я с корнем уничтожу всю эту надменную знать; я проведу повсюду тростью Тарквиния*, я уравнию всех, я буду один над всеми, Европа затрепещет, я...

Но тут он снова почувствовал во рту привкус крови и поднес к губам платок.

— Ах, что я говорю! Горе мне! Я смертельно болен, я разлагаюсь, истекаю кровью, а ум все еще жаждет деятельности! Зачем? Для кого? Для славы? — так это пустой звук. Для людей? — я их презираю. Для кого же, если года через два-три я умру? Для бога? Какое слово! Я шел не по его стезе, он это видит...

Тут кардинал склонил голову, и взляд его упал на большой золотой крест, который он носил на груди; при виде его кардинал невольно откинулся в глубь кресла; но крест последовал за ним; тогда он взял его в руки и, пристально, жадно смотря на него, прошептал:

— Грозный символ! Ты преследуешь меня! Бог и крестная мука... неужели я встречаюсь с вами и в ином мире? Кто я такой? Что я сделал?

Впервые в жизни его обуял непреодолимый смертный ужас; он дрожал, его бросало то в жар, то в холод; он не решался поднять взора, боясь оказаться перед каким-нибудь жутким видением; он не решался позвать на помощь, страшась звука собственного голоса; нестерпимая мысль о вечности, столь для него грозной, поглотила его; он стал шептать нечто похожее на молитву:

— Боже всемогущий, если меня слышишь, — суди меня, но не выделяй из прочих смертных. Взирай на меня в окружении современников, посмотри на огромный труд, предпринятый мной; чтобы сдвинуть с места эти глыбы, нужен был мощный рычаг, и так ли велика моя вина, если рычаг, падая, раздавил несколько ничтожеств, не приносящих никакой пользы? Среди людей я буду слыть бессердечным, но ты, небесный судия, узришь во мне другое. Да, тебе ведомо, что только безграничная власть делает одно существо виновным перед другим; не Арман де Ришелье губит людей, а первый министр. И не за личные обиды, а потому, что того требует его замысел. А что такое замысел?.. Дозволено ли так играть людьми и пользоваться ими для достижения определенной цели, да еще ошибочной, быть может? Я повергаю в прах всех придворных. А вдруг, сам того не ведая, я подрываю устои трона и готовлю его падение? Да, присвоенная мной власть совратила меня. О, безысходный тупик! О, ничтожество человеческой мысли!.. Простодушная вера, зачем сошел я с указанной тобою стези?! Зачем не стал скромным пастырем? Если бы я решился порвать с людьми и посвятить себя богу, во сне ко мне, как к Иакову, спустилась бы с небес лестница*.

В это время до слуха кардинала донесся сильный шум: солдатский хохот, грубые насмешки, ругань и одновременно слышался чей-то слабый, чистый го-

лос; это походило на ангельское пение, прерываемое смехом адских сил. Кардинал встал и отворил своего рода окно, устроенное в его квадратной холщовой палатке. Взору его предстало странное зрелище; он некоторое время наблюдал его, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили солдаты.

— Слушай, Лавалер, слушай,— говорил один из них, обращаясь к товарищу,— она опять заговорила и начинает петь; поставь ее в серединку, между нами и костром.

— Ты ничего не смыслишь; Гран-Фере говорит, что знает ее,— кипятился другой.

— Да, я сказал, что знаю ее, и готов поклясться святым Петром Луденским, что видел ее у себя на родине, когда приезжал на побывку, и было это в дни жаркого дела, о котором теперь лучше помалкивать, особенно когда говоришь с кардиналистом вроде тебя.

— А почему лучше помалкивать, дурень ты этакий? — возразил пожилой солдат, покручивая ус.

— Оттого, что язык можно обжечь, понял?

— Нет, не понял.

— Ну, и я не понимаю; а горожане говорят, что лучше помалкивать.

В ответ ему последовал взрыв хохота.

— Ну и простофиля же! Слушает, что говорят горожане!

— Раз ты слушаешь их болтовню, значит, тебе делать нечего,— подхватил другой.

— Видно, ты не знаешь, молокосос, что говаривала моя мать,— важно продолжал солдат постарше, многозначительно и сердито опустив взор, чтобы привлечь к себе внимание.

— Откуда же мне знать, Носогрейка? Твоя мать, вероятно, умерла от старости еще прежде, чем родился мой дед.

— Ну так слушай, молокосос, я тебе скажу. Во-первых, знай, что моя мать была почтенная цыганка и сопровождала полк карабинеров де Ларока, как сопровождает меня мой пес *Пушка*, которого ты тут видишь; она носила при себе водку в склянке, подвешенной на шее, и пила ее не хуже, чем любой из нас; у нее было четырнадцать мужей, все военные, и умерли они все до одного на поле сражения.

— Вот это женщина! — прервали его солдаты, преисполненные благоговения.

— И никогда в жизни она и словом не перекинулась со штатскими, разве что когда приказывала, сняв квартиру: «Зажги для меня свечку да разогрей хлебку».

— И что же она тебе говорила? — напомнил Гран-Фере.

— Не торопись, молокосос, а то и вовсе не узнаешь; она частенько повторяла: *«Солдат лучше пса, но пес лучше штатского»*.

— Молодчина! Молодчина! Здорово сказано! — закричали солдаты в полном восторге от столь прекрасного изречения.

— И все же, — возразил Гран-Фере. — Штатские правы, говоря, что от таких разговоров язык жжет; вдобавок говорили это не совсем штатские, потому что они были при шпагах и возмущались, что сжигают священника, и я тоже был возмущен.

— А тебе-то что, простофиля, что сожгли священника? — сказал старый сержант, опершись на сошку своей пицали. — Он не первый; ты мог бы вместо него упомянуть кого-нибудь из наших командиров, которых теперь превратили в таких же мучеников; я роялист и высказываюсь смело.

— Тише! — воскликнул Носогрейка. — Послушаем, что скажет эта девка. Роялисты, сукины дети, никогда не дадут позабавиться.

— Что ты вздор мелешь-то, — возразил Гран-Фере, — ты, поди, даже не знаешь, за что стоят роялисты.

— Знаю, отлично знаю всех вас, не беспокойся, — вы стоите за старых, так называемых Князей мира*, вы заодно с кроканами* против кардинала и соляной пошрины. Вот тебе! Прав я или нет?

— Нет, не прав, старый красночулочник! Роялист — это тот, кто за короля; вот что такое роялист. Отец мой состоял при королевских соколах, и поэтому я за короля, — вот и все. А красночулочки мне не по душе, тут и понимать нечего.

— Ах, ты обозвал меня красночулочником? — возразил старый солдат. — Завтра ты мне за это ответишь. Если бы тебе довелось воевать в Вальтелине, ты так бы не говорил, а если бы видел, как его высокопреосвященство со стариком маркизом де Спинола прогулива-

лись по молу Ларошели, в то время как в них палили из пушек, так ты бы помалкивал насчет красночулочников, понял?

— Бросьте вы перебранку, займемся чем-нибудь повселее, — закричали им со всех сторон.

Солдаты, шумевшие возле палатки кардинала, стояли вокруг большого костра, который освещал их сильнее луны, хотя она и была очень яркой, а в этой толпе находилась и та, из-за которой они здесь собрались и кричали. Кардинал различил молодую женщину в черном, на голове у нее было белое покрывало; она была босая; ее изящный стан был обвязан грубой бечевкой, длинные четки ниспадали от шеи почти до ног; хрупкими, белыми, как слонобая кость, пальцами она перебирала зерна четок. Солдаты раскладывали по земле угольки, чтобы она обожглась, ступив на них босыми ногами. Эта дикая забава сопровождалась громким хохотом. Пожилой солдат подошел к несчастной с дымящимся фитилем пищали и, приблизив его к подолу ее юбки, хриплым голосом сказал:

— Ну, дурочка, расскажи-ка мне еще разок свою историю, а не то я начиню тебя порохом и ты взлетишь, как снаряд; берегись, я уже не раз это проделывал в прежних войнах с гугенотами. Давай пой!

Молодая женщина серьезно взглянула на окружающих, ничего не ответила и опустила покрывало.

— Не так берешься за дело, — сказал Гран-Фере, залившись озорным смехом, — не знаешь галантного языка; дай-ка я с ней поговорю. — И он взял ее за подбородок. — Сердечко мое, — сказал он, — сделай милость, ненаглядная, повтори еще разок тот славный рассказик, что ты рассказывала этим господам; приглашаю тебя прокатиться по реке Нежности, как говорят парижские знатные дамы, и выпить со мной шкалик водки, я ведь твой верный обожатель, я встретил тебя намерении в Лудене, когда ты разыгрывала комедию, чтобы сожгли бедного малого...

Женщина скрестила руки и, властно посмотрев вокруг, крикнула:

— Прочь отсюда, именем владыки воинства; прочь отсюда, нечестивцы! Между нами нет ничего общего. Я не понимаю, что вы говорите, а вам не понять меня. Идите продавайте поденно за гроши свдю кровь зем-

ным князьям и предоставьте мне выполнять, что мне велено. Проводите меня к кардиналу!

Грубый хохот прервал ее речь.

— Воображаешь, что его высокопреосвященство генералиссимус примет тебя, босую?— сказал один из карабинеров Моревера.— Сначала вымой ноги.

— Господь сказал: Иерусалим, омой свои одежды и ступай через реки,— ответила она, не разнимая рук.— Проводите меня к кардиналу.

Ришелье громко крикнул:

— Приведите ко мне эту женщину и не приставайте к ней.

Все смолкло; женщину проводили к министру.

— Зачем вы меня привели к военному?— сказала она, увидев кардинала.

Ей не ответили и оставили наедине с министром.

Кардинал подозрительно рассматривал ее.

— Что вы делаете в такое время в лагере, сударыня? И, если вы в здравом рассудке, почему вы босиком?

— Я дала обет. Это обет,— отвечала монахиня с раздражением и порывисто села возле него в кресло.— Я дала также обет ничего не есть до тех пор, пока не найду того, кого ищу.

— Сестра моя,— сказал удивленный кардинал, смягчившись и подойдя к ней, чтобы лучше ее разглядеть,— бог не требует от слабого существа столь суровых лишений и особенно в вашем возрасте, ибо вы, вероятно, еще совсем молоденькая.

— Молоденькая? Да, за несколько дней до этого я была очень молода, но с тех пор я прожила, по крайней мере, две жизни — так много я размышляла и так много выстрадала. Взгляните на меня.

Она откинула покрывало, и перед кардиналом явилось ее прекрасное лицо; его одухотворяли черные, безупречного разреза глаза; но не будь этих глаз, его можно было бы принять за лицо призрака — столь оно было бледно; губы ее посинели и подергивались, ее так знобило, что стучали зубы.

— Вы больны, сестра моя,— сказал растроганный министр; он взял девушку за руку и почувствовал, что она вся пылает. По привычке следить за собственным здоровьем и справляться о здоровье других, он нащу-

пал пульс на ее исхудавшей руке; бурно бившийся пульс свидетельствовал о страшной лихорадке.

— Вы подорвали свое здоровье лишениями, превосходящими человеческие силы,— продолжал он с бóльшим сочувствием,— я всегда это осуждал, особенно в столь нежном возрасте. Кто же толкнул вас на такое самобичеванье? Может быть, вы пришли сюда, чтобы поведать мне об этом? Говорите спокойно и будьте уверены, что вам помогут.

— Довериться людям?— возразила девушка.— Нет, нет, ни за что! Все они меня обманули; я не доверюсь никому, даже господину де Сен-Мару, хоть ему и суждено вскоре умереть.

— Вот как?— молвил Ришелье, нахмурившись, и горько усмехнулся.— Вот как? Вы знакомы с этим юношей? Не он ли причина ваших бед?

— Нет, нет, он очень добрый и ненавидит дурных людей, это-то его и погубит. Впрочем,— сказала она, внезапно приняв жестокий, свирепый вид,— мужчины — существа слабые, и некоторые дела должны взять на себя женщины. Когда среди израильтян не нашлось доблестного мужчины, появилась Девова*.

— Откуда вы знаете такие вещи?— продолжал кардинал, не выпуская ее руки.

— Вот этого я не могу вам сказать,— с трогательным простодушием отвечала молодая монахиня, и голос ее зазвучал особенно ласково,— вы не поймете; всему меня научил и погубил злой дух.

— Кому же и губить нас, как не ему, бедняжка; он подает нам дурные советы,— сказал Ришелье отечески покровительственно, все больше проникаясь к ней жалостью.— В чем же заключались ваши прегрешения? Признайтесь мне, у меня большая власть.

— Нет,— ответила она недоверчиво,— у вас большая власть над воинами, над людьми храбрыми и великодушными; под доспехами у вас, должно быть, бьется благородное сердце; вы старый полководец и поэтому не знаете хитростей, к каким прибегает преступник.

Ришелье улыбнулся; ее заблуждение льстило ему.

— Я слышал, что вы хотели видеть кардинала; чего же, в конце концов, вы ждете от него? Зачем вы пришли?

Монахиня задумалась и приложила руку ко лбу.

— Не помню,— сказала она,— вы слишком долго говорите со мной. Я забыла, а мысль у меня была очень, очень важная... Ради нее я и обрекла себя на голод, который подтачивает мои силы; я должна поскорее вспомнить, иначе я умру, не успев ничего сделать. Да, вот!— сказала она, вынимая что-то из-за пазухи.— Вот моя мысль...— Она вдруг покраснела, и глаза ее неестественно расширились; она продолжала, склонившись к самому уху кардинала:— Я ее вам доверю, слушайте: Урбен Грандье, мой возлюбленный Урбен, сказал мне нынешней ночью, что его погубил не кто иной, как Ришелье; я украла в харчевне нож и пришла сюда, чтобы убить его; скажите, где он.

Кардинал в недоумении и ужасе отпрянул. Он не решался позвать стражу, опасаясь крика и обвинений этой женщины; однако неистовство безумной могло оказаться для него роковым.

— Неужели эта страшная история будет всюду преследовать меня?— вскричал он, пристально смотря на несчастную и обдумывая, как ему поступить.

Они молча замерли друг перед другом, как два борца, которые присматриваются один к другому, прежде чем приступить к схватке, или как легавая и ее жертва, заворожившие взаимными взглядами.

Между тем Лобардемон и Жозеф, вместе ушедшие от кардинала, прежде чем расстаться, некоторое время поговорили возле кардинальской палатки, ибо каждый из них собирался обмануть другого; от последней ссоры их взаимная ненависть еще сильнее разгорелась, и каждый решил погубить другого в глазах хозяина. Когда они, словно в едином порыве, взяли друг друга под руку, оба уже подготовились к разговору; первым заговорил судья:

— Как вы огорчили меня, достопочтенный отец, тем, что обиделись на невинные шутки, которые я позволил себе только что.

— Что вы, любезный друг, я и не думал обижаться. Надо быть милосердными, милосердие прежде всего! Просто у меня в словах иной раз прорывается святое негодование, когда речь идет о благе государства и преуспевании его высокопреосвященства, которому я предан безгранично.

— Кому же лучше, чем мне, знать об этом, достопочтенный отец, да и вам отлично известно, сколь

я предан высокопреосвященнейшему кардиналу-герцогу, которому я всем обязан. Увы, видно, я чересчур поусердствовал, чтобы угодить ему, раз он упрекает меня за это.

— Не тревожьтесь, он не гневается на вас, — сказал Жозеф, — я его хорошо знаю, он понимает, что всякому хочется кое-что сделать для семьи; ведь и сам он превосходно относится к своей родне.

— Вот именно, — подхватил Лобардемон, — и это как раз касается меня; если бы Урбен восторжествовал, моя племянница погибла бы вместе со всем монастырем; вы это сознаете не хуже меня; тем более что она нас не послушалась и, когда ей пришлось говорить, повела себя как девочка.

— Да что вы? При всех, в суде? Душевно сочувствую вам! Как это, вероятно, было вам тяжело!

— Тяжелее, чем думаете! Она позабыла все, что ей внушали во время беснования, допустила в латыни множество ошибок, которые мы по возможности тут же исправляли; а в день судебного разбирательства из-за нее произошла пренеприятнейшая сцена, пренеприятнейшая и для меня и для судей: она стала кричать и упала в обморок. Я ее изрядно проучил бы, будьте уверены, если бы не был вынужден внезапно выехать из города. Но все же, поймите, она мне дорога — ближе нее у меня родных нет, ибо сын мой сбился с пути, и вот уже четыре года, как о нем ни слуху ни духу. Бедняжка Жанна де Бельфиель! Я отдал ее в монастырь, а потом хлопотал, чтобы ее назначили настоятельницами только для того, чтобы все мое состояние досталось этому шалопаю. Если бы я предвидел, по какой дорожке он пойдет, я ни за что не отдал бы ее в монастырь.

— Говорят, она на редкость хороша собой, — продолжал Жозеф, — это дар, неоценимый для всей семьи; ее можно было бы представить ко двору, и, может быть, король... гм, гм... мадемуазель де Лафайет... кхе, кхе... мадемуазель д'Отфор... сами понимаете... Да и сейчас не поздно об этом подумать.

— Как это похоже на вас, монсеньер... Я называю вас так, ибо знаю, что вы представлены как кандидат в кардиналы; сколь вы добры, что не забываете вашего преданнейшего друга!

Лобардемон продолжал говорить в этом духе, когда они оказались в том месте лагеря, откуда шла дорога к палаткам добровольцев.

— Да хранят вас в мое отсутствие господь и пресвятая дева, — сказал Жозеф, остановившись, — завтра я отправляюсь в Париж, а так как мне придется не раз иметь дело с юнцом Сен-Маром — сейчас наведаюсь к нему и спрошу, как его рана.

— Если бы вы меня послушались, то были бы избавлены от этой заботы, — сказал Лобардемон.

— Увы, спорить не приходится, — ответил Жозеф, глубоко вздохнув и подняв взор к небесам, — но кардинал уже не тот, что прежде; он не ценит благих идей и, если так будет продолжаться — погубит нас.

С этими словами капуцин низко поклонился судье и направился к биваку добровольцев.

Лобардемон некоторое время смотрел ему вслед, а когда убедился, что Жозеф идет именно туда, — пошел, или, вернее, побежал обратно, к палатке министра.

«Кардинал удаляет его, — соображал судья, — значит, он ему опротивел; а я знаю тайны, которые могут и вовсе погубить его. Скажу вдобавок, что он хочет подольститься к будущему фавориту; теперь уж не монах, а я стану любимцем министра. Время самое подходящее — сейчас полночь, и кардинал еще час-полтора пробудет один. Надо спешить!»

Он подошел к палатке стражей, расположенной возле кардинальского шатра.

— Его высокопреосвященство с кем-то беседуют, — нерешительно сказал начальник охраны, — к нему нельзя.

— Пустяки! Вы же видели — я только что вышел оттуда; я должен сообщить его высокопреосвященству важные известия.

— Входите, Лобардемон, — крикнул министр, — входите поскорее, и один!

Судья вошел. Кардинал по-прежнему сидел в кресле; одной рукой он держал руки монахини, а другой сделал судье знак, чтобы тот молчал. Ошеломленный приспешник, еще не разглядев женщину, замер на месте; она же говорила, торопясь высказаться, и смысл тех странных фраз, которые вырвались у нее,

отнюдь не соответствовал ее пажному голосу. Ришелье был заметно взволнован.

— Да, я его поражу этим ножом; нож дал мне в харчевне бес Бегерит, но это кол, от которого погиб Сисара*. Посмотрите, у ножа черенок из слоновой кости; я пролила над ним много слез. Чудно это, добрый генерал! Я воткну его в горло того, кто убил моего друга, как он сам мне наказывал, а потом сожгу тело. Око за око! Так наказывать сам бог разрешил Адаму... Вы, добрый генерал, кажется, удивляетесь... но вы еще больше удивитесь, если я спою вам его песенку... ту, что он пел мне еще вчера вечером... он явился в тот же самый час, когда запылал костер... вы знаете. В тот час, когда лил дождь, а руки у меня стали горячими, как сейчас, он мне сказал: «Как я провел этих судей в красном... у меня под началом одиннадцать бесов, и я пришел к тебе в самый перезвон колоколов... под алый бархатный балдахин, с факелами, со смоляными факелами, которые светят нам. Ах, что за великолепие!» Вот так он мне поет.

И она затынула на напев *De profundis*:¹

Я буду князем адской бездны,
Мой скипетр — молоток железный,
Горящая сосна — мой трон,
Я в серный пламень облачен.
И в брак мы вступим невозбранно:
Приди и дай мне руку, Жанна.

Не чудно ли, добрый генерал? И я каждый вечер отвечаю ему. Вот послушайте, слушайте внимательно...

До ночи судьи говорили,
И вот меня везут к могиле.
Но все же я твоя жена.
Приди же... Ночь так холодна!
Но ты, ты будешь спать со мною,
Я саваном тебя укрою.

Потом он начинает говорить и говорит, как пророки и духи: «Горе, горе тому, кто пролил кровь! Разве земные судьи — боги? Нет, они люди, они стареют и страдают, а все-таки они решаются повелевать: «Казните этого человека!» Смертная казнь! Смертная казнь! Что дало человеку право казнить другого человека? То, что судей двое? А если б он был один, — значит, это было

¹ Из глубины [взываю] — заупокойная молитва (лат.).

бы просто убийство? А ты считай хорошенько: раз, два, три... И вот трое превращаются в мудрецов и праведников! Напыщенные негодяи, наемники! Какое злодеяние! Небеса содрогаются! Если бы ты видела их, Жанна, как вижу я, сверху, ты бы еще не так побледнела! Плоть истребляет плоть! Она живет кровью и сама же проливает кровь! Равнодушно, без злобы! Так же, как ее создал бог!»

Несчастливая так кричала, скороговоркой произнося эти слова, что Ришелье и Лобардемон от ужаса долго не решались шевельнуться. Тем временем бред ее все усиливался.

— А судьи и не содрогнулись, — сказал мне Урбен Грандье. — Разве они содрогаются, разве боятся ошибиться? Решается вопрос о смерти невинного. А пытка? Чтобы вырвать у него признания, ему веревками стягивают руки и ноги; кожа лопается, свисает лохмотьями, обнажаются жилы, багровые, лоснящиеся; кости вопиют, из них брызжет мозг... Но судьи дремлют. Им грезится весна и благоухающие цветы. «Как жарко в камере, — говорит один из них, очнувшись. — А обвиняемый так и не пожелал сознаться! Неужели пытка уже кончилась?» И, смилостившись наконец, он дарует обвиняемому смерть. Смерть! Единственное, чего боятся живущие! Смерть! Неведомое! И он ввергает в это неведомое бунтующую душу, которая будет его там ждать. О, неужели недостойному судье никогда не мерещилось отмщение? Как же он мог уснуть?

Кардинал, и без того обессиленный ознобом, усталостью и невзгодами, вскричал в порыве жалости и отвращения:

— Прекратим, ради бога, эту ужасную сцену! Уведите ее, она безумна!

Несчастливая обернулась и, узнав Лобардемона, закричала:

— Это судья! Судья!

А Лобардемон, подобострастно сложив руки, в ужасе говорил:

— Простите, ваше высокопреосвященство, племянница лишилась рассудка; я не знал этого, а то она давно уже сидела бы за решеткой. Жанна, Жанна, скорее на колени! Проси прощения у кардинала-герцога...

— Так это Ришелье?— вскричала она. Несчастливая девушка от изумления совсем окаменела; румянец на ее лице сменился смертельной бледностью, вопли — немотой, безумный взгляд, только что метавший молнии, впился в министра и стал жутко неподвижным.

— Уведите поскорее эту больную девушку,— сказал он вне себя,— она при смерти, и я тоже; после казни священника меня преследуют такие ужасы, что, видимо, весь ад обрушился на меня!

С этими словами он встал. Жанна де Бельфиель замерла, растерянная и окаменевшая, с безумным взглядом, приоткрытым ртом и поникшей головой: эти две неожиданные встречи, по-видимому, исчерпали последние остатки ее разума и сил. Когда кардинал встал, она содрогнулась, заметив, что находится между ним и Лобардемоном, перевела взгляд с одного на другого, выронила из рук нож и медленно направилась к выходу, опустив покрывало; она оборачивалась, с ужасом взирая безумным взглядом на дядю, шедшего вслед за нею, и была похожа на загнанную овечку, которая уже чувствует над собою горячее дыхание волка, готового вот-вот схватить ее.

Они вместе вышли и едва только оказались на воздухе, как взбешенный судья схватил руки своей жертвы, связал их платком и без труда потащил ее за собою, ибо она не издала ни единого звука, ни единого вздоха, а покорно пошла за ним, склонив голову на грудь и как бы погружившись в глубокое забытие.



Глава XIII

ИСПАНЕЦ

Тот настоящий друг, кто с вами деликатен!
Он в вашем сердце все читает без труда,
Вас избавляя от стыда
Пред ним выкладывать все то, что вы скрывали.

Лафонтен

Тем временем совсем иные события происходили в палатке Сен-Мара; за словами короля, — первым бальзамом, пролившимся на его рану, — последовали тщательные заботы придворных лекарей; рана была причинена пулей на излете, которую без труда удалили; раненому было разрешено отправиться в дорогу, все приготовления к отъезду были завершены. До полуночи больного навещали дружески настроенные, сочувствующие ему товарищи; одними из первых пришли маленький Гонди и де Фонтрай, которые также собирались в Париж; затем явился бывший паж кардинала Оливье д'Антрег, — ему хотелось поздравить счастливого добровольца, удостоившегося внимания короля; обычно монарх бывал с окружающими очень сдержан, поэтому, когда разнесся слух о нескольких похвальных словах, сказанных им Сен-Мару, все приняли это за непреложный знак высокого благоволения и стали приходить к молодому человеку, чтобы поздравить его.

Но вот он наконец остался один, на своей походной койке; господин де Ту сидел возле него и держал его руку, а Граншан, примостившись в ногах, ворчал, говоря, что посетители утомили раненого, которому еще предстоит далекий путь. А сам Сен-Мар мог наконец вкусить сладость покоя и предаться мечтам, которые равно освежают и душу и тело; свободной рукой он тайком сжимал золотой крестик, лежавший у него на груди, — в грезах об обожаемой ручке, которая подарила ему этот крестик и которую он надеялся вскоре пожать. Он только взглядом и улыбкой отвечал на со-

веты молодого чиновника, а сам мечтал о цели своего путешествия, которая являлась в то же время и целью его жизни. Серьезный де Ту ласковым голосом говорил:

— Вскоре и я последую за вами в Париж. Я даже больше, чем вы сами, радуюсь тому, что король берет вас с собою; это начало дружбы, которую надо всячески оберегать, вы правы. Я много размышлял о тайных причинах ваших честолюбивых замыслов и, думается мне, разгадал ваше сердце. Да, любовь к отчизне, которой наполнилось ваше сердце в годы отрочества, теперь, вероятно, стала еще сильнее; вы хотите приблизиться к королю, чтобы служить Франции, чтобы осуществить золотые мечты нашего детства. Что и говорить, мысль превосходная и достойная вас! Я восторгаюсь вами, я преклоняюсь. Плените монарха рыцарской преданностью, которая была свойственна нашим отцам, сердцем, преисполненным искренности и готовности на любые жертвы. Внимать признаниям его души, раскрывать перед ним затаенные мысли подданных, смягчать горести короля, говоря ему о доверии, которое питает к нему народ, врачевать раны народа, обнажая их перед его властелином, и, пользуясь положением избранника, восстановить между отцом и детьми отношения, согретые взаимной любовью, которые в течение восемнадцати лет нарушаются человеком с каменным сердцем; подставить себя ради этой благородной цели под грозные удары, которые этот человек из мести будет наносить вам; наконец, пренебрегать вероломной клеветой, ибо она будет преследовать фаворита вплоть до самого подножия престола — такова мечта, вполне достойная вас. Упорствуйте, друг мой, никогда не падайте духом; громко напоминайте королю о заслугах и несчастиях его самых прославленных друзей, которых всячески угнетают; безбоязненно скажите ему, что старинная знать никогда ничего не злоумышляла против него, что, начиная с юного Монморанси и кончая милейшим графом Суассонским, все боролись лишь с министром, а отнюдь не с монархом; напомните ему, что древние французские роды возникли одновременно с его родом, что удары, которые обрушиваются на них, отзываются на всей нации и что если он изведет их, то от этого пострадает и его род, ибо тогда он останется в одиночестве и будет подвержен всем опасностям, которые могут быть порождены временем и событиями,

подобно тому как вековой дуб колеблется и шатается от порывов ветра, когда уничтожат лес, который окружал и защищал его. Да, — воскликнул де Ту, воодушевляясь, — это благороднейшая, прекрасная цель; идите неуклонно по этому пути, гоните ложный стыд, гоните щепетильность, которая терзает благородного человека, прежде чем он решится льстить, или, как говорится на придворном языке, *угождать*. Увы, монархи привыкли к постоянным изъявлениям напускного восторга перед их особами; считайте же лесть новым для вас языком, который необходимо усвоить, языком доселе вам чуждым, но, поверьте, и на этом языке можно говорить благородно, ему тоже дано выражать возвышенные, безупречные мысли.

Слушая пылкую речь друга, Сен-Мар поневоле залился румянцем и отвернулся к стенке, чтобы скрыть свое лицо. Де Ту умолк.

— Что с вами, Анри? Вы не отвечаете; неужели я ошибаюсь?

Сен-Мар глубоко вздохнул и продолжал молчать.

— Разве не эти идеи волнуют ваше сердце? Мне казалось, что я должен о них напомнить, чтобы воодушевить вас.

Раненый взглянул на друга и, преодолев смущение, ответил:

— Я думал, дорогой де Ту, что вы больше уже не станете меня расспрашивать и решили слепо доверять мне. Что за злой дух внушает вам желание так глубоко проникнуть в мою душу? Я отнюдь не чужд идей, которые владеют вами. Кто вам сказал, что они не живут в моей душе? Кто вам говорит, что у меня нет твердого намерения осуществить их на деле даже в большей степени, чем вы излагаете их на словах. Любовь к отчизне, справедливая ненависть к честолюбцу, который угнетает ее и при помощи палача уничтожает древние устои, твердая уверенность в том, что добродетель может быть столь же искусной, как и зло, — вот моя вера, так же, как и ваша. Но когда в храме вы видите коленапреклоненного человека, разве вы спрашиваете у него, какой угодник или ангел хранит его и внимлет его мольбе? Не все ли вам равно, лишь бы он молился у тех же алтарей, которым и сами вы поклоняетесь, лишь бы он готов был, если понадобится, принести себя в жертву ради них. Когда наши предки бо-

сиком, с посохом в руке, отправлялись ко гробу господню, разве у них спрашивали, в силу какого обета они собрались в далекий путь? Они бились, они умирали, и люди, а быть может, и сам господь не требовали от них большего; благочестивый предводитель не раздевал их, чтобы проверить, не скрыт ли под их красным крестом и власяницей какой-нибудь другой мистический знак, и на небесах их, конечно, не судили строже только потому, что свою земную решимость они подкрепляли той или иной дозволенной христианину надеждой, той или иной побочной и затаенной мыслью, более человеческой и более близкой сердцу смертного.

Де Ту улыбнулся и слегка покраснел, потупившись.

— Друг мой, — возразил он проникновенно, — волнение может повредить вам; оставим этот разговор; не будем ссылаться на бога и небеса, ибо делать этого вообще не следует, и лучше укройтесь, а то почь сегодня холодная. Обещаю вам, — добавил он, с материнской заботливостью укрывая больного, — обещаю больше не гневить вас своими советами.

— Нет, — воскликнул Сен-Мар, невзирая на то что ему было предписано помешше говорить, — клянусь вам на этом кресте, клянусь пресвятой девой Марией, что скорее умру, чем отступлюсь от плана, который вы сами же наметили сейчас; настанет день, когда вам, быть может, придется просить меня не следовать далее по этому пути. Но будет уже поздно.

— Хорошо, хорошо, усните, — повторил советник, — а если вы все-таки последуете далее, то и я пойду с вами, куда бы это меня ни привело.

Тут он вынул из кармана часослов и стал внимательно читать его; немного погодя он взглянул на Сен-Мара — тот еще не спал; де Ту знаком велел Граншану переставить лампу на другое место, чтобы свет не мешал больному, но и это не помогло; Сен-Мар с открытыми глазами метался на койке.

— Что же вы никак не успокоитесь, — сказал де Ту, улыбувшись, — хотите, я почитаю вам что-нибудь из жития святых, и это вернет вам душевный мир. Ах, друг мой, только здесь, только в этой книге, несущей нам утешение, и можно обрести покой, ибо откройте ее на любой странице, и перед вами неизменно предстанет, с одной стороны, человек в том состоянии, которое только и подобает ему, слабому существу: в молитве

и в неведении грядущей судьбы; с другой же стороны — предстанет сам господь, беседующий с ним о его немощах. Что за дивное, небесное зрелище! Что за возвышенная связь между небом и землей! Тут и жизнь, и смерть, и вечность; разверните же книгу наугад.

— Охотно, — ответил Сен-Мар, снова приподнимаясь с какой-то детской живостью, — охотно послушаю, дайте мне открыть книгу. Помните старинное поверье, существующее в нашем родном краю: если развернешь молитвенник шпагой, то на первой странице слева прочтешь свою судьбу, а первый, кто войдет в комнату после чтения, окажет на твою будущность большое влияние.

— Какое ребячество! Ну что ж, давайте. Вот ваша шпага, возьмите... посмотрим...

— Дайте мне самому прочесть, — сказал Сен-Мар, взяв книгу.

Старик Граншан с сосредоточенным видом склонил над койкой загорелую седовласую голову и приготовился слушать. Сен-Мар стал читать; на первой же фразе он загнулся, однако с несколько натянутой улыбкой дочитал страницу до конца:

I. И привели их на суд в Медиолан.

II. И сказал им верховный жрец: станьте на колени и поклонитесь идолам.

III. А народ молчал и взирал на их лица, которые были, как лики ангелов.

IV. Тогда Гервасий взял Протасия за руку и воскликнул, воззрившись на небо и преисполнившись Духа Святого:

V. Брат мой, вижу Сына Человеческого, он улыбается нам; позволь мне умереть первому.

VI. Ибо боюсь, что, увидев кровь твою, не сдержу слез, а они не достойны Господа нашего Бога.

VII. И Протасий отвечал ему:

VIII. Брат мой, справедливо, чтобы я пострадал после тебя, ибо я старше годами и у меня больше сил, чтобы быть свидетелем твоих мук.

IX. Но сенаторы и народ взирали на них, скрежеща зубами от ненависти.

X. И воины взмахнули мечами, и головы мучеников скатились одновременно на один и тот же камень.

XI. И блаженный святой Амвросий нашел на том месте их прах и силою его сделал слепого зрячим.

— Так как же? Что вы на это скажете? — промолвил Сен-Мар, кончив чтение и обратив взор на друга.

— Да исполнится воля господня; однако не будем ее предугадывать.

— Но не будем и отступаться от своих намерений из-за ребяческой игры, — возразил д'Эффия нетерпеливо и закрылся накинутым на него плащом. — Вспомните стихи, которые мы с вами декламировали когда-то:

Justum et tenacem propositi virum...¹

Эти мудрые слова врезались мне в память. Да, пусть вокруг меня распадется вселенная — ее обломки увлекут меня за собою все столь же непреклонным.

— Не будем смешивать человеческие помыслы с небесными и покоримся воле господней, — твердо сказал де Ту.

— *Аминь*, — молвил старик Граншан; глаза его были полны слез, и он усердно вытирал их.

— А ты куда суешься, старый служака? Плачешь! — сказал ему хозяин.

— *Аминь*, — прогнусавил кто-то у входа в палатку.

— Право же, сударь, вы лучше спросите это у Серого Преосвященства, который пожаловал к вам, — ответил преданный слуга, указывая на Жозефа.

Тот вошел, сложив на груди руки и смиренно кланяясь.

— А, так вот кому суждено... — прошептал Сен-Мар.

— Я, может быть, некстати? — вкрадчиво спросил Жозеф.

— Может быть, очень даже кстати, — ответил Анри д'Эффия, взглянув на де Ту. — Что вас привело сюда, отец, в столь поздний час? Какое-нибудь богоугодное дело?

Жозеф почувствовал в этих словах неприязненность; в душе его всегда таилось про запас несколько дурных мыслей в отношении людей, к которым он подходил, а в уме — столько же уловок, чтобы выпутаться из затруднительного положения; в данном случае он понял, что цель его прихода разгадана и сейчас не время втираться в доверие. Поэтому он сел возле койки и довольно холодно проговорил:

— Я пришел, сударь, чтобы по поручению карди-

¹ Обещала справедливого и стойкого мужа... (лат.)

пала-генералиссимуса переговорить с вами насчет двух испанцев, которых вы взяли в плен; его высокопреосвященство желают как можно скорее получить о них сведения; я должен повидаться с ними и допросить. Но я не рассчитывал, что застану вас еще бодрствующим, а только хотел, чтобы ваши слуги провели меня к ним.

После обмена натянутыми приветствиями было приказано ввести пленных, о которых Сен-Мар почти что позабыл. Они вошли; один был с непокрытой головой, черты лица его казались подвижными и немного дикими: это был солдат; другой кутался в коричневый плащ, а мрачное непроницаемое лицо его было затенено широкополой шляпой, которую он не снял: это был офицер; он заговорил первым, не дожидаясь вопросов:

— Зачем вы подняли меня с соломы и помешали спать! Чтобы освободить или повесить?

— Ни для того, ни для другого, — ответил Жозеф.

— А тебе что от меня надо, бородач? В крепости я тебя не заметил.

После этого любезного вступления потребовалось некоторое время, чтобы растолковать иностранцу, по какому праву капуцин может подвергнуть его допросу.

— Ну хорошо, — сказал наконец испанец, — что же тебе от меня надобно?

— Я хочу узнать ваше имя и откуда вы родом.

— Имени своего я никому не называю, а что касается того, откуда я родом, то с виду я испанец, а может быть, я и не испанец, ибо испанец никогда не бывает испанцем.

Отец Жозеф обернулся к Сен-Мару и де Ту:

— Если не ошибаюсь, я где-то уже слышал этот голос. Он говорит по-французски совсем чисто; но сдается мне, он намерен говорить с нами загадками, как на Востоке.

— На Востоке? Вот именно, — подхватил пленник. — Испанец — восточный человек, это турецкий католик; кровь в нем либо бурлит, либо томится, он либо лентяй, либо труженик; равнодушие приводит его к рабству, пыл — к жестокости; он коснеет в невежестве, привержен предрассудкам и поэтому не хочет других книг, кроме божественных, других хозяев, кроме тирана; он покоряется закону костра, властвует по закону кинжала, вечерами засыпает в вопиющей нищете, пестуя свой фанатизм и мечтая о преступле-

нии. Кто же он такой, господа? Испанец? Турок? Догадывайтесь сами. Вы, кажется, воображаете, что я остроумен; я вижу, вы меня слушаете. В самом деле, господа, вы оказываете мне великую честь. И, если угодно, я могу продолжить свою мысль; например, перейдя в область чисто физическую, я мог бы сказать: у него лицо мрачное, продолговатое, глаза черные с миндалевидным разрезом, брови жесткие, рот подвижной и печальный, щеки загорелые, худые и морщинистые; голова у него бритая, покрыта платком, завязанным в виде тюрбана; он целый день проводит лежа или просто стоит под жгучим солнцем, неподвижно, молча, покуривая дурманящий табак. Кто же он такой? Турок? Испанец? Вы удовлетворены, господа? По-видимому, да; вы смеетесь; а чему вы смеетесь? Рассказывая вам все это, я не смеялся; видите — лицо мое печально. А может быть, потому, что мрачный пленник вдруг стал болтать без удержу? Ничего, пустое! Я мог бы и не то вам рассказать, друзья мои, и даже оказать вам кое-какие услуги. Пусть я в веселые побасенки, поведай я вам, например, о том, как некий священник, перед тем как приступить к богослужению, осудил на смерть нескольких еретиков, а когда его во время мессы побеспокоили, попросив дальнейших распоряжений, он в ярости закричал: «Всех убейте, убейте всех!» — вы тоже рассмеялись бы, господа? Нет, не все! Вот этот господин, например, стал бы покусывать ус и губы. Конечно, он мог бы возразить, что поступил разумно и что не следовало отвлекать его от благоговейной молитвы. Ну, а если я добавлю, господин де Сен-Мар, что он целый час прятался за холстом вашей палатки и явился сюда не ради меня, а с намерением устроить вам какую-то гадость, — что он на это ответит? Теперь, господа, вы удовлетворены? Побалагурил и могу удалиться?

Пленник выложил все это скоропалительно, как лекарь-шарлатан, и столь громким голосом, что Жозеф совсем одурел. Под конец он в негодовании вскочил с места и сказал, обращаясь к Сен-Мару:

— Как вы терпите, сударь, чтобы пленный, которого следовало бы вздернуть, разговаривает с вами таким тоном?

А испанец, уже не достаивая капуцина своим вниманием, склонился к д'Эффия и шепнул ему на ухо:

— Я вам не нужен, дайте мне свободу; я и сам мог бы убежать, да не хочу без вашего согласия; отпустите меня или прикажите убить.

— Бегите, если можете, — ответил Сен-Мар, — клянусь, я буду очень рад этому.

И он приказал увести только пленного солдата, так как его хотел оставить при себе для услуг.

Распоряжение было немедленно выполнено, и в палатке остались двое друзей — совсем растерявшийся отец Жозеф и испанский офицер, как вдруг последний снял шляпу, и взорам присутствующих предстало его грубое, но чисто французское лицо; он захохотал и глубоко вздохнул широкой грудью.

— Да, я француз, — сказал он, обращаясь к Жозефу, — но я ненавижу Францию, потому что она — родина и моего отца-чудовища, и моя, а я тоже стал чудовищем и однажды ударил родителя; я ненавижу французов за то, что они, играя со мною в кости, украли все мое состояние, и за то, что после этого я сам обкрадывал и убивал их; я два года был испанцем, чтобы уничтожить побольше французов; но теперь я еще сильнее ненавижу Испанию, а почему — этого никто никогда не узнает. Прощайте, отныне я человек без родины; все люди — мои враги. Продолжай, Жозеф, свое дело, тебе до меня недалеко. Да ты действительно видел меня некогда, — продолжал он, с такой силой толкнув капуцина в грудь, что тот повалился, — я Жак де Лобардемон, сын твоего достойного друга.

С этими словами он бросился вон из палатки и исчез, словно призрак. Де Ту и слуги, подбежавшие к выходу, видели, как он двумя-тремя прыжками достиг изумленного часового, обезоружил его и, как лань, помчался по направлению к горам, невзирая на посланные ему вдогонку пули. Жозеф воспользовался переполохом, чтобы улизнуть, пролепетав несколько обычных приветствий. Оставшиеся наедине Сен-Мар и де Ту хохотали над его злоключением и растерянностью, как хохочут школьники, когда с носа их наставника падают очки. Наконец они решили отдохнуть, что было необходимо обоим, и вскоре уснули — раненый на своей койке, а советник — в кресле.

Что же касается капуцина, то он направился к своей палатке, размышляя о том, как ему использо-

вать все случившееся для мести, и неожиданно встретил Лобардемона, который тащил за собой безумную девушку со связанными руками. Они поделились своими страшными приключениями.

Жозеф получил немалое удовольствие, разбередив душевную рану Лобардемона тем, что поведал о судьбе его отпрыска.

— Не везет вам в семейных делах,— добавил он,— советую упрятать племянницу под замок и повесить на следника, если вам посчастливится его разыскать.

Лобардемон зловеще рассмеялся:

— Что касается этой дурочки, я передам ее бывшему судье тайных дел, который стал контрабандистом и теперь орудует в Пиренеях, около Олорона; пусть делает с ней что хочет,— может быть, она пригодится ему как служанка в его *posada*¹; мне все равно, лишь бы его высокопреосвященство больше никогда не слышал о ней.

Жанна де Бельфиель стояла понурившись и, по видимому, ничего не понимала; в ней угас последний проблеск рассудка; губы ее шептали одно только слово: «Судья, судья, судья!» Потом она умолкла.

Лобардемон и Жозеф погрузили ее, как мешок пшеницы, на одну из двух лошадей, которых подали им слуги; сам Лобардемон сел на другую и собрался выехать из лагеря, надеясь еще до рассвета очутиться далеко в горах.

— Счастливого пути,— сказал он Жозефу,— желаю вам успеха в Париже; прошу оказать должное внимание Оресту и Пиладу.

— Счастливого пути,— ответил тот.— Прошу оказать такое же Кассандре и Эдипу.

— Ну, он ведь не убил своего отца и не женился на матери.

— Но он на пути к этим милым проказам.

— Прощайте, достойнейший отец.

— Прощайте, достойнейший друг,— сказали они громко, а шепотом добавили:

— Прощай, убийца в серой сутане; в твоё отсутствие я кое-что шепну кардиналу!

— Прощай, мерзавец в красной мантии, ступай, собственными руками уничтожь свою проклятую родню; пролей ее кровь, а о твоей позабочусь я. Ну и хлопотная же ночь выдалась сегодня!

¹ дом (исп.).



Глава XIV

МЯТЕЖ

Опасность, государь, велика и многообразна, она превышает все расчеты даже самых осторожных людей.

Мирабо. «Обращение к королю»

Пусть действие несется на крыльях воображения стремительно, как мысль,— говорит бессмертный Шекспир устами хора в одной из своих трагедий,— представьте себе короля в океане во главе прекрасного флота: смотрите на него, следуйте за ним. С такой поэтической стремительностью автор летит во времени и пространстве и переносит по своей воле замороженных зрителей в места, где разыгрываются его величественные сцены.

Мы воспользуемся теми же правами, хоть и не наделены тем же талантом, мы тоже не желаем восседать на треножнике «единств»* и, обратив взор на Париж и на старый, почерневший Луврский дворец, сразу перенесемся туда, преодолев два года времени и пространство в двести лье.

Два года! Сколько перемен могут они внести в жизнь человека, в его семью, а особенно в огромную мятущуюся семью народов, где достаточно одного дня, чтобы уничтожить союзы, достаточно чьего-нибудь рождения, чтобы потушить войну, чьей-нибудь смерти, чтобы нарушить мир! Мы сами были свидетелями того, как однажды весенним днем король вернулся в свое жилище; в тот же день некий корабль отплыл в двухлетнее плаванье; мореплаватель вернулся; король восседал на троне; в отсутствие путешественника, казалось, не произошло никаких перемен: и все же господь отнял у короля сто дней царствования*.

Но в 1642 году, в эпоху, к которой мы возвращаемся, во Франции ничего не изменилось,— разве что изменились ее опасения и надежды. Лишь грядущее ста-

ло представляться иным. Прежде чем встретиться с нашими героями, необходимо бросить беглый взгляд на состояние королевства.

Мощное единство страны казалось еще внушительнее в сопоставлении с бедствиями, постигшими соседние государства: восстания в Англии, а также в Испании и Португалии только подчеркивали спокойствие, которым наслаждалась Франция; пошатнувшийся или низвергнутый Страфффорд и Оливарес придавали еще большее величие незыблемому Ришелье.

Шесть грозных армий, опиравшихся на свое победоносное оружие, служили оплотом королевству; те, что были расположены на севере и действовали вкупе со Швецией, разгромили имперские войска, которые еще преследовала тень Густава-Адольфа; те, что находились возле Италии, принимали в Пьемонте ключи городов, защищенных принцем Тома, а те, что стояли вдоль Пиреней как вторая преграда, сдерживали восставшую Каталонию и все еще нетерпеливо взирали на Перпиньян, который им не разрешали взять. Внутри страны было не радостно, но спокойно. Какой-то незримый дух, казалось, поддерживал в ней мир; ибо король был смертельно болен и доживал в Сен-Жермене последние дни в обществе нового, молодого фаворита; а Ришелье, как ходили слухи, умирал в Нарбонне. Однако о том, что он еще жив, свидетельствовала смерть то одного, то другого дворянина, — время от времени эти люди гибли, словно сраженные чьим-то тлетворным дыханием, и тем самым напоминали о все той же невидимой силе.

Сен-Прейль, один из противников кардинала, только что сложил свою *железную голову*, сложил *без страха и стыда*, как он сам сказал, входя на эшафот.

В то же время казалось, что Франция управляется сама собой; ибо монарх и министр давно уже были разобщены, но из этих двух больных, ненавидевших друг друга, один никогда и не держал в руках бразды правления, а другой уже не давал о себе знать; имя его уже не упоминалось в государственных грамотах, он не появлялся на совещаниях правительства, как бы исчезал отовсюду; он спал, как паук посреди паутины.

Итак, если и произошли в эти два года какие-либо события или перевороты, так только в сердцах; но такие незримые перемены в монархиях, лишенных твер-

дой основы, предвещают грозные потрясения, длительные кровавые распри.

Чтобы узнать о них, обратим взор на старинное, почерневшее, недостроенное здание Лувра и прислушаемся к речам людей, которые живут в нем или вокруг него.

Стоял декабрь; Париж страдал от лютой зимы; нищета и тревога обывателей достигли крайней степени; тем не менее любопытство по-прежнему подстрекало народ, и он был все так же жаден до зрелищ, которые разыгрывались при дворе. Когда он взирал на суету богачей, его собственная бедность казалась ему менее тягостной, когда видел борьбу могущественных людей — слезы казались ему не столь горькими, а при виде крови вельмож, которая орошала улицы и, казалось, одна только и могла удостоиться такого применения — он благословлял свое ничтожество. По нескольким шумным стычкам, нескольким ошеломительным убийствам уже можно было почувствовать, что король слабеет, что министр отсутствует и смерть его не за горами; все это, словно пролог к кровавой комедии Фронды, подзадоривало парижан на злобные выходы и даже распаляло их страсти. Сумятица была им по душе; причины ссор им были безразличны, они представлялись им чем-то отвлеченным, зато парижане отнюдь не были безразличны к отдельным лицам и уже начинали одних главарей любить, других ненавидеть — и не потому, что воображали, будто эти люди заботятся об их благе, а просто потому, что они нравились или не нравились им как комедианты.

Однажды ночью в Сите* раздалось особенно много пистолетных и ружейных выстрелов; были даже совершены нападения на многочисленные патрули швейцарцев и королевскую гвардию, а кое-где в извилистых улочках островка, где находится собор Парижской богородицы, были сооружены баррикады: к уличным тумбам кто-то привязал телеги с бочками, так что всадники не могли проехать; несколькими мушкетными выстрелами были ранены лошади и люди. Тем не менее город спал — за исключением участка, прилегающего к Лувру, где в то время жила королева и брат короля, герцог Орлеанский. Здесь все говорило о широко задуманных планах.

Было два часа ночи; морозило, стояла густая мгла; вдруг на набережной, тогда еще плохо вымощенной, собралась значительная толпа и постепенно заняла песчаный откос, спускавшийся к Сене. Всего набралось человек двести; они кутались в широкие плащи, под которыми торчали ножны длинных испанских сабель. Беспорядочно прогуливаясь по набережной, собравшись, казалось, не столько стремились к каким-либо действиям, сколько сами чего-то ждали. Многие из них, скрестив руки, сидели на камнях, которые были заготовлены для сооружения парапета, а пока что валялись где попало; все соблюдали полнейшую тишину. Вскоре какой-то человек, вышедший, по-видимому, из ворот Лувра, не спеша подошел к собравшимся с потайным фонарем в руке, который он стал подносить к лицам и задул, как только нашел нужного человека; он пожал ему руку, и между ними произошел следующий разговор вполголоса:

— Ну как, Оливье? Что сказал вам господин оберштальмейстер? Все в порядке?

— Да, да, я видел его вчера в Сен-Жермене; старый кот в Нарбонне тяжело болен и со дня на день отправится *ad patres*¹, но надо действовать ловко, ибо уже не первый раз он притворяется умирающим. А вы, дорогой Фонтрай, сговорились с кем-нибудь на сегодня?

— Не беспокойтесь, Монтрезор приведет с собою человек сто из свиты Гастона Орлеанского; имейте в виду, что он перерядится каменщиком, в руках у него будет линейка. Главное — не забудьте пароль; твердо ли и вы, и ваши друзья запомнили его?

— Да, пароль все знают, кроме аббата де Гонди, его еще нет; но, прости господи, вот, кажется, и он. Какой черт узнал бы его?

И в самом деле, к ним подошел человек не в сутане, а в мундире гвардейца, с черными накладными усами. Он потирал руки и радостно переваливался с ноги на ногу.

— Хвала богу! Все идет превосходно, лучше не устроил бы и мой друг Фиеско.— И он встал на цыпочки, чтобы похлопать Оливье по плечу:— Знаете ли, сударь, для человека, только что вышедшего из пажей, вы ведете себя неплохо! Если среди нас найдется

¹ к праотцам (*лат.*).

Плутарх, вы попадете в число великих людей. Все подготовлено прекрасно, вы явились в самый раз, ни раньше, ни позже, как настоящий вожак партии. Фонтрай! Этот юноша далеко пойдет — помяните мои слова. Не будем, однако, мешкать; через два часа к нам присоединится паства моего дядюшки, парижского архиепископа; я здорово подогрел их, они будут как бешеные кричать: *«Да здравствует его высочество! Да здравствует регентство! Долой кардинала!»* Их изрядно взбудоражили набожные женщины, всецело преданные мне. Король очень плох. Все идет отлично! Отлично! Я прямо из Сен-Жермена, я виделся там с нашим другом Сен-Маром; он в прекрасном состоянии духа, по-прежнему тверд, как скала. Вот это человек! Как он их разыграл, прикидываясь грустным и рассеянным! Теперь он властелин двора. Дело решенное, король, по слухам, пожалует ему титул герцога и пэра; об этом усиленно поговаривают; но король еще колеблется, и сегодняшнее наше выступление должно решить вопрос: такова *воля народа, воля народа* должна быть выполнена во что бы то ни стало, и мы дадим народу высказаться. Он потребует смерти Ришелье, понимаете вы это? В возгласах должна прозвучать прежде всего ненависть к кардиналу, ибо это самое главное. И это придаст наконец нашему Гастону решимости — ведь он по-прежнему колеблется, не правда ли?

— А чего другого можно от него ожидать? — сказал Фонтрай. — Если он сегодня примет нашу сторону, это будет весьма прискорбно.

— Почему же так?

— Да потому, что можно не сомневаться: завтра на рассвете он будет против нас.

— Ну и пусть, — возразил аббат, — королева не без головы.

— И не без сердца, — добавил Оливье, — поэтому Сен-Мар, думается мне, может питать определенные надежды; мне не раз казалось, что, смотря на королеву, он осмеливается принимать обиженный вид.

— Какой вы еще ребенок! Как плохо вы еще знаете двор! Сен-Мара может поддержать только король, который любит его, как сына, а что касается королевы, то если ее сердце и бьется, так только от воспоминаний, а не от упований. Но речь идет не об этих пустяках;

скажите, дорогой мой, вы вполне уверены в вашем молодом адвокате? Сейчас он бродит вокруг нас. Наш ли он сторонник?

— Вполне; это безупречный роялист; он готов хоть сию минуту бросить кардинала в реку. Ведь это Фурнье из Лудена, этим все сказано.

— Отлично, отлично, такие-то нам и нужны. Однако внимание, господа: на улице Сент-Оноре появились какие-то люди, они идут сюда.

— Кто идет? — крикнули первые увидевшие их. — Роялисты или кардиналисты?

— *Гастон и Главный*¹, — тихо ответили подошедшие.

— Это Монтрезор с приближенными его высочества, — сказал Фонтрай, — скоро можно начинать.

— Можно, черт побери, ибо в три часа тут пройдут кардиналисты, — сказал вновь прибывший, — мы только что узнали об этом.

— Куда их несет? — спросил Фонтрай.

— Говорят, они сопровождают господина де Шавиньи, который едет к старому коту в Нарбонн; их более двухсот, из предосторожности они решили провести ночь в Лувре.

— Ну что же, погладим их против шерстки, — заметил аббат.

Едва он проговорил это, как раздался конский топот и грохот карет. Несколько человек в плащах тотчас же выкатили на мостовую огромный камень. Первые всадники, почуяв неладное, вскачь пронеслись сквозь толпу, с пистолетами в руках, зато первая же карета зацепилась колесом за камень, и кучер упал с козел.

— Чья это карета давит пешеходов? — в один голос закричали люди в плащах. — Что за произвол! Видно, это экипаж кого-нибудь из друзей *кардинала Ларошельского*.

— Тут едет тот, кому не страшны друзья *Главного*, — крикнул кто-то, отворив дверцу кареты и бросаюсь к лошади.

— Оттеснить кардиналистов к реке! — прозвучал резкий, повелительный голос.

¹ Главный — так называли Сен-Мара, подразумевая его звание обер-шталмейстера (главного конюшего).

Это послужило сигналом — с обеих сторон раздались яростные пистолетные выстрелы, осветившие эту мрачную, шумную сцену; сквозь ляг шпаг и конский топот слышались крики, с одной стороны — *«Долой министра! Да здравствует король и господин Сен-Мар! Долой красные чулки!»*, с другой — *«Да здравствует его высокопреосвященство! Да здравствует великий кардинал! Смерть мятежникам! Да здравствует король!»* — ибо в то странное время именем короля освящалась как всякая вражда, так и всякая привязанность.

Между тем пешеходам удалось поставить две кареты поперек набережной, превратив их в преграду коням Шавиньи; из-за колес, из-под рессор и через дверцы они стали стрелять по всадникам и многих из них сразили. Началась страшная сумятица, но тут ворота Лувра вдруг распахнулись, и из них рысью стали выезжать два эскадрона гвардейцев; у большинства в руках были факелы, чтобы освещать дорогу и видеть тех, на кого они собирались напасть. Положение изменилось. Как только всадник подъезжал к пешему — тот останавливался, снимал шляпу и называл свое имя; после этого гвардеец удалялся, иной раз поклонившись, иной раз пожав пешему руку. Итак, помощь каретам Шавиньи оказалась тщетной и появление гвардии только усилило беспорядок. Гвардейцы, как бы для очистки совести, объезжали дерущихся, вяло уговаривали их: *«Полноте, господа, полноте!»*

Заметив, что двое дворян уж очень рьяно пускали в ход оружие и сильно распалились, какой-нибудь гвардеец подъезжал к ним и останавливался, чтобы оценить удары, и даже подбадривал того, кто, по его предположению, одних с ним убеждений, ибо в гвардии, как и во всей Франции, тоже имелись и роялисты и кардиналисты.

В окнах Лувра постепенно зажигались огни, и за маленькими ромбовидными стеклами можно было разглядеть много женских головок, внимательно следивших за сражением.

Появились многочисленные патрули швейцарцев с факелами, которых легко было отличить по их причудливой форме. Правый рукав у них был полосатый — синий и красный, а на правой ноге они носили красный шелковый чулок; слева рукав был в синих,

красных и белых полосах, а чулок белый с красным. В королевском замке, несомненно, надеялись, что этому отряду иностранцев удастся рассеять толпу; однако надежда не оправдалась. Равнодушные солдаты безразлично, в меру данных им распоряжений, прошли между вооруженными противниками, которых им на время удалось разнять, а затем с безупречной точностью собрались возле ограды и построились в ряды, словно на маневрах, не интересуясь, прекратились ли стычки в толпе, через которую они только что прошли.

Однако шум, на время затихнув, вновь усилился: всюду разгорались ожесточенные схватки. Слышались какие-то выкрики, брань, проклятия; сражение, казалось, могло закончиться только полным разгромом одной из сторон, а тут еще вдруг раздались воли или, вернее, страшный вой, который довел сумятицу до крайнего предела. Аббат де Гонди, вцепившись в плац какого-то всадника, чтобы сбросить его с коня, закричал:

— Вот мои люди! Фонтрай, сейчас вам кое-что покажут! Смотрите, смотрите, как они несутся. Прелесть, да и только!

И, оставив своего противника, аббат взобрался на камень и важно скрестил руки на груди, словно главнокомандующий, встречающий свою армию. Занималась заря, когда вдаль показалось скопище мужчин, женщины и детей из простонародья, бежавших со стороны острова Сен-Луи; их гневные возгласы обращены были к небесам и к Луврскому дворцу. Девушки держали в руках длинные сабли, ребятишки волокли огромные алебарды и пики времен Лиги, с насечкой, старухи в рубище тащили на канатах тележки со старым поломаным ржавым оружием; всякого рода мастерские, в большинстве пьяные, следовали за ними, держа в руках палки, цепи, вилы, гарпуны, лопаты, багры, факелы, колья, палаши и острые веретена; они то пели, то просто горланили и дико хохотали; знаменем им служил шест, на котором болталась дохлая кошка; она была обернута красной тряпкой и тем самым изображала кардинала, чья любовь к этим животным была общеизвестна. Раскрасневшиеся, запыхавшиеся глашатаи бежали и разбрасывали по мостовым, по сточным канавам, наклеивали на заборы, на столбы, на дома и даже на стены дворца сатирические прокла-

мации в стихах, в которых осмеивались кардиналисты; мясники и торговцы рыбой несли длинные ножи, выбивали на кастрюлях сигнал атаки и тащили по грязи только что зарезанную свинью, к голове которой была привязана красная скуфейка, взятая у какого-то мальчика-певчего. Рослые парни в женском платье, сильно нарумяненные, вопили не своим голосом: «*Мы матери семейств, которые разорил Ришелье; смерть кардиналу!*» Они несли соломенные чучела младенцев и размахивали ими, как бы собираясь бросить в реку, и потом действительно побросали их в воду.

Когда это отвратительное сборище исчадий ада, которых собралось несколько тысяч, заполонило набережные, оно оказало на сражающихся действие, совершенно противоположное тому, на какое рассчитывали их вдохновители: противники сложили оружие и стали расходиться. Стронники Гастона Орлеанского и Сен-Мара возмутились, увидев, кто их поддерживает; они стали помогать кардиналистам сесть на коня или в карету, а их лакеям — переносить раненых, и вместе с тем назначали противникам встречу, чтобы решить спор в более уединенном и достойном их месте. Им было стыдно за их численное превосходство и за отвратительный сброд, который они как будто возглавили, а быть может, именно тут они впервые почувствовали, сколь прискорбными последствиями чреваты их политические забавы, и увидели, какое болото они взбаламутили; накинув на плечи плащ, надвинув на лоб широкополую шляпу, они стали расходиться, в страхе помышляя о завтрашнем дне.

— Вы этим сбродом, дорогой мой, все дело испортили, — сказал, топнув ногой, Фонтрай аббату де Гонди, — хороша же паства у вашего любезного дядюшки!

Аббат был немало смущен, однако ответил строптиво:

— Я не виноват, беда в том, что эти олухи явились часом позже, чем им было велено; приди они до рассвета, их бы не разглядели, а вид их, спору нет, все портит; им яркий свет, что и говорить, не на пользу, но в темноте был бы услышан только глас народа: «*Vox populi, vox Dei*»¹. К тому же все обернулось не так уж пло-

¹ Глас народа — глас божий (лат.).

хо: их такое множество, что нас не узнают и нам легче будет скрыться. В конце концов мы свое дело сделали, — кроме того, мы ведь не хотели смерти грешника: Шавиньи и его сторонники — люди весьма достойные, и я очень люблю их; если его только ранили — так тем лучше. Прощайте, мне надо повидаться с герцогом Буйонским, он только что вернулся из Италии.

— Оливье! — сказал Фонтрай. — Поезжайте с Фурнье и Амбросио в Сен-Жермен, а я с Монтрезором пойду к его высочеству, чтобы дать отчет.

Все разошлись; отвращение оказало на этих благовоспитанных людей такое действие, какого не могла бы оказать никакая сила.

Тем и кончилась схватка, грозившая великими бедствиями; не было ни одного убитого; всадники, из коих некоторые приобрели ссадины, а некоторые, к удивлению своему, лишились кошельков, вновь отправились рядом с каретами по извилистым улицам; противники их по одному рассеялись, пробравшись через толпу, которую они подняли на мятеж. Голытьба, лишившись главарей, потопталась еще часа два, по-прежнему горлая, пока вино в ней не перебродило, а холод не охладил равно как кровь, так и воодушевление. В окнах, выходящих на набережную Сите, а также вдоль стен домов стоял разумный, подлинный парижский народ, который в мрачном молчании, с грустью взирал на это предвестие грядущих беспорядков; тем временем представители купеческого сословия, одетые во все черное, с членами муниципалитета и старшинами во главе, степенно, мужественно направлялись сквозь толпу ко *Дворцу правосудия*, где должен был собраться Парламент, — чтобы подать жалобу на страшные почные бесчинства.

А в апартаментах Гастона Орлеанского царило необычное волнение. Брат короля занимал в то время крыло Лувра, параллельное Тюильри; окна его выходили с одной стороны во двор, с другой — на узкие переулки и на домишки, занимавшие почти всю площадь. Гастон проснулся от выстрелов, стремительно вскочил, сунул ноги в широкие туфли на высоком каблуке, без задков, и, завернувшись в просторный шелковый шлафрак с вышивкой золотом, стал ходить взад и вперед по спальне, при этом он поминутно посылал лакеев узнать, что творится на улице, и с нетерпением ожидал

прибытия аббата де Ларивьера, его постоянного советчика, который, как на грех, уехал из Парижа. При каждом выстреле малодушный князь подбегал к окну, однако видел одни только факелы, мелькавшие в руках бегущих людей; сколько ему ни докладывали, что крики, которые до него доносятся, — в его честь, он продолжал растерянно ходить по комнатам; его длинные черные волосы разметались, а голубые глаза стали больше от волнения и страха; Монтрезор и Фонтрай застали принца полуодетым, бьющим себя в грудь и твердящим в тысячный раз: *Mea culpa, mea culpa*¹.

— Скорее, скорее! — крикнул он еще издали, устремляясь к ним. — Идите же наконец! Что там такое? Что происходит? Что это за сброд? Что за крики?

— Кричат: «Да здравствует его высочество!»

Гастон сделал вид, будто не слышит, и, на минуту оставив дверь отворенной, чтобы его голос донесся до приближенных, находившихся в галерее, стал изо всех сил вопить, размахивая руками:

— Я ничего об этом не знаю, я никого не уполномочивал; не хочу ничего слышать, ничего знать; я не одобряю никаких интриг, все это затеи бунтовщиков; даже не говорите мне об этом, если дорожите моим расположением; я никому не враг, мне противны такие сцены...

Фонтрай хорошо знал, с кем имеет дело, и поэтому ничего не ответил; он вместе с другом вошел в комнату, и притом не спеша, чтобы Гастон успел охладить свой пыл; когда же все было высказано и дверь тщательно затворена, Фонтрай заговорил.

— Монсеньер, — сказал он, — мы пришли, чтобы просить у вас прощения за дерзкое поведение народа, который кричит, что желает смерти вашего врага и — более того — что, в случае если нас постигнет тяжелая утрата, он желал бы, чтобы вы стали регентом; да, народ всегда свободно выражает свои мысли; и на этот раз собралась такая толпа, что, несмотря на все усилия, мы не могли ее сдержать; то был крик, исходивший из самого сердца; то был порыв любви, его не в силах подавить холодный разум, и он вышел за пределы допустимого.

¹ Моя вина, моя вина (лат.).

— Но, в конце концов, что же произошло? — спросил Гастон, немного успокоившись. — Что они делали там целых четыре часа?

— Как господин Фонтрай уже имел честь доложить вам, — холодно продолжал Монтрезор, — их любовь настолько превзошла все правила и границы, что увлекла и нас самих; мы почувствовали то воодушевление, которое всегда загорается в наших сердцах при одном имени вашего высочества, а это толкнуло нас на такие действия, о которых мы заранее не думали.

— Но что же наконец вы сделали? — настаивал принц.

— События, о которых господин де Монтрезор имел честь говорить вам, — подхватил Фонтрай, — это именно те события, которые я предсказывал здесь не далее как вчера вечером, когда имел честь беседовать с вами.

— Не в этом суть, — прервал его Гастон, — но не можете же вы утверждать, что я что-либо приказал или одобрил; я решительно ни во что не вмешиваюсь, я ничего не смыслю в государственных делах...

— Конечно, ваше высочество не отдавали никаких распоряжений, — продолжал Фонтрай, — но ваше высочество разрешили доложить вам, что, по моим предположениям, часа в два ночи произойдет волшебие, и я имел основание надеяться, что вы в душе не будете так сильно этим удивлены.

Князь стал понемногу успокаиваться; он понял, что запугать заговорщиков не удастся; к тому же весь их вид, да и его собственная совесть напоминали ему о том, что накануне он дал согласие на мятеж; он сел на кровать, скрестил на груди руки и, смотря на них, как судья, снова внушительно повторил вопрос:

— Но, в конце концов, что же вы сделали?

— Да почти ничего, ваше высочество, — ответил Фонтрай, — мы случайно встретили в толпе кое-кого из друзей; они ссорились с кучером господина де Шавиньи, который на них наехал; за этим последовало несколько непочтительных слов, несколько резковатых движений, несколько царини, что и вынудило ехавших повернуть назад, — вот и все.

— Вот и все, — повторил Монтрезор.

— Как это «все»? — в волнении вскричал Гастон, бегая по комнате. — По-вашему, это пустяк — оставить карету друга кардинала-герцога? Я не терплю

сцен, как я уже сказал; я не питаю ненависти к кардиналу; это великий политик, что и говорить — великий; вы страшно компрометируете меня; все знают, что Монтрезор мой приближенный; если его там видели, начнутся толки, что это я послал его...

— Мне случайно подвернулось платье простолуди-на, и ваше высочество может видеть его у меня под плащом, — я воспользовался им именно по этим соображениям.

Гастон вздохнул.

— Вы уверены, что вас не узнали? — спросил он. — Вы же понимаете, друг мой, как это было бы прискорбно... согласитесь сами.

— Вполне уверен, — воскликнул дворянин, — ручаюсь головой и райским блаженством, что никто не разглядел меня и никто не назвал по имени!

— Хорошо, — спокойнее и, пожалуй, даже с некоторым удовлетворением сказал Гастон и вновь присел на кровать, — расскажите же мне, что такое там произошло.

Рассказывать стал Фонтрай; легко догадаться, что, по его словам, огромную роль во всем сыграл народ, а приближенные князя — никакой. Перейдя к подробностям, он в заключение добавил:

— Можно было наблюдать даже из окон вашего высочества, как почтенные матери семейств, доведенные до отчаяния, бросали своих младенцев в реку, проклиная при этом Ришелье.

— Ах, какой ужас! — воскликнул князь в негодовании или притворяясь, что негодует и верит этим преувеличениям. — Неужели правда, что его все так ненавидят? Приходится, однако, согласиться, что он этого заслуживает! Вот до чего его тщеславие и скупость довели славных парижан, которых я так люблю!

— Да, ваше высочество, — продолжал рассказчик, — и не только Париж — вся Франция вместе с нами умоляет вас освободить ее от тирана; все подготовлено; достаточно одного жеста вашей царственной особы, чтобы уничтожить пигмея, который намеревался унижить королевский дом.

— Увы! Бог мне свидетель — я прощаю ему это оскорбление, — возразил Гастон, возведя взор к небесам, — но я не могу равнодушно слышать вопли народа; да, я приду ему на помощь!..

— О! Мы припадаем к вашим стопам!— воскликнул Монтрезор, низко кланяясь.

— То есть...— продолжал князь, отступая,— в такой мере, чтобы это не повредило моему достоинству и чтобы имя мое нигде не упоминалось.

— Но как раз ваше имя нам и желанно!— воскликнул Фонтрай, почувствовав себя немного свободнее. — Уже набралось, ваше высочество, несколько человек, готовых смело поставить свое имя вслед за вашим; я тут же назову их вам, если угодно.

— Погодите, погодите...— проговорил герцог Орлеанский с каким-то ужасом,— сознаете ли вы, что предлагаете мне просто-напросто заговор?

— Что вы! Что вы, ваше высочество! Мы благородные люди — и вдруг заговор! Вовсе нет! Самое большее — союз, некое соглашение, чтобы направить единодушную волю народа и двора — вот и все.

— Но... но это как-то не вполне ясно, ибо, в конце концов, ведь дело будет и не всеобщим и не гласным; следовательно, это будет заговор; уж не признаетесь ли вы, что вы в заговоре?

— Я, ваше высочество? Простите, признаюсь перед всем королевством, потому что все подданные в заговоре, а я тоже подданный. Да кто же откажется дать свою подпись после того, как подпишутся герцог Буйонский и господин де Сен-Мар?

— После них — пожалуй, но до них?— спросил Гастон, взглянув на Фонтрая пристально и даже прощательнее, чем тот ожидал.

Фонтрай мгновение колебался.

— А как бы вы поступили, ваше высочество, если бы я вам назвал имена, после которых и вы могли бы поставить свое имя?

— Ха-ха, это забавно,— возразил князь, рассмеявшись,— выше меня наберется, кажется, немного. Если не ошибаюсь, только одно.

— Хорошо, пусть одно. Ваше высочество, обещаете вы нам поставить свое имя после этого единственного?

— Еще бы. Готов от всего сердца, я ничем не рискую, ибо сейчас, по-видимому, один только король не участвует в деле.

— Итак, начиная с этой минуты, позвольте считать, что мы поймали вас на слове,— сказал Монтрезор,— и соблаговолите дать теперь согласие всего лишь на две

просьбы: повидайтесь с герцогом Буйонским у королевы и с господином Главным у короля.

— По рукам!— весело воскликнул Гастон, хлопая Монтрезора по плечу.— Сегодня отправлюсь на выход невестки и приглашу брата в Шамфор поохотиться на оленей.

Друзьям ничего другого и не требовалось, и они сами удивились нежданному успеху; никогда еще они не встречали у своего главы такой решимости. Боясь отвлечь его от пути, на который он стал, они поспешили перевести разговор на другие темы и ушли весьма довольные, напоследок сказав князю, что твердо рассчитывают на его обещания.



Глава XV

АЛЬКОВ

Случалось, что и королевы плакали, как простые женщины.

Шатобриан

Как сладостно быть красивой, когда ты любима.

Дельфина Ген

В то время как приближенные князя с трудом его успокаивали, а он не скрывал страха, который мог передаться им, титулованная особа, более подверженная ударам судьбы, более одинокая вследствие равнодушия супруга, более слабая от природы и робкая из-за отсутствия счастья, являла, напротив, пример спокойного мужества и благочестивого смирения и укрепляла дух испуганной свиты: то была королева. Не прошло и часа после ее отхода ко сну, как за дверями и толстыми драпировками спальни послышались громкие крики, разбудившие ее. Она приказала служанкам отпереть двери, и герцогиня де Шеврез в одной рубашке и широком плаще, сопровождаемая четырьмя камеристками и тремя горничными, почти без чувств упала возле ее кровати. Нежные ножки герцогини были босы и кровоточили, ибо она в спешке поранила их; всхлипывая, как дитя, она уверяла, что пуля пробила ставню и стекло в спальне и поразила ее самое; она молила королеву снова отправить ее в изгнание: там ей жилось спокойнее, чем здесь, где ее хотят убить как наперсницу ее величества. Распущенные волосы герцогини ниспадали до самых пят: они были лучшим ее украшением, и молодая королева подумала, что такая небрежность не столь случайна, как это могло показаться.

— Помилуйте, дорогая, что случилось? — спросила королева довольно хладнокровно. — Вы похожи на Магдалину, но в молодости, до раскаяния. Если здесь

и покушаются на кого-нибудь, то разве только на меня, — успокойтесь.

— Спасите, защитите меня, государыня! Меня преследует Ришелье. Я это знаю.

Отчетливые звуки пистолетных выстрелов, донесшиеся в ту же минуту, убедили королеву, что страхи г-жи де Шеврез не напрасны.

— Оденьте меня, госпожа де Мотевиль! — громко приказала она.

Но г-жа де Мотевиль, совершенно потеряв голову, открыла один из громадных сундуков черного дерева, заменявших в те времена шкафы, достала оттуда ларчик с бриллиантами королевы, чтобы их спасти, и ничего не слушала. Остальные женщины увидели на окне отблеск факелов и, вообразив, что дворец объят пламенем, стали связывать в узлы драгоценности, кружева, золотые вазы и даже фарфор, чтобы выкинуть их в окно. В это время появилась г-жа де Гемене, несколько более одетая, чем герцогиня де Шеврез, но уже совсем трагически настроенная; страх красавицы перешелся королеве, которой был хорошо знаком ее спокойный, чопорный нрав. Г-жа де Гемене вошла, не поклонившись, бледная, как привидение, и выпалила единым духом:

— Пора исповедоваться, ваше величество; Лувр осаждают, весь народ идет сюда, так мне сказали.

Придворные дамы умолкли и оцепенели от ужаса.

— Мы умрем! — воскликнула наконец герцогиня де Шеврез, все еще стоя на коленях. — Боже мой, почему я не осталась в Англии! Да, надо исповедаться; я каюсь перед всеми: я любила... была любима...

— Хорошо, хорошо, — прервала ее королева, — я не намерена слушать далее; для меня такие речи опаснее многого другого, а вас, видно, это вовсе не заботит.

Хладнокровие Анны Австрийской и ее вторичная отповедь несколько образумили прекрасную герцогиню, она смущенно поднялась на ноги и, заметив беспорядок своего туалета, удалилась в соседнюю комнату.

— Донья Стефания, — сказала королева одной из своих камеристок, единственной испанке, которую она оставила у себя, — позовите капитана гвардейцев: пора наконец увидеть мужчин и услышать разумные речи.

Она сказала это по-испански, и таинственный приказ на языке, которого они не понимали, отрезвил присутствующих дам.

Донья Стефания молилась в уголке алькова, перебирая четки, но она тотчас же встала и выбежала из комнаты, чтобы выполнить приказание своей повелительницы.

Между тем шум на улице и смятение во дворце все нарастали. Из обширного двора Лувра доносилась команда офицеров, цоканье копыт, стук королевских карет, которые закладывали на случай бегства, лязг железных цепей — их тащили по камнным плитам, чтобы забаррикадировать входы, — чьи-то поспешные шаги, звон оружия, топот солдат; на улице раздавались глухие, смутные крики народа, которые усиливались и замирали, удалялись и приближались, подобно шуму волн и ветра.

Дверь снова отворилась и на этот раз пропустила очаровательное создание.

— Я вас ждала, дорогая Мария, — сказала королева, протягивая руки герцогине Мантуанской, — вы храбрее всех нас и явились в таком убранстве, что могли бы предстать перед целым двором.

— К счастью, я еще не ложилась, — ответила принцесса Гонзаго, опуская глаза, — и видела толпу из окон моей спальни. О государыня, бегите! Умоляю вас, бегите потайным ходом и разрешите нам остаться здесь. Одну из нас могут принять за королеву, а ведь я только что слышала, что народ требует крови, — прибавила она со слезами. — Спасайтесь, государыня! Мне не грозит потеря престола! А вы, вы дочь, супруга и мать королей, спасайтесь и оставьте нас вместо себя.

— Вы можете потерять больше, чем я, мой друг, вы красивее меня, моложе и, надеюсь, счастливее, — сказала королева с ласковой улыбкой, протягивая ей для поцелуя свою прекрасную руку. — Хорошо, оставайтесь здесь, я согласна, но и я останусь вместе с вами. Подайте, прошу вас, золотую шкатулку, которую моя бедная Мотевиль оставила на полу, — это мое самое большое сокровище. Вот единственная услуга, которую я приму от вас, моя красавица. — Затем, беря ларчик из рук Марии, она шепнула ей на ухо: — Если со мной случится несчастье, поклянись мне бросить его в Сену.

— Я выполню вашу волю, государыня, волю моей благодетельницы и второй матери,— ответила Мария, заливаясь слезами.

Между тем шум сражения на набережной усиливался, и окна спальни беспрестанно озарялись огнем ружейных залпов. Капитан королевских гвардейцев и начальник швейцарских стрелков спросили через донью Стефанию, каковы будут распоряжения ее величества.

— Пусть войдут,— ответила королева.— Отойдите в сторону, сударыня; в эту минуту я должна вести себя, как мужчина, таков мой долг.— И, раздвинув полог кровати, она обратилась к двум вошедшим офицерам:— Помните, господа, что вы головой отвечаете за жизнь принцев, моих сыновей; вам это известно, господин де Гито?

— Я сплю у порога их высочеств, государыня; впрочем, этот мятеж угрожает не им и не вашему величеству.

— Хорошо, но прежде всего думайте о них, а не обо мне,— прервала его королева,— и защищайте всех, кто подвергается опасности. Я обращаюсь и к вам, господин де Басомпьер; вы — дворянин; забудьте, что ваш дядя все еще в Бастилии, и исполните свой долг перед внуками покойного короля, его друга.

У молодого де Басомпьера было решительное, открытое лицо.

— Ваше величество может убедиться,— сказал он с легким немецким акцентом,— что я забываю лишь о своей семье, но отнюдь не о семье королевы Франции.

И он показал левую руку — на ней не хватало двух пальцев, которые ему только что оторвало.

— Но у меня остается другая рука,— проговорил он, кланяясь, и удалился вместе с Гито.

Взволнованная королева тотчас же встала и, несмотря на мольбы принцессы де Гемене, слезы Марии и протесты г-жи де Шеврез, подошла к окну и приоткрыла его, опираясь на плечо герцогини Мантуанской.

— Что это?— сказала она.— Они и в самом деле кричат: «Да здравствует король!.. Да здравствует королева!..»

Народ, видимо, узнал ее, и крики возобновились с удвоенной силой: «Долой кардинала! Да здравствует Сен-Мар!» — донеслось в эту минуту.

Мария вздрогнула.

— Что с вами?— спросила королева, пристально смотря на нее.

Но так как испуганная герцогиня молчала, добрая, кроткая королева сделала вид, будто не замечает ее волнения, и с подчеркнутым вниманием стала следить за поведением народа, преувеличивая свое беспокойство, которое, в сущности, улеглось, как только она услышала первый же возглас толпы. Час спустя, когда ей доложили, что народ ждет лишь ее знака, чтобы разойтись, она милостиво, с видимым удовлетворением приветствовала его; но радость королевы была далеко не полной, ибо в глубине души многое тревожило ее, и особенно предчувствие того, что ей скоро суждено стать регентшей. Чем больше она наклонялась, чтобы показаться народу из окна, тем яснее видела сцены, казавшиеся еще отвратительнее при свете нарождавшегося дня; чем доверчивее, спокойнее ей приходилось казаться, тем сильнее сжималось ее сердце и на душу ложилась печаль от наигранной веселости собственных речей и улыбок. Под взглядами столпившихся внизу людей королева почувствовала себя слабой женщиной и содрогнулась при виде народа, которым ей придется повелевать и который уже научился требовать чьей-то смерти и вызывать королев.

Итак, она поклонилась.

Сто пятьдесят лет спустя* это приветствие было повторено другой титулованной особой, также родом из Австрии и французской королевой. Лишенная основ монархия, такая, какой ее сделал Ришелье, родилась и погибла между этими двумя поклонами.

Наконец королева велела затворить окна и поспешила отпустить свою боязливую свиту. Тяжелые занавесы упали на цветные стекла, и в покои уже не проникал более ненавистный ей дневной свет; толстые свечи белого воска горели в золотых канделябрах на стенах, покрытых тканями коврами с геральдическими лилиями. Оставшись одна с Марией Мантуанской, Анна Австрийская прошла за королевскую балюстраду, отделявшую альков, в изнеможении опустилась на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, разрыдалась, утомленная своим мужеством и притворными улыбками. Мария преклонила колена на обитую бархатом скамеечку и, не осмеливаясь заговорить первая, вся

дрожа, лишь прижималась щекой к руке королевы — до сих пор никто не видел слез на глазах Анны Австрийской.

Несколько минут прошли в полном молчании. Наконец, с трудом приподнявшись, королева обратилась к Марии:

— Не огорчайся, дитя мое, дай мне выплакаться, — это так хорошо, когда царствуешь! Помолись за меня и попроси бога, чтобы он даровал мне силы не возненавидеть врага, который всюду меня преследует. Эти мятежи дело его рук.

— Что вы, государыня, ведь он в Нарбонне. Ибо вы, вероятно, говорите о кардинале. И разве вы не слышали криков толпы? Она расположена к вам и враждебна кардиналу.

— Да, мой друг, он в трехстах лье отсюда, но его злоеущий дух витает у этой двери. Если народ кричал, то лишь потому, что он допустил это; если люди собрались, значит, еще не настал час, назначенный им, чтобы погубить их. Верь мне, я хорошо знаю этого человека и дорого заплатила за познание его порочной души; это мне стоило власти, приличествующей моему сану, радостей молодых лет, привязанности семьи и даже сердца супруга; кардинал отдалил меня от всего света; а теперь воздвигает вокруг меня стену уважения и почестей, но было время, когда он осмелился оклеветать меня перед всей Францией; мои бумаги были захвачены, меня подвергли допросу и заставили подписать признание в неведомой мне вине и просить прощения у короля, а в чем — и сама не знаю. Лишь благодаря преданности верного слуги и, быть может, ценою его пожизненного заключения, я сохранила шкатулку, которую ты только что спасла. Вижу по глазам, ты не веришь мне, приписываешь мои слова страху; не обманывай себя, дорогое дитя, как это делает ныне весь двор; да будет тебе известно, что этот человек вездесущ и ему известно все, даже наши помыслы.

— Неужели, государыня, он знает, что кричали люди у нас под окнами, и имена тех, кто их подослал?

— Да, без сомнения, он знал это или предвидел; он допустил, одобрил беспорядки, чтобы погубить меня в глазах короля и навеки разъединить нас; он хочет втоптать меня в грязь.

— Но ведь уже два года, как король разлюбил его: теперь у него другой фаворит.

Королева улыбнулась; она молча вглядывалась в наивные и чистые черты герцогини, в ее ясные глаза, доверчиво устремленные на нее; она откинула черные локоны, скрывавшие прекрасный лоб, и, казалось, отдыхала душой при виде очаровательной невинности, запечатленной на этом красивом лице. Поцеловав Марию в щеку, она продолжала:

— Ты не подозреваешь, мой бедный ангел, одной печальной истины: король никого не любит, и чем милостивее он к фавориту, тем скорее тот попадет в опалу и будет выдан человеку, который все губит, все уничтожает.

— Боже, что вы говорите?

— Знаешь ли ты, скольких фаворитов уже погубил король? — продолжала Анна Австрийская, понизив голос и смотря в глаза Марии, как бы для того, чтобы прочесть ее мысли и внушить свою волю. — Знаешь ли ты, чем они кончили? Слыхала ли ты об изгнании Барада и Сен-Симона, о пострижении мадемуазель де Лафайет, о позоре госпожи д'Отфор, о смерти де Шале, почти ребенка, первого из тех, кто был замучен, изгнан или брошен в тюрьму? Все они исчезли, словно подхваченные порывом ветра, по приказанию, которое Ришелье дал своему властелину; без королевской милости, которую ты принимаешь за дружбу, их жизнь протекла бы мирно; это милость таит в себе смерть, она яд. Взгляни на ковер с изображением Семелы*; фаворитки Людовика Тринадцатого подобны этой женщине: его расположение губительно, как огонь, который слепит, пожирает ее.

Молодая герцогиня уже не слушала королеву; она все еще смотрела на нее своими большими черными глазами, но их застилала пелена слез; пальцы ее дрожали в руках Анны Австрийской, губы судорожно подергивались.

— Я очень жестока, не правда ли, Мария? — спросила королева необычайно мягко, лаская ее, как дитя, у которого хотят выманить признание. — Ну да, конечно, я очень злая, и на сердце у вас очень тяжело; вам немоготу, дитя мое. Ну полно, скажите мне лучше, какие у вас отношения с господином де Сен-Маром?

При этих словах горе Марии прорвалось наружу, и, по-прежнему стоя на коленях у ног королевы, она, в свою очередь, пролила потоки слез на грудь своей доброй повелительницы; юная герцогиня по-детски всхлипывала, а голова ее и прекрасные плечи так сильно вздрагивали, словно сердце у нее разрывалось на части. Королева долго ждала конца этого взрыва отчаяния и баюкала Марию, как бы для того, чтобы утишить ее боль.

— Полно, деточка, полно, не надо так горевать!— повторяла она.

— Я очень виновата перед вами, государыня, но я не знала, что вы так добры! Я была не права и, вероятно, буду жестоко наказана за это! Увы, я не смела обратиться к вам, государыня! Трудно было не открыть вам душу, а признаться, что я нуждаюсь в вашей поддержке.

Королева приложила палец к губам и на мгновение задумалась, видимо, собираясь с мыслями.

— Вы правы,— молвила она наконец,— вы совершенно правы, труднее всего обратиться к нам с первым словом, и это имеет часто роковые последствия. Но ничего не поделаешь, не будь этикета, мы легко могли бы уронить свое достоинство! Как тяжело царствовать! Сегодня я хочу заглянуть в ваше сердце, но вижу, уже поздно что-либо сделать.

Мария Мантуанская опустила голову и ничего не ответила.

— Надо ли помочь вам высказаться?— спросила королева.— Или вы забыли, что я смотрю на вас, как на дочь, что сначала я хотела выдать вас за брата короля, а теперь готовлю для вас польский престол? Разве тебе этого недостаточно, Мария? Хорошо, я сделаю нечто большее ради тебя; и если после этого ты не открось мне своего сердца, значит, я ошиблась в тебе. Отомкни собственноручно эту золотую шкатулку: вот ключ; не бойся, не дрожи, как я.

Герцогиня Мантуанская повиновалась не без колебания и увидела в резной шкатулке кинжал грубой работы с железной рукояткой и сильно заржавленным клинком; он лежал на тщательно сложенных письмах, где можно было прочесть имя «Букингем». Мария хо-

тела приподнять их, но Анна Австрийская удержала ее.

— Не ищи ничего иного, — сказала она, — это и есть сокровище королевы... Да, сокровище, ибо на кишжале кровь человека, которого уже нет в живых, но который жил для меня: он был самый красивый, храбрый и прославленный вельможа в Европе; он украсил себя бриллиантами английской короны, чтобы понравиться мне; он начал кровопролитную войну, вооружил флот и стал во главе него, ради счастья сразиться с тем, кто был моим супругом; он переплыл моря, чтобы поднять цветок, смятый моею погой, и рискнул жизнью, чтобы поцеловать и оросить слезами изголовие этой кровати в присутствии двух придворных дам. И признаться ли тебе? Да, признаюсь, я любила его и люблю теперь больше, чем прежде, больше, чем когда любишь со всем пылом страсти. Он ни о чем не узнал, ни о чем не догадался: мое лицо, мои глаза были холодны, как мрамор, хотя сердце пылало, разрывалось от боли, но я королева Франции... — При этих словах Анна Австрийская крепко сжала руку Марии. — Посмей жаловаться теперь, что ты не решилась заговорить со мной о любви; и посмей молчать после того, как услышала от меня такие признания.

— О да, государыня, я поверю вам свое горе, раз вы для меня...

— Друг, женщина, — прервала ее королева, — я была женщиной в своем недавнем смятении, когда открыла тебе тайну, неведомую никому в мире; я была женщиной, ты это видишь по моей любви, пережившей любимого... Говори, откройся мне, пора, час настал...

— Напротив, уже поздно, — проговорила Мария, сиюсь улыбнуться, — господин де Сен-Мар и я связаны навеки.

— Навеки! — воскликнула королева. — Возможно ли? А ваш сан, ваше имя, будущность, неужели все потеряно? Неужели вы причините такое горе вашему брату, герцогу Ретельскому, и всему дому Гонзаго?

— Я колебалась более четырех лет, но теперь решилась; и вот уже десять дней, как мы обручены...

— Обручены?! — переспросила королева, всплеснув руками. — Вас обманули, Мария. Кто посмел бы обручить вас без согласия короля? Здесь кроются какие-то

козни, и я дознаюсь, в чем дело; уверена, вас завлекли, обманули.

Мария на минуту задумалась.

— Нет ничего естественнее моей привязанности, государыня, — сказала она. — Как вам известно, я жила в старинном замке Шомон, у маркизы д'Эффия, матери господина де Сен-Мара. Я удалилась туда, чтобы оплакивать смерть батюшки, а вскоре и Анри потерял отца. В этой многочисленной осиротелой семье я видела лишь его скорбь, столь же глубокую, как и мою; все, что он говорил, мне уже было знакомо; и когда мы поверили друг другу свои печали, то увидели, что они очень схожи. Меня первую постигло горе, я свыклась с несчастьем и постаралась утешить его, рассказывая о том, что я перестрадала, и, жалея меня, он забывал о себе. Это было началом нашей любви, которая, как видите, родилась между двух могил.

— Дай-то бог, дорогая, чтобы все хорошо кончилось! — сказала королева.

— Надеюсь, государыня, ведь вы молитесь за меня, — продолжала Мария, — к тому же теперь все мне улыбается, но тогда я была так несчастна! Однажды в замок пришла весть, что кардинал требует господина де Сен-Мара в свои войска; мне показалось, что у меня отнимают близкого человека, а между тем мы были чужими. А тут еще господин де Басомьер постоянно говорил о сражениях и смерти; я каждый вечер уходила к себе встревоженная, а по ночам плакала. Сначала мне казалось, что я оплакиваю прошедшее, но вскоре я заметила, что плачу о будущем, и почувствовала, что это уже другие слезы, так как мне хотелось их скрыть. Время шло в ожидании этого отъезда; мы виделись ежедневно, и мне было жаль его, ибо он минутно твердил, что хотел бы вечно жить в родном краю вместе с нами. До самого отъезда у него не было честолюбия, потому что он не знал... не смею признаться вашему величеству...

Мария, краснея и улыбаясь, опустила полные слез глаза...

— Что любим, да? — спросила королева.

— И в тот же вечер, государыня, он уехал, лелея честолюбивые мечты.

— Об этом легко было догадаться. Все же он уехал, — сказала с облегчением Анна Австрийская, —

но вот уже два года, как он здесь, и вы с ним видите?

— Редко, государыня, — ответила молодая герцогиня не без достоинства, — и не иначе как в церкви, в присутствии священника, перед которым я и обещала навеки принадлежать господину де Сен-Мару.

— Разве это бракосочетание? Да и кто осмелился бы совершить его? Я разужаю об этом. Но, боже мой, сколько ошибок, сколько ошибок кроется, дитя мое, в том пемногом, что я от вас услышала! Дайте мне подумать обо всем этом.

И, разговаривая вслух сама с собой, королева задумчиво потупилась.

— Упреки бесполезны и жестоки, если зло совершено: над прошедшим мы уже не властны, подумаем о настоящем, о будущем, — говорила она. — Сен-Мар сам по себе прекрасный юноша — он смел, остроумен и даже глубок в своих суждениях; я следила за ним, он очень преуспел за эти два года, и теперь мне ясно, что это было сделано ради Марии... Он прекрасно держится; он достоин, да, достоин ее в моих глазах, но не в глазах Европы. Ему надо подняться еще выше: принцесса Мантуанская может спизойти разве что к герцогу. Надо, чтобы он стал им. Я тут бессильна, я не королева, а пренебрегаемая королем жена. Власть имеет только кардинал, вечно этот кардинал... но он враг Сен-Мара, и, быть может, нынешний мятеж...

— Увы, мятеж лишь начало войны между ними, это подтвердилось сегодня ночью.

— В таком случае Сен-Мар погиб! — воскликнула королева, обнимая Марию. — Прости, дитя мое, я разрываю тебе сердце, но сегодня мы должны все предвидеть, все высказать друг другу; да, он погиб, если не одолеет этого злодея, потому что король не отступится от Ришелье; одна только сила...

— Он одолеет его, государыня; он сделает это, если вы ему поможете. Вы — добрый гений Франции; заклиная вас, встаньте на защиту ангела против демона; речь идет о вас самих, о королевском доме, о всем вашем народе...

Королева улыбнулась.

— А главное, речь идет о тебе, дочь моя, не так ли? Обещаю сделать для тебя все, что в моей власти; власть

эта невелика, я уже говорила; но она к твоим услугам; только бы этот *ангел* не погряз в смертных грехах,— прибавила она, проникательно взглянув на Марию.— Я слышала сегодня ночью, что имя Сен-Мара выкрикивали голоса, явно недостойные его.

— Готова поклясться, государыня, что он ровно ничего не знал об этом!

— Не будем говорить о государственных делах, дитя мое, ты еще очень несведуща в них; дай мне поспать немного, если удастся, до начала моего туалета; глаза у меня воспалены, да и тебе нужен отдых.

С этими словами добрая королева склонила голову на подушку, под которой лежала ее золотая шкатулка, и Мария вскоре заметила, что она уснула, сломленная усталостью. Тогда герцогиня встала, пересела в квадратное штофное кресло, сложила на коленях руки и задумалась о своем горестном положении; утешенная милостью королевы, своей кроткой заступницы, она часто обращала на нее взор, оберегая ее сон, и втайне благословляла, как благословляет любовь тех, кто ей покровительствует; порой она целовала белокурые локоны спящей, словно молила ее этим поцелуем о снисхождении к своей неотвязной мечте.

Королева спала, а Мария думала и плакала. Однако она вспомнила, что в десять часов ей предстоит явиться перед всем двором, чтобы присутствовать при туалете королевы; она решила отвлечься от горьких дум, осушить свои слезы и взяла со стола, украшенного эмалевыми инкрустациями и медальонами, толстый фолиант: то была «*Астрея*» г-на *д'Юрфе**, произведение *отменной галантности*, приводившее в восторг прекрасных придворных жеманниц. Мария со своим наивным, но здравым умом не могла увлечься этой пасторальной идиллией; она была слишком естественна, чтобы понять пастушков с берегов Линьона, слишком остроумна, чтобы оценить их речи, и слишком страстна, чтобы сочувствовать их нежности. Однако огромная известность этого романа внушала ей такое почтение, что она попыталась заинтересоваться им; мысленно укоряя себя, ибо «*Астрея*» навевала на нее скуку, она нетерпеливо стала искать в книге то, что могло бы ее увлечь, привести в восторг. Взгляд Марии задержался на гравюре, изображавшей Астрею на высоких каблучках, в корсете с огромными *фижмами*; пастушка стояла

на цыпочках, чтобы лучше видеть в реке нежного Селадона, который собирался утопиться с отчаяния, что был холодно принят в то утро. Почувствовав непреодолимое отвращение к этой фальшивой сцене, Мария нетерпеливо перелистала фолиант — она хотела найти хоть слово, которое привлекло бы ее внимание; она увидела слово *друид*. «Вот наконец человек с сильным характером, — подумала она, — я, наверно, встречу здесь одного из тех таинственных жрецов, после которых еще сохранились в Бретани жертвенные камни; я узнаю о том, как они приносили в жертву людей: это будет очень страшно, но все же прочтем».

И Мария прочла, хмурия брови и чуть ли не содрогаясь от отвращения, следующие строки:

Друид Адамас деликатно подозвал к себе пастушков Пимандра, Лигдамонта и Клидаманта, недавно пришедших из Кале; «Это приключение, — сказал он им, — окончится не иначе как величайшей любовью. Дух того, кто любит, превращается в предмет его любви; дабы изобразить вам это, я призову на помощь приятные свои чары и покажу вам в фонтане сем нимфу Сильвию, которую вы любите все трое. Великий жрец Амазис скоро прибудет из Монбризона и объяснит вам всю изысканность этой идеи. Ступайте же, лобезные пастушки; если ваши желания ограничены пределами дозволенного, они не принесут вам мучений; в противном случае вы будете наказаны такими же обмороками, как у Селадона и пастушки Галатеи, которую непостоянный Геркулес покинул в Овернских горах; именем ее и названа нежная страна галлов; или же вас побьют камнями льиьонские пастушки, как это случилось с жестокосердым Амидором. Великая нимфа из этой пещеры прибегла к волшебным чарам и...

Чары великой нимфы оказали неодолимое действие на герцогиню Мантуанскую, у которой едва хватило сил перелистать книгу слабейшей рукой и прочесть, что жрец Адамас лишь *искусная аллегория*, под которой подразумевается генерал-лейтенант *де Монбризон из рода Папонов*; ее усталые глаза закрылись, и толстая книга соскользнула с колен на бархатную подушку под погами, где и нашли успокоение красавица Астрея и галантный Селадон, столь же недвижимые, как Мария Мантуанская, которая уснула глубоким сном, побежденная ими.



Глава XVI

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Много твердости и широты духовной надобно иметь во Франции, чтобы обойтись без должностей и обязанностей и жить дома, ничего не делая. Почти ни у кого нет ни достаточно мужества, дабы с честью играть роль сию, ни достаточно содержания, дабы заполнить пустоту жизни, не прибегая к тому, что люди заурядные называют делами.

Для праздности мудреца не существует, однако, иного, лучшего, названия, и раздумье, беседа, чтение и покой надлежало бы именовать словом работа.

Лабрюйер

В это утро, имевшее столь различные последствия для Гастона Орлеанского и королевы, в скромном кабинете большого дома возле дворца Правосудия царили покой и сосредоточенная тишина. Свет медной готической лампы боролся с нарождающимся днем, и ее красноватый отблеск падал на груды бумаг и книг, покрывавших большой стол; лампа озаряла бюсты Лопиталья, Монтеня, историка и председателя суда де Ту и Людовика XIII; на огромных решетках высокого камина, в котором вполне мог бы уместиться человек, горели толстые поленья. Опершись ногами о решетку, де Ту внимательно изучал, несмотря на ранний час, новые творения Декарта и Гроция, служившие тогда предметом всех разговоров. На коленях у него лежал лист бумаги, и он делал заметки о *«Метафизических размышлениях»*, к которым в эту минуту было приковано его внимание; туренский философ приводил в восхищение молодого советника. Порой от избытка чувств он хлопал рукою по книге, вскрикивал от восторга или же брал тут же стоявший глобус и, долго вращая его, по-

грузжался в глубокое раздумье; затем из глубин науки он возносился мыслью в горние сферы и неожиданно бросался на колени перед стоявшим на камине распятием, ибо на грани человеческого разума обретал бога. В иные минуты он отодвигался в глубь кресла, чуть ли не садился на его спинку и, закрыв глаза руками, старался проследить за рассуждениями Рене Декарта, исходя из первого его размышления:

«Предположим, будто мы грезим, и все наши действия, а именно то, что мы открываем глаза, поворачиваем голову, протягиваем руку, суть лишь обманчивые представления...»

И доходил до величественного вывода третьего размышления:

«Остается сказать лишь одно: подобно понятию о самом себе, понятие о боге родилось, возникло вместе со мной в минуту, когда я был сотворен. И, разумеется, нет ничего странного в том, что, создавая меня, бог вложил в душу мою сие понятие, дабы оно было как бы печатью мастера на его творении».

Молодой советник был всецело поглощен этими мыслями, как вдруг под его окнами раздались громкие крики; подумав, что они вызваны пожаром, он поспешил взглянуть на флигель, где жили его мать и сестры; но там, казалось, все спало, дымок и тот не вился над трубой, что свидетельствовало бы о пробуждении обитателей дома; вознеся хвалу богу, советник де Ту подбежал к другому окну и увидел толпу — ее подвиги нам уже известны, — которая теснилась в узких улочках, ведших к набережной. Посмотрев на беспорядочную сутолоку, на нелепое знамя, за которым шли люди, и на безобразно наряженных мужчин, он подумал: «Верно, это какос-нибудь народное гулянье или карнавальное игрище». И, вновь усевшись у камина, он взял со стола толстый календарь и принялся старательно листать его, отыскивая, какого святого празднуют в этот день. Он нашел против четвертого декабря имя *святой Варвары* и вспомнил о подобии маленьких пушек и зарядных ящиков, которые только что протащили по улице; вполне удовлетворенный собственным объяснением, он поспешно отогнал суетные мысли

и вновь погрузился в столь милые его сердцу занятия, лишь изредка вставая, чтобы взять с полки нужную книгу; и, прочитав строчку, фразу или одно слово, он бросал книгу возле себя на стол или на пол, и без того заваленный бумагами, так как боялся положить их на место и прервать этим нить своих размышлений.

Вдруг дверь отворилась, и слуга доложил о прибытии гостя, которого де Ту, знавший многих лиц в магистратуре, уже давно отличил среди адвокатов.

— По какому счастливому случаю я вижу у себя господина Фурнье в пять часов утра?! — воскликнул он. — Предстоит ли ему защитить обездоленного или поддержать семью бедняка плодами своего таланта? Собирается ли он искоренить среди нас заблуждение или пробудить в сердцах наших добродетель, ибо таковы его обычные деяния? А быть может, сударь, вы пришли сообщить мне о новом унижении нашего парламента? Увы, в наши дни тайные палаты Арсенала могущественнее, чем старинная магистратура времен Хлодвига*; парламент поставлен на колени, и все потеряно, если только он не пополнится, против всякого ожидания, такими людьми, как вы.

— Я не заслуживаю ваших похвал, сударь, — сказал адвокат, входя в сопровождении важного пожилого господина, тоже закутанного в широкий плащ. — Напротив, я заслужил ваше порицание и готов раскаяться в своем поступке, как, впрочем, и граф дю Люд, которого вы видите перед собой. Мы пришли искать у вас убежища на один день.

— Убежища? Но от кого же вы скрываетесь? — спросил де Ту, усаживая гостей.

— От парижской черни. Эти люди желают, чтобы мы были их главарями, а мы спасаемся бегством; они омерзительны: их вид, запах, голоса, обращение корбят нас, — проговорил господин дю Люд с забавной серьезностью. — Это невыносимо!

— Так, так, вы считаете, что это невыносимо, — сказал де Ту, весьма удивленный, но не желая показать этого.

— Право же, говоря между нами, господин де Сен-Мар зашел слишком далеко, — продолжал адвокат.

— Да, он чересчур торопит события и провалит, пожалуй, наше дело, — подтвердил его спутник.

— Так, так! Вы говорите, что он зашел слишком далеко,— повторил, потирая подбородок, де Ту, окончательно сбитый с толку.

Сен-Мар уже три месяца не навещался к нему, но зная, что его друг пользуется благоволением короля и безотлучно находится в Сен-Жермене, советник не очень беспокоился, да и придворные новости всегда доходили до него с опозданием. Увлеченный своими научными занятиями, он узнавал о событиях лишь тогда, когда нельзя было не услышать шума, поднятого вокруг них; он приобщался к светской жизни только в крайности и часто забавлял друзей своим наивным удивлением, тем более что из-за мелкого тщеславия делал вид, будто прекрасно разбирается в общественных делах, и пытался скрыть, что изумлен той или иной новостью. То же повторилось и на этот раз, но к обычной для него самолюбивой гордости примешалось ревнивое чувство: де Ту не хотелось, чтобы Сен-Мара заподозрили в небрежении к нему, и во имя чести своего друга он притворился, что осведомлен о его намерениях.

— Ведь вам известно, в каком положении находятся наши дела?— спросил адвокат.

— Разумеется, но продолжайте, прошу вас.

— Вы так дружны с ним, вам ли не знать, что все было начато год тому назад...

— Конечно... все было начато... но продолжайте... продолжайте...

— Согласитесь, сударь, что господин де Сен-Мар не прав...

— Как сказать... Поясните, пожалуйста, свою мысль, я подумаю...

— Вы ведь знаете с его слов, о чем мы условились на последнем заседании?

— Да, то есть... Извините меня, я запамятовал, подскажите...

— Ни к чему. Вы помните, разумеется, что он посоветовал нам у Марнион Делорм*?

— Никого больше не включать в наш список,— пояснил господин дю Люд.

— Да, да, как же,— сказал де Ту,— по-моему, это разумно, право же, вполне разумно.

— Так вот, он сам нарушил это решение,— продолжал Фурнье,— помимо оборванцев, которых привел

этот плут де Гонди, к нам явился, не далее как сегодня утром, некий бездельник и *бахвал*, тот самый, что, вооружившись кинжалом и шпагой, нападал по ночам на дворян обеих партий. «А, попался, д'Обижу! — кричал он во все горло. — Ты выиграл у меня три тысячи дукатов, получай три удара шпагой! А, попался, Лашапель! Мне нужны десять капель твоей крови взамен моих десяти пистолей!» И я видел собственными глазами, как он сражался с этими господами, да и с другими тоже, правда, по всем правилам, в честном бою, но весьма удачно и с возмутительным хладнокровием.

— Да, сударь, я собирался все высказать ему на чистоту, — заметил дю Люд, — когда он ловко, словно белка, нырнул в толпу, громко пересмеиваясь с какими-то черномазыми людьми; не сомневаюсь, впрочем, что его послал господин де Сен-Мар, недаром он отдавал приказания некоему Амброзио — вы должны его знать, — это испанский пленник, бродяга, которого Сен-Мар взял к себе в услужение. Ей-богу, мне претит все это, я не создан для того, чтобы меня смешивали со всяким сбродом.

— Такие дела, сударь, весьма отличны от того, что произошло в Лудене, — сказал Фурнье. — Там народ лишь возмущался, а не бунтовал по-настоящему; разумная, уважаемая часть населения этого края восстала против убийства, людьми двигало не опьянение, не жажда поживы. Был брошен клич против палача, клич, который мы могли бы подхватить, не теряя своего достоинства; ничто не напоминало воплей мятежного лицемерия, которые испускает этот сброд, вылезший на свет божий из сточных канав Парижа. Признаюсь, подобное зрелище вызывает у меня отвращение, и я просил бы вас поговорить с господином де Сен-Маром.

Де Ту чувствовал себя весьма неловко, слушая эти речи, и напрасно пытался понять, что могло быть общего у Сен-Мара с народом, который, как ему показалось, предавался веселью; с другой стороны, ему по-прежнему не хотелось признаваться в своем неведении, а между тем неведение было полным, ибо в последний раз, когда он виделся с другом, тот говорил лишь о королевских лошадях и конюшнях, о соколиной охоте и о значении обергермейстера в делах государства, словом, о вещах, не имеющих никакого отношения к со-

бытиям, в которых мог бы принять участие народ. Наконец он сказал не без робости:

— Обещаю, господа, исполнить ваше поручение; а пока что предлагаю вам стол и кров на все время, которое вам понадобится. Но сказать вам свое мнение по этому поводу мне, право же, затруднительно. Послушайте, разве сегодня не праздник святой Варвары?

— Святой Варвары?! — повторил Фурнье.

— Святой Варвары?! — повторил дю Люд.

— Да, да, в воздухе пахнет порохом, это и подразумевает господин де Ту, — заметил первый, смеясь. — Ну и потеха! Да и в самом деле сегодня как будто день великомученицы Варвары.

Де Ту, сбитый с толку их удивлением, прикусил язык; пришельцы поняли, со своей стороны, что с ним не столкнуться, и также сочли за лучшее умолкнуть.

Они все еще хранили молчание, когда дверь открылась и в комнату вошел, прихрамывая, аббат Кийе, бывший наставник Сен-Мара. Он казался озабоченным, ни в манерах, ни в речах его не было и тени прежней веселости; только глаза смотрели живо, да говорил он весьма отрывисто.

— Прошу прощения, дорогой де Ту, что спозаранку отрываю вас от занятий; это удивительно, не так ли, со стороны подагрика? Да, время идет, два года назад я не хромал, напротив, отправляясь в Италию, я был весьма прыток; правда, страх придает резвость ногам. — С этими словами он сел у окна и, подозвав к себе де Ту, продолжал шепотом: — Должен вам сказать, мой друг, ведь от вас у них нет секретов, что я обручил их две недели тому назад, — впрочем, они, конечно, сообщили вам об этом.

— В самом деле? — воскликнул несчастный де Ту, чувствуя, что находится между Сциллой и Харибдой.

— Полноте, не притворяйтесь удивленным! Вы прекрасно знаете, о ком я говорю, — возразил аббат. — Но скажу вам, положив руку на сердце, я был слишком снисходителен к ним, хотя эти дети поистине трогательны в своей любви. Я больше опасаясь за него, чем за нее; сдастся мне, он делает глупости, доказательством тому — утренний мятеж. Об этом нам и следовало бы побеседовать.

— Но, клянусь богом, я не знаю, кого вы имеете в виду,— с глубочайшей серьезностью проговорил де Ту.— Кто делает глупости?

— Полноте, голубчик, что вам за охота скрытничать со мной? Это оскорбительно,— сказал старик, начиная сердиться.

— Право же, я не скрытничаю! Но, скажите, кого вы обручили?

— Вы опять за свое! Как вам не стыдно, сударь!

— О каком утреннем мятеже вы говорите?

— Вы положительно издеваетесь надо мной. Я ухожу,— заявил аббат, вставая.

— Клянусь вам, я ни слова не понимаю из всего, что мне сегодня говорят. Вы имеете в виду господина де Сен-Мара?

— Наконец-то, сударь! Уж не принимаете ли вы меня за кардиналиста! В таком случае, прощайте!— сказал аббат Кийе гневно.

Он схватил палку и, прихрамывая, поспешно вышел, не слушая де Ту; тот бежал за ним следом до самой кареты и пытался умиловить, но тщетно, так как не смел назвать своего друга на лестнице, перед слугами, а следовательно, не мог объясниться. Он с горечью увидел, что аббат уезжает, все еще кипя гневом, и крикнул ему вдогонку: «До завтра!»— на что старик даже не ответил.

И все же де Ту не без пользы для себя спустился по лестнице; он увидел отвратительные толпища, возвращавшиеся из Лувра, и понял все значение утренних событий; он услышал грубые голоса, кричавшие с торжеством:

— А королева-то все же показалась! Да здравствует добрый герцог Буйонский! Он едет сюда, во главе ста тысяч солдат. Они плывут по Сене, на плотках. Старый кардинал Ларошель издох! Да здравствует король! Да здравствует господин де Сен-Мар!

Крики стали еще громче, когда перед домом советника остановилась карета, запряженная четверкой лошадей, с лакеями в придворных ливреях. Де Ту узнал выезд Сен-Мара и увидел Амброзио, раздвигавшего широкие занавески, обычные для карет того времени. Толпа окружила экипаж, отгородив его от подъезда, и Сен-Мару стоило немало труда спрыгнуть с поднож-

ки и избавиться от рыночных торговок, во что бы то ни стало желавших его поцеловать.

— Вот и ты, дружок! Приехал, сердечко мое!— кричали они.— Взгляните, до чего пригож наш ангелочек в этом большом воротнике! Он не чета тому старпикашке с седыми усами! Эй, сынок, поднеси-ка нам доброго винца, вроде того, что мы пили утром!

Апри д'Эффия пожал, краснея, руку своего друга, и тот поспешно захлопнул за собой дверь.

— Благосклонность народная — это чаша, которую волей-неволей приходится испить,— сказал д'Эффия, входя в дом за ним следом.

— И мнится мне, вы испили ее до дна,— серьезно ответил де Ту.

— Я все вам объясню немного погодя,— в замешательстве проговорил Сен-Мар.— А теперь, если вы любите меня, наденьте парадный костюм, и едемте во дворец: я должен присутствовать при туалете королевы.

— Я обещал слепо следовать за вами,— сказал советник.— Однако так дольше продолжаться не может, клянусь честью...

— Повторяю, возвратившись от королевы, я все подробно объясню вам. Но поторопитесь, скоро десять часов.

— Я еду с вами,— сказал де Ту, вводя его в кабинет, где находились граф дю Люд и Фурнье. И тут же прошел в другие покои.



Глава XVII

ТУАЛЕТ КОРОЛЕВЫ

Словно спускаясь в пропасть, мы отправляемся на поиски старинных привилегий дворянства, уже одиннадцать веков покрытого пылью, кровью и потом.

Монтескье

Карета обер-шталмейстера быстро катила по направлению к Лувру; Сен-Мар опустил занавески и взял своего друга за руку.

— Дорогой де Ту, — взволнованно сказал он, — я храплю в сердце своем великие тайны, и, поверьте, их тяжесть гнетет меня; но до сих пор две важные причины вынуждали меня молчать: страх подвергнуть вас опасности и — признаться ли вам? — страх перед вашими советами.

— Вам хорошо известно, однако, что я пренебрегаю первыми, но я полагал, что вы не пренебрегаете вторыми.

— И все же я опасался их и продолжаю опасаться: я не хочу, чтобы меня отговаривали. Молчите, друг мой! Ни слова, заклинаю вас, пока вы не увидите и не услышите того, что должно произойти. Из Лувра я отвезу вас домой и, выслушав, уеду, чтобы продолжить свое дело, ибо решимость моя непоколебима, предупреждаю вас; это я сказал и тем господам, которых застал у вас.

В тоне Сен-Мара не было и тени той резкости, которую предполагали эти слова: его голос звучал ласково, глаза смотрели доверчиво, мягко, дружелюбно, выражение лица было спокойное и непреклонное; ничто не говорило о малейшем усилии над собой. Де Ту заметил это и опечалился.

— Горе нам! — воскликнул он, выходя из кареты вместе со своим другом.

И, вздохнув, последовал за ним по парадной лестнице Лувра.

Стражники при дверях во всем черном с булавами черного дерева в руках возвестили об их приезде. Войдя к королеве, друзья увидели ее сидящей перед туалетом. Это был темный деревянный столик с черепаховыми, перламутровыми и медными инкрустациями, сочетание которых создавало множество затейливых узоров, довольно безвкусных, хотя они и сообщали мебели того времени пышность, пленяющую нас и поныне; закругленное кверху зеркало — светские женщины нашли бы его теперь весьма убогим — занимало средину стола, на котором были в беспорядке разбросаны драгоценности и украшения. Анна Австрийская сидела в глубоком кресле, обитом малиновым бархатом с длинной золотой бахромой, и держалась неподвижно, торжественно, словно восседала на троне, а донья Стефания и г-жа де Мотевиль, стоя по обеим сторонам, едва прикасались гребнем к белокурым волосам королевы, как бы для того, чтобы закончить прическу, которая была, однако, вполне закончена и уже перевита жемчугами. Волосы Анны Австрийской поражали своеобразной красотой — они казались мягкими и нежными, как шелк. Ничем не затененный свет падал на лоб королевы, которой не приходилось этого опасаться, ибо ее ослепительно белая кожа соперничала свежестью с утром и лишь выигрывала от яркого освещения; у нее были большие голубые глаза с зеленоватым оттенком и алый рот с чуть выпяченной и раздвоенной, как вишня, нижней губой — характерной особенностью принцесс австрийского дома, которую можно видеть на всех женских портретах той эпохи. Очевидно, желая угодить придворным дамам, художники придавали им сходство с королевой. Черное платье, обязательное тогда при дворе, фасон которого был установлен специальным эдиктом, еще больше подчеркивало белизну ее рук, открытых до локтя и выступавших из пены кружев, украшавших широкие рукава. Великолепные жемчужины висели у нее в ушах, букет крупного жемчуга был приколот к корсажу и спускался до самого пояса. Такова была внешность королевы в то утро. У ее ног играл на двух бархатных подушках четырехлетний мальчик, разбиравший маленькую пушку, — это был дофин, будущий Людовик XIV. Герцогиня Мария

Мантуанская сидела на табурете по правую ее сторону, принцесса де Гемене, герцогиня де Шеврез и госпожи де Монбазон, де Гиз, де Роган и де Вандом — все красивые или сиявшие молодостью, стояли позади. В оконной нише, держа под мышкой шляпу, брат короля тихо беседовал с герцогом Буйонским, рослым, плотным, краснолицым мужчиной, у которого был пристальный, дерзкий взгляд. Стройный офицер лет двадцати пяти только что вручил Гастону Орлеанскому какие-то бумаги, и герцог Буйонский, по-видимому, объяснял собеседнику их содержание.

Поклонившись королеве, которая сказала ему несколько ласковых слов, де Ту подошел к принцессе де Гемене и что-то стал говорить ей вполголоса с ласковой непринужденностью; но во время этой интимной беседы он внимательно наблюдал за всем, что касалось его друга, и, тайне трепеща, как бы судьба Сен-Мара не была вручена недостойной избраннице, присматривался к принцессе Марии испытующим взглядом матери, заботливо выбирающей невесту для своего сына, — он полагал, что герцогиня Мантуанская не чужда замыслам Сен-Мара. Он с неудовольствием заметил, что великолепный убор доставляет Марии гораздо больше суетной радости, чем это надлежало бы в такую минуту. Она то и дело поправляла на лбу и в волосах рубины, блеск и окраска которых не могли соперничать со свежестью ее румянца; она часто посматривала на Сен-Мара, но в этом взгляде сквозило скорее кокетство, нежели любовь, и глаза красавицы постоянно обращались к зеркалу, проверяя, нет ли какого-нибудь изъяна в ее наряде. Эти наблюдения навели советника на мысль, что он ошибся в своих подозрениях, особенно когда он увидел, с какой самолюбивой радостью Мария сидит рядом с королевой, бросая высокомерные взгляды на остальных придворных дам, которые вынуждены стоять позади.

«В сердце девятнадцатилетней особы, — подумал он, — царила бы одна любовь, тем более сегодня, значит... это не она».

После того как оба друга вполголоса обменялись несколькими словами с каждым из присутствующих, королева еле заметно кивнула г-же де Гемене; и по этому знаку все дамы, кроме Марии Гонзаго, как бы сговорившись, молча и с глубокими реверансами вы-

шли из комнаты. Тогда, отодвинув кресло от туалетного столика, королева сказала Гастону Орлеанскому:

— Прощу вас, брат мой, сядьте возле меня. Мы посоветуемся о том, о чем я вам уже говорила. Мария Гонзаго здесь не лишняя, и я попросила ее не уходить. Нечего бояться, что нам помешают.

Королева держалась и говорила теперь более непринужденно; и, отказавшись от своей строгой, церемонной неподвижности, она жестом пригласила всех остальных подойти к ней.

Гастон Орлеанский, несколько обеспокоенный этим торжественным вступлением, лениво уселся по правую ее руку и, небрежно играя своими брыжами и цепочкой ордена Святого духа, которую он носил на шее, сказал с легкой усмешкой:

— Надеюсь, государыня, что мы не станем докучать столь юной особе длинными разговорами; ей гораздо приятнее побеседовать о танцах и замужестве, скажем, о курфюрсте бранденбургском или о польском короле.

Мария сделала пренебрежительную гримаску; Сен-Мар нахмурился.

— Простите меня,— возразила королева, глядя на Марию,— но, уверяю вас, нынешние события ее очень интересуют. Не пытайтесь ускользнуть от нас,— прибавила она, улыбаясь,— сегодня я вас не отпущу! Нам не остается ничего иного, как выслушать герцога Буйонского.

Тот подошел к королеве, держа за руку молодого офицера, о котором мы уже говорили.

— Разрешите, ваше величество,— сказал он,— прежде всего представить вам барона де Бово, только что прибывшего из Испании.

— Из Испании?— взволнованно переспросила королева.— Это очень смело! Вы видели мою семью?

— Барон вам расскажет о ней и о графе-герцоге Оливаресе. А смелости ему не занимать стать; известно ли вам, что он командовал кирасирами графа Суассонского?

— Неужели? Но вы еще так молоды, сударь! Значит, вам правятся политические войны?

— Отнюдь нет, да простит меня ваше величество,— ответил он,— но дело в том, что я служил под знаменами *князей мира*.

Анна Австрийская вспомнила прозвище, принятое победителями при Марфэ, и улыбнулась. Герцог Буйонский решил, что настало время затронуть важный вопрос, не дававший ему покоя; он прервал разговор с Сен-Маром, которому только что горячо пожал руку, и подошел вместе с ним к королеве.

— Не удивительно ли, государыня, — сказал он, — что в наше время еще рождаются люди с сильным характером — такие, как эти! — И он указал на обершталмейстера, на юного Бово и господина де Ту. — В них вся наша надежда; такие люди теперь очень редки, ибо великий нивелировщик прошелся по Франции своей длинной косой.

— Вы говорите о Времени или о реальном человеке? — спросила королева.

— Я говорю о слишком реальном, слишком живом и долго живущем человеке, государыня, — ответил герцог, оживляясь. — Невозможно долее сносить его непомерное честолюбие и чудовищный эгоизм. Все те, у кого бьется в груди подлинно человеческое сердце, возмущены его игом и предвидят яснее, чем когда-либо, какие невзгоды сулит нам будущее. Надо говорить все без утайки, государыня, теперь не время лицемерить: король опасно болен, пора подумать и принять решение, ибо недалек час, когда придется действовать.

Суровый, резкий тон этих слов не удивил Анну Австрийскую, но она привыкла видеть герцога более спокойным, и его тревога передалась ей; отбросив шуточный тон, к которому она прибегла вначале, королева спросила:

— Но скажите, чего вы опасаетесь, что собираетесь делать?

— Я опасаясь не за себя, государыня, ибо я всегда найду убежище в рядах итальянской армии или в Седане; я опасаясь за вас и, пожалуй, за принцев, ваших сыновей.

— За моих сыновей, герцог, за принцев крови? Слышите, брат мой, слышите, что он говорит? И вы не удивлены этим?

Королева с большой тревогой произнесла эти слова.

— Нет, государыня, — ответил Гастон Орлеанский весьма спокойно. — Как вам известно, я привык к преследованиям и жду самого худшего от этого человека; он здесь господин, приходится покоряться...

— Господии!— воскликнула королева.— А от кого он получил свою власть, как не от короля? Когда же короля не станет, кто поддержит его, скажите на милость? Кто помешает ему впасть в ничтожество, из которого он вышел? Не вы и не я, правда?

— Он сам,— вмешался в разговор герцог Буйонский,— ибо он намерен стать регентом, и мне известно, что он замышляет отнять у вас детей и просит короля, чтобы ему передали их на попечение.

— Отнять у меня детей?!— вскричала мать; она невольно схватила дофина и прижала его к себе.

Видя слезы матери, ребенок посмотрел на окружающих его мужчин с необычной для его возраста серьезностью и положил ручку на эфес своей крохотной шпаги.

— Ах, ваше высочество,— проговорил герцог Буйонский, склоняясь к нему, чтобы высказать то, что он хотел внушить королеве,— обнажать шпагу следует не против нас, а против того, кто подрывает основы вашего престола; надо сознаться, он уготовил вам великое могущество; вы будете пользоваться неограниченной властью: но он лишил ваш скипетр его законной опоры. Опора эта — ваше старинное дворянство, а он его истребил. Вы будете велики, я это предвижу, но вокруг вас останутся лишь подданные, а не друзья, ибо дружба немыслима без независимости и известного равенства, порождаемого силой. У ваших предков были преданные им *пэры*, у вас их не будет. И тогда да поможет вам бог, ваше высочество, так как люди окажутся бессильны что-либо сделать без уничтоженных ныне институтов. Будьте велики, а главное, пусть после вас придут столь же великие короли, потому что, если один из них споткнется, монархия рухнет.

Герцог Буйонский говорил с пылом и уверенностью, которые неизменно пленяли тех, кто его слушал. Благодаря присущей ему храбрости и находчивости в сражениях, глубине его политических взглядов, прекрасному знанию европейских дел и характеру, одновременно осмотрительному и энергичному, он был одним из самых выдающихся и влиятельных людей своего времени, единственным, кого, пожалуй, действительно опасался кардинал-герцог. Королева относилась к нему с неизменным доверием и даже подчинялась его

влиянию. На этот раз она была более взволнована, чем когда-либо.

— Дай-то бог, чтобы душа моего сына была открыта вашим речам, а его рука достаточно сильна, чтобы воспользоваться ими! — воскликнула она. — До тех пор я стану прислушиваться к ним и действовать вместо него; мне надлежит быть регентшей, и я ею буду, я откажусь от этого права лишь вместе с жизнью; если придется воевать, что ж, будем воевать! Я готова на все, но не отдам будущего Людовика Четырнадцатого этому некоронованному выскочке, не допущу подобного позора и ужаса! Прошу вас, — продолжала она, краснея и с силой сжимая руку юного дофина, — прошу вас, братец, и всех вас, господа, подайте мне совет. Скажите, что мне делать? Не нужно ли уехать отсюда? Говорите откровенно. Как женщина, как супруга я готова была лить слезы — так мучительно мое положение; но теперь, видите, как мать я не плачу; я готова повелевать вами, если понадобится.

Никогда Анна Австрийская не казалась прекраснее, чем в эту минуту; охватившее ее воодушевление передалось окружающим, и они ждали лишь ее приглашения, чтобы высказаться. Герцог Буйонский бросил быстрый взгляд на Гастона Орлеанского, который решился наконец заговорить.

— Право, если вы станете распоряжаться, сестра моя, — сказал он весьма развязно, — я возьмусь командовать вашей гвардией, клянусь честью! Ибо я тоже сыт по горло преследованиями этого негодяя, который еще смеет препятствовать моему браку; он по-прежнему держит моих друзей в Бастилии и время от времени приказывает их убивать. Кроме того, я возмущен, — продолжал он, спохватившись и с важным видом опуская глаза, — да, возмущен бедственным положением народа.

— Я ловлю вас на слове, — горячо проговорила королева, — иначе с вами ничего не поделаешь, и надеюсь, что вдвоем мы будем достаточно сильны; действуйте по примеру графа Суассонского, а затем переживите свою победу; встаньте на мою сторону, как вы встали на сторону господина де Монморанси, но перескочите через ров.

Гастон понял намек на свой хорошо известный поступок. Когда после битвы при Каастельнодари злопо-

лучный мятежник почти в одиночестве перепрыгнул широкий ров, по ту сторону которого его ожидали семнадцать рап, тюрьма и смерть, Гастон Орлеанский, стоявший во главе своей армии, не двинулся с места. Королева так быстро произнесла эти слова, что он не успел заметить, говорила ли она между прочим или с намерением уколоть его; как бы то ни было, он счел за благо не принимать вызова, да и королева воспрепятствовала этому, так как она продолжала, обратившись к Сен-Мару:

— Но, главное, не надо поддаваться пустым страхам; хорошенько разберемся в нашем положении. Господин обер-шталмейстер, вы только что от короля, имеются ли серьезные основания опасаться за его жизнь?

Д'Эффия не переставая наблюдал за Марией Мантуанской, на подвижном лице которой он читал все мысли столь же быстро и точно, как если бы она облекла их в слова; он понял, что она велит ему высказаться и побудить к действию Гастона Орлеанского и королеву; нетерпеливым движением ножки она приказала ему покончить с колебаниями и приступить к действию. Лицо Сен-Мара приняло сосредоточенное выражение и побледнело; он на минуту задумался, чувствуя, что на карту поставлена его судьба. Де Ту взглянул на своего друга и содрогнулся, ибо хорошо знал его; он хотел что-то сказать, хотя бы одно слово, но Сен-Мар уже поднял голову и заговорил:

— Я не думаю, государыня, чтобы король был так болен, как вам, вероятно, говорили; господь еще долго сохранит нам жизнь его величества, я надеюсь, я даже уверен в этом. Он страдает, это правда, он очень страдает, но больна прежде всего его душа: она поражена недугом неисцелимым, которого не пожелаешь своему злейшему врагу, и весь мир оплакал бы участь короля, если бы знал об этом. Однако конец горестям, иначе говоря, жизни, еще не скоро будет ему дарован. Терзается он только духовно, сердце его объято великим смятением; он хочет и не может сделать решительный шаг; долгие годы зрели в нем семена справедливой ненависти к одному человеку, с которым он связан, мнится ему, долгом олагодарности, и эта внутренняя

борьба между добротой и гневом сдает его. Каждый год преумножает, с одной стороны, заслуги этого человека, а с другой — его преступления. Порой чашу весов перевешивают преступления; король замечает это и негодует, он хочет покарать, но вдруг останавливается и заранее льет слезы. Если бы вы видели его в такую минуту, государыня, он возбудил бы вашу жалость. Не раз брался он при мне за перо, чтобы отдать приказ об изгнании этого человека, поспешно обмакивал перо в чернила — и что же? — писал ему поздравительное письмо. Поступив таким образом, он гордится своим христианским милосердием, проклинает себя как верховного судью, презирает себя как монарха; он ищет прибежище в молитве и погружается в размышления о будущей жизни, но вдруг в ужасе вскакивает, потому что видит адский огонь, уготованный этому человеку, и знает лучше, чем кто-либо, тайну его проклятия. Надо слышать тогда, как он обвиняет себя в преступной слабости, восклицая, что сам будет наказан за то, что не сумел покарать! Можно подумать порой, будто какие-то призраки велят ему нанести удар, ибо рука его поднимается даже во сне. Словом, государыня, в душе короля бушует гроза, но она сжигает лишь его самого. Ни одна вспышка не вырывается наружу.

— Так пусть же грозе помогут разразиться! — воскликнул герцог Буйонский.

— Тот, кто это сделает, может погибнуть, — заметил Гастон Орлеанский.

— Как прекрасно было бы такое самоотвержение! — сказала королева.

— Как бы я восхищалась им! — вполголоса молвила Мария.

— Я сделаю это, — сказал Сен-Мар.

— Мы сделаем это, — шепнул ему де Ту.

Между тем юный Бово приблизился к герцогу Буйонскому.

— Вы забываете о последствиях, сударь, — проговорил он.

— Нет, черт возьми, я помню о них! — ответил тот, понизив голос, и, обратившись к королеве, добавил: — Примите предложение господина обер-шталмейстера,

государыня, ему легче, чем нам с вами, склонить короля к решительным действиям; но будьте готовы ко всему: кардинал хитер, он не дремлет. Я не верю его болезни, не верю его молчанию и бездействию, хотя он уже два года не подает признаков жизни; я не поверю даже его смерти, пока не брошу его голову в море, как была брошена голова великана у Ариосто. Будьте готовы ко всему, и ни минуты промедления. Я сообщил свои планы его высочеству, а теперь вкратце изложу их вам: я предлагаю вам Седан, государыня, он послужит убежищем для вас и для принцев, ваших сыновей. Итальянская армия в моих руках; я призыву ее, если понадобится. Половина перпиньянского лагеря состоит из приверженцев господина обер-шталмейстера; все старые гугеноты, находящиеся в Ларошели и на юге Франции, готовы по первому знаку прийти к нему на помощь; уже год, как все налажено благодаря моим стараниям и в предвидении грядущих событий.

— Я без колебаний вручу вам свою судьбу, чтобы спасти детей моих, если с королем случится несчастье. Но в этом обширном плане вы забываете о Париже.

— Париж целиком наш, государыня; простым народом мы владеем через архиепископа, который даже не подозревает этого, и через всеобщего любимца, господина де Бофора; войска примкнут к вашей гвардии и к гвардии его высочества, а он, если пожелает, возьмет на себя верховное командование.

— Я?! Но это немыслимо! У меня слишком мало солдат, да и убежище мне требуется понадежнее Седана,— заявил Гастон.

— Королева, однако, довольствуется Седаном,— заметил герцог Буйонский.

— Пусть так, но ведь моя сестра не подвергается такой опасности, как поднявший меч мужчина. Понимаете ли вы, что наша затея весьма рискованна?

— Как! Даже имея на своей стороне короля?— спросила Анна Австрийская.

— Да, государыня, да; ведь неизвестно, сколько времени все это продлится; необходимо принять меры предосторожности, и я ничего не намерен делать до заключения договора с Испанией.

— В таком случае, не делайте ничего,— проговорила королева, краснея,— ибо я, разумеется, и слышать не хочу о договоре.

— Это самый разумный выход, государыня, его высочество прав, — сказал герцог Буйонский. — Граф-герцог де Сан-Лукар предлагает нам семнадцать тысяч хорошо обученных солдат и пятьсот тысяч экипированных налицы.

— Как?! — удивленно воскликнула королева. — Вы посмели сделать такой шаг без моего ведома! Соглашение с иностранной державой?!

— С иностранной державой, сестра моя! Кто бы мог подумать, что испанская принцесса употребит это слово? — возразил Гастон.

Анна Австрийская поднялась, взяла за руку дофина и, опершись на Марию, сказала:

— Да, ваше высочество, я испанка, но я внучка Карла Пятого, и мне известно, что отечество королевы там, где находится ее трон. Я покидаю вас, господа, продолжайте без меня; отныне я ничего не желаю знать об этом.

Королева направилась к выходу, но, увидев испуганное, заплаканное лицо Марии, вернулась.

— Я торжественно обещаю, однако, нерушимо хранить эту тайну — ничего болес.

Все были немного смущены, за исключением герцога Буйонского, который решил с честью выйти из положения.

— Мы благодарны вам за это обещание, государыня, — промолвил он, почтительно склоняясь перед королевой, — и большего не просим, ибо уверены, что после победы вы полностью будете на нашей стороне.

Королева не пожелала вступать в пререкания, она сухо поклонилась и вышла вместе с Марией, бросившей на Сеп-Мара один из тех взглядов, в которых отражаются одновременно все движения души. Он прочел в этих прекрасных глазах вечную и горестную преданность женщины, навсегда отдавшей свое сердце, и понял, что счел бы себя последним из людей, если бы вздумал отступить от своего намерения.

— Так, так, так... Что я вам говорил, герцог, вот вы и разгневали королеву, — сказал Гастон Орлеанский, едва только Анна Австрийская и Мария удалились. — Вы слишком далеко зашли. Но уж сегодня-то никто не обвинит меня в малодушии, напротив, я выказал больше решимости, чем следовало.

— Я безмерно счастлив и преисполнен благодар-

ности к ее величеству, — ответил герцог Буйонский победоносно. — Отныне будущее в наших руках. Что же вы намерены предпринять, господин де Сен-Мар.

— Я уже говорил вам, ваша светлость, что никогда не отступаю; каковы бы ни были для меня последствия этой встречи, я повидаяюсь с королем и всем рискну, чтобы добиться его приказаний.

— А договор с Испанией?

— Да, я его...

Де Ту схватил за руку Сен-Мара и, неожиданно выступив вперед, сказал торжественно:

— Мы решили, что договор будет подписан лишь после свиданья с королем; если справедливый гнев его величества против кардинала избавит вас от этого, будет лучше, подумали мы, не подвергаться столь великой опасности, ведь договор могут обнаружить.

Герцог Буйонский нахмурился.

— Если бы я не знал господина де Ту, — сказал он, — то принял бы это за слабость, но с его стороны...

— Клянусь честью, сударь, — проговорил советник, — я поступлю так же, как господин обер-шталмейстер, — мы с ним во всем единодушны.

Сен-Мар взглянул на своего друга и не без удивления увидел на его добром лице выражение мрачного отчаяния; он был так поражен этим, что не нашел в себе силы ему прекословить.

— Де Ту прав, господа, — заявил он с холодной, но любезной улыбкой, — король убережет нас, быть может, от многих неприятностей; с ним мы очень сильны. Впрочем, ваше высочество, и вы, ваша светлость, не думайте, что я могу отступить, — сказал он с непоколебимой решимостью. — Я сжег за собой все мосты и должен идти вперед; кардинал падет, или я не сношу головы.

— Странно, весьма странно! — сказал Гастон Орлеанский. — Мнится мне, что дело с заговором зашло гораздо дальше, чем я полагал.

— Отнюдь нет, ваше высочество, — ответил герцог Буйонский, — все зависит от вашей доброй воли. Заметьте, ничто не содеяно, и стоит вам сказать лишь слово, чтобы заговор рассеялся, как дым, или превратился в огнедышащий вулкан.

— Превосходно, превосходно, я доволен, раз дело

обстоит именно так,— заметил Гастон.— Займемся же вещами более приятными. Слава богу, у нас еще есть время; но, признаюсь, я желал бы, чтобы все уже было позади; я не создан для сильных волнений — они вредят моему здоровью,— прибавил он, беря под руку господина де Бово.— Скажите лучше, молодой человек: испанки хороши по-прежнему? Вы слывете изрядным любезником. Воображаю, сколько о вас там говорят. Я слышал, в Испании носят огромные фижмы? Я вовсе не противник такой моды. Ей-богу, ножка кажется от этого меньше и изящнее; уверен, что супруга дона Луиса де Аро менее прекрасна, чем госпожа де Гемене, не так ли? Полноте, будьте откровенны, я слышал, что она похожа на монашенку... Аа!.. вы не отвечаете, вы смущены... она приглянулась вам... или вы боитесь оскорбить нашего друга де Ту, сравнив ее с красавицей Гемене. Ну, тогда поговорим об обычаях; у короля* есть очаровательный карлик, правда? Он так мал, что умещается в пироге. И счастливец же испанский король! Как я ни искал, не мог найти такого карлика! А королева? Ей все так же прислуживают на коленях? Что за превосходный обычай, мы забыли его. Как это обидно, обиднее быть не может!

У Гастона Орлеанского хватило духа около получаса разговаривать в этом тоне с молодым человеком, слишком серьезным для столь легкомысленной болтовни; находясь под впечатлением важной сцены, разыгравшейся у него на глазах, и крупных интересов, поставленных на карту, барон де Бово ничего не отвечал на этот поток праздных слов и лишь удивленно поглядывал на герцога Буйонского, словно вопрошая, действительно ли брата короля прочат в руководители одного из самых дерзких предприятий, какие известны в истории, а его высочество, не желая замечать, что его речи остаются без ответа, сам себе отвечал и говорил без умолку, расхаживая по комнате и увлекая за собой собеседника. Гастон Орлеанский боялся, что кто-нибудь из присутствующих возобновит страшный разговор о договоре, но это никого не прельщало, разве только герцога Буйонского, который хранил, однако, недовольное молчание. Что касается Сен-Мара, то советник де Ту увлекал его с собой, и они ретировались, пользуясь тем, что Гастон Орлеанский увлекся болтовней и, видимо, даже не заметил их ухода.



Глава XVIII

ТАЙНА

И наши имена для дружбы беспримерной,
Навек соединясь, пребудут мерой верной.

А. Суме «Клитемистра»

Де Ту находился у себя дома, двери спальни были тщательно заперты, и отдан приказ никого не принимать и извиниться перед двумя гостями, если хозяин не успеет с ними проститься, а друзья все еще не обменялись ни единым словом.

Советник упал в кресло и погрузился в глубокое раздумье. Сен-Мар, сидя под сводами высокого камина, ожидал с серьезным и грустным видом, когда друг нарушит это тягостное молчание. Наконец де Ту пристально взглянул на него и, скрестив руки на груди, сказал:

— Так вот до чего вы дошли! Вот каковы плоды вашего честолюбия! Вы добиваетесь изгнания, а быть может, смерти человека и вторжения во Францию чужеземной армии; итак, мне суждено видеть вас убийцей и предателем родины! Что привело вас к этому? Почему вы так низко пали?

— Никому другому, кроме вас, не пришлось бы повторять этих слов дважды, — холодно промолвил Сен-Мар, — но я знаю вас и рад этому объяснению; я желал его и сам его вызвал. Сегодня я открою вам свою душу, я так хочу. Сперва у меня было другое намерение, намерение, вероятно, более благородное, более достойное нашей дружбы, дружбы вообще... ведь дружба — второе по святости чувство на земле. — При этих словах он поднял глаза к небу, как бы ища там это божество. — Да, так было бы лучше. Я ничего не хотел вам говорить; мне было трудно, но я пересиливал себя. Я решил всего достичь без вас и открыться вам, когда дело будет завершено; я решил уберечь вас от грозящих мне опасностей. Признаться ли в своей слабости? Я боюсь умереть непонятым вами — если мне суждено умереть;

я готов примириться с проклятием всего мира, но мне тягостна мысль о вашем проклятии; вот я и решил вам все рассказать.

— Что я слышу? И у вас хватило бы мужества таиться от меня до конца? Зачем вы так печетесь о моей судьбе, дорогой Анри? Чем я провинился перед вами, что должен пережить вас, если вы умрете? Как достало у вас сил обманывать меня целых два года?! Вы показывали мне лишь внешнюю сторону своей жизни, вы неизменно входили в мою уединенную обитель с улыбкой на устах и всякий раз в ореоле новой королевской милости!

— Не ищите в моей душе того, чего в ней нет. Да, я обманывал вас, но находил в этом свою единственную мирную радость. Простите, если я урывал эти минуты у своей судьбы — увы! — столь блестящей. Я радовался счастью, которое вы мне приписывали, я скрашивал вашу жизнь этой грезой; а сегодня я виновен лишь в том, что разрушаю ее, показывая себя таким, каков я есть. Выслушайте меня, я буду краток: история любящего сердца всегда проста. Уже однажды — это случилось, помнится, в походной палатке, где я лежал раненый, — я едва не выдал своей тайны... Однако к чему послужили бы мне ваши советы? Я все равно не послушал бы их. Знайте же, я люблю Марию Гонзаго.

— Как?! Будущую польскую королеву?

— Если она и станет королевой, то лишь после моей смерти. Поймите, ради нее я стал придворным; ради нее я почти царил во Франции; ради нее я гибну и, быть может, умру.

— Погибнуть! Умереть! А я-то ставил вам в вину ваше торжество и оплакивал горечь вашей победы!

— Плохо же вы меня знаете, если могли поверить, что я был обманут улыбкой Фортуны, что я не предвидел ожидающей меня участи. Я борюсь со своим роком, но, чувствую, он меня одолевает; я взвалил на себя непосильную ношу и паду под ее тяжестью.

— Но что же мешает вам остановиться?

— Да ни к чему, он помогает разве только погубить себя, зная, во имя чего ты гибнешь, и рассчитать день, когда ты сложишь голову. Словом, отступать уже поздно. Если имеешь дело с таким врагом, как Ришелье, надо либо свергнуть его, либо умереть. Завтра я нанесу последний удар, ведь только что я обязался сделать это!

— Вот против этого-то обязательства я и возражаю. Можете ли вы доверять тем, ради кого жертвуете жизнью? Разве вы не поняли их сокровенных мыслей?

— Я знаю все их мысли до единой; за притворным гневом этих людей я прочел их тайные надежды; я знаю, что они трепещут, угрожая; я знаю, что они готовы пойти на мировую, выдав меня в залог своего раскаяния; но я должен поддержать их и склонить на свою сторону короля! Это необходимо, ибо Мария моя невеста, а в Нарбонне мне предрекли смерть.

Вполне добровольно, зная до конца, что меня ожидает, я поставил себя между эшафотом и высшим блаженством. Надо вырвать свое счастье из рук Фортуны или умереть. Я наслаждаюсь в эту минуту сознанием, что мне удалось покончить с сомнениями. Как, неужто вы не краснеете при мысли, что приписали мне честолюбивые помыслы, подумали, что мною руководит, как и кардиналом, мелкое тщеславие, что я честолюбив из-за ребяческой жажды власти, которая никогда не находит удовлетворения? Да, я честолюбив, но лишь потому, что люблю. Я люблю, и этим все сказано. Но я напрасно обвиняю вас: вы приукрасили мои тайные мысли, приписали мне благородные побуждения (я не забыл этого), возвышенные политические идеи, они прекрасны, они велики, не спорю; но поймите меня, туманные проекты о преобразовании развращенного общества — ничто по сравнению с самоотверженностью любви. Когда вся душа ликует, объята единственной мыслью, в ней не остается места для самых прекрасных намерений, даже подсказанных общественным благом; ибо высочайшие земные вершины не достигают неба.

Де Ту опустил голову.

— Что вам ответить? — молвил он. — Я вас не понимаю, вы утверждаете хаос, взвешиваете любовный пламень, множите заблуждения.

— И этот внутренний огонь не только не ослабил меня, — продолжал Сен-Мар, — он удесятерил мои силы; вы говорите, что я все рассчитал; медленно приближался я к цели и почти достиг ее. Мария вела меня за руку, мог ли я отступить? Я не отступил бы перед целым светом. До сих пор все шло хорошо, но на пути моем стоит незримая преграда; эта преграда — Ри-

шелье, надо сокрушить его. Я только что решился на это в вашем присутствии; быть может, я слишком поспешил? Пожалуй, так оно и есть. Пусть же торжествует кардинал — он подстерегал меня. Он предвидел, конечно, что терпение потеряет тот, кто моложе; видимо, он рассчитывал на это и сделал правильную ставку. Но если бы страсть не торопила меня, я был бы сильнее его, несмотря на свою добродетель.

При этих словах Сен-Мар внезапно изменился в лице, он покраснел, затем побледнел, жилы на его лбу вздулись и стали похожи на голубые линии, проведенные невидимой рукой.

— Да, — продолжал он, вскакивая и ломая руки с силой, свидетельствовавшей об отчаянии, которое разрывало ему сердце, — да, я ношу в груди все муки, которые любовь уготовала жертвам своим. Юная дева, ради которой я потряс бы империи, ради которой я все претерпел, вплоть до милостей короля (а она, верно, и не почувствовала всего, что я сделал для нее), еще не может быть моею. Она принадлежит мне перед богом, но в глазах людей я ей чужой; хуже того, каждый день в моем присутствии ведутся разговоры о том, который из европейских тронов ей подобаает занять, я же не смею возвысить голос и сказать свое слово, ибо никому и в голову не приходит считать меня равным Марии, ведь ее руки не достаиваются иные принцы крови, стоящие много выше меня. Я прячусь, как преступник, дабы услышать сквозь решетку голос той, которая предназначена мне в жены; на людях я должен склоняться перед ней! Кто я? Ее супруг и возлюбленный под покровом тайны, ее слуга при свете дня. Это невыносимо! Я не могу так жить; надо сделать последний шаг, который либо вознесет меня, либо низвергнет.

— И ради личного счастья вы хотите ввергнуть в хаос государство!

— Благополучие государства согласуется с моим счастьем. Я способствую ему, уничтожая тирана короля. Омерзение, которое внушает мне этот человек, вошло в мою плоть и кровь. Отправляясь к нему на службу, я столкнулся с тяжчайшим преступлением — с истязанием и убийством Урбена Грандье; кардинал — злой гений несчастного короля, и я обезврежу его. Я мог бы стать добрым гением Людовика Тринадцатого; мысль эта принадлежит Марии, и это ее благо-

роднейшая мысль. Но, мнится мне, я не одержу победы над истерзанной душою короля.

— На что же вы рассчитываете? — спросил де Ту.

— На удачу. Если король в течение нескольких часов не нарушит своего слова, я выиграл; на этом единственном расчете и зиждется моя судьба.

— И судьба вашей Марии?!

— Что вы, помилуйте! — горячо возразил Сен-Мар. — Нет, нет, если он предаст меня, я подпишу договор с Испанией и начну войну.

— Какой ужас! — воскликнул советник. — Междоусобная война и союз с чужеземцами!

— Да, это преступление, — холодно молвил Сен-Мар, — но разве я вас просил принимать в нем участие?

— Жестокосердный, неблагодарный! — вскричал его друг. — Как поворачивается у вас язык так говорить со мной? Разве вы не знаете, разве я не доказал вам, что дружба для меня выше всех остальных чувств? Могу ли я пережить, не говоря уже о вашей смерти, малейшее ваше несчастье? Но позвольте мне умиловать вас — не губите Францию! О мой друг, мой единственный друг! На коленях молю вас, не надо преступлений, пощадим нашу отчизну! Я говорю «мы», ибо всегда буду действовать заодно с вами; не лишайте меня самоуважения, ради которого я столько трудился, не оскверняйте мою жизнь и мою смерть.

Де Ту упал на колени перед своим другом, а тот, отбросив напускную холодность, поднял его и, прижав к груди, проговорил сдавленным голосом:

— Зачем вы так горячо любите меня? Что вы делаете, друг? Зачем любить меня? Вы мудры, чисты, добродетельны; вам неведомы ни безрассудная страсть, ни жажда мщения; ваша душа вскормлена лишь религией и наукой, так зачем же любить меня? Что вам принесла моя дружба? Ничего, кроме тревоги и огорчения. Неужто вы еще подвергнетесь опасности из-за нее? Отстранитесь от меня — наши пути разошлись; вы видите, пребывание при дворе растлило меня: я утерял свое былое чистосердечие, свою былую доброту, я замышляю гибель человека и научился обманывать друга. Забудьте меня, пренебрегите мною: я уже не стою ваших помыслов, могу ли я подвергнуть вас опасности?

— Да, можете, если поклянетесь не предавать короля и Францию, — сказал де Ту. — Известно ли вам,

что речь идет о разделе вашей родины? Известно ли вам, что Франция никогда не получит обратно отданных вами городов? Известно ли вам, что имя ваше будет внушать омерзение потомкам? Известно ли вам, что французские матери будут проклинять его, когда им придется обучать своих детей языку чужеземцев? Известно ли вам все это? Идемте.

И он увлек его к бюсту Людовика XIII.

— Поклянитесь перед ним (ведь он тоже ваш друг!), поклянитесь никогда не подписывать этого постыдного договора.

Сен-Мар опустил глаза и ответил с непреодолимым упорством, хотя и покраснев:

— Я вам сказал: если меня принудят, я подпишу.

Де Ту побледнел и выпустил его руку; в полном отчаянии он дважды прошелся по комнате, скрестив руки. Затем он торжественно приблизился к бюсту своего отца и открыл большую книгу, лежавшую у постамента; он отыскал заложенную страницу и прочел вслух:

Я полагаю, следовательно, что г-н де Линьебеф был справедливо приговорен к смерти руанским парламентом за то, что не выдал заговора Катевилля против государства.

Благоговейно держа в руках открытую книгу и созерцая бюст председателя суда де Ту, чьи Мемуары он только что читал, советник промолвил:

— Да, отец мой, вы правильно рассудили, я совершу преступление и заслужу смерть, но могу ли я поступить иначе? Я не выдам этого предателя, потому что это было бы тоже предательством — он мой друг и несчастен. — Затем он подошел к Сен-Мару, снова взял его за руку и сказал: — Как видите, я много сделал для вас, сударь, но не ждите от меня ничего более, если вы подпишете этот договор.

Сен-Мар был взволнован до глубины души этой сценой: он чувствовал, как сильно должен страдать друг, отталкивая его. Он сдержал, однако, намернувшиеся на глаза слезы и ответил, обнимая его:

— Ах, де Ту, вы, как всегда, безупречны; да, вы оказываете мне услугу, отдаляясь от меня; если бы наши судьбы были связаны, я не смел бы располагать своей жизнью и не решился бы жертвовать ею в случае необходимости; но теперь я принесу ее в жертву; и, повторяю вам, если меня принудят к этому, подпишу договор с Испанией.



Глава XIX

ОХОТА

Надобно возблагодарить свою звезду, если тебе случится уйти от людей, не причинив им зла и не став их недругом.

Ш Нодье «Жан Сбогар»

Между тем болезнь Людовика XIII повергала Францию в смятение, неизменно охватывающее слабые государства при близкой кончине монарха. Хотя Ришелье и был центром монархии, он правил лишь именем Людовика XIII и как бы окруженный ореолом этого имени, которое он возвеличил. Имея неограниченную власть над своим господином, он все же страшился его; и этот страх успокаивал народ, ибо король служил незыблемой преградой честолюбивым замыслам министра. Но как поступит этот надменный министр после смерти монарха? Существует ли предел для того, кто ни перед чем не останавливался? Он так привык к скипетру, что, пожалуй, и впредь будет владеть им и подписывать своим именем законы, которые самовластно издаст. Эти опасения волновали все умы. Народ напрасно искал среди дворянства тех колоссов, к защите которых он привык прибегать во время политических бурь, — он видел лишь их свежие могилы; парламенты безмолвствовали, и чувствовалось, — ничто не воспрепятствует чудовищному росту этой самозванной власти. Никто не поверил притворной болезни министра, никого не трогала его мнимая агония, слишком часто обманывавшая всеобщие надежды, и то, что Ришелье удалился от дел, не мешало чувствовать повсюду тяжелую десницу кровавого выскочки.

Да и в сердце народа пробуждалась любовь к сыну Генриха IV; люди спешили в церкви, молились, и многие плакали. Несчастные монархи всегда любимы. Грусть Людовика XIII, его таинственный недуг занимали всю Францию, подданные заживо оплакивали ко-

роля, и каждому хотелось услышать его исповедь прежде, нежели он унесет с собой великую тайну страдальцев, поставленных так высоко, что они видят перед собой лишь собственные могилы.

Желая успокоить народ, король объявил о временном улучшении своего здоровья и пожелал, чтобы двор принял участие в большой охоте, которую он собирался устроить в королевском замке Шамбор, куда просил его прибыть герцог Орлеанский.

Это прекрасное владение было любимым местопребыванием короля, очевидно, потому, что оно соответствовало его характеру, сочетавшему в себе величие и грусть. Нередко он проводил там целые месяцы, не видя ни единой души, читал какие-то таинственные бумаги, что-то писал и запирали написанное в железный сундук, секрет которого был известен ему одному. Порой ему нравилось пользоваться услугами лишь одного камердинера, забывая, благодаря отсутствию свиты, о своем высоком сане, жить несколько дней жизнью бедняка или изгнанника, с удовольствием рисуя себе нищету и гонения, дабы отдохнуть от королевской власти. Потом он неожиданно менял намерение и замыкался в полном одиночестве; запретив являться к себе на глаза кому бы то ни было, он облачался в одеяние монаха и спешил укрыться в часовне; там он перечитывал жизнеописание Карла Пятого и, вообразив себя в монастыре св. Юста, служил по себе заупокойную обедню*, которая, по преданию, навлекла смерть на испанского императора. Но и среди песнопений и дум в его слабой голове проносились противоречивые образы. Никогда мир и жизнь не казались ему прекраснее, чем в одиночестве и вблизи могилы. Он видел не страницы книги, которую принуждал себя читать, а блестящие процессии, победоносные армии, народы, преисполненные любви; он мнил себя могущественным, воинственным, непобедимым, обожаемым; а если во время молитвы солнечный луч падал на него сквозь витраж, он вдруг поднимался с колен у подножия алтаря, движимый жаждой света и простора, которая гнала его прочь от этих мрачных и душных мест; но, вернувшись к жизни, он вновь ощущал отвращение и скуку, ибо первые же встречные напоминали ему своими почестями о королевском могуществе. Тогда он вспоминал о дружбе и призывал ее к себе; но стоило

ему убедиться в подлинности этого чувства, как великое сомнение овладевало его душой: он опасался, как бы слишком сильная привязанность к созданию божьему не отвлекла его от поклонения самому творцу, а чаще всего втайне упрекал себя за пренебрежение к делам государства; предмет его временного увлечения представлялся ему тогда существом деспотическим, из-за которого он забывает о королевских обязанностях; он создавал себе воображаемые узы и втайне жаловался, что его угнетают; но, на несчастье своих фаворитов, он был слишком слаб, чтобы проявить неудовольствие гневной вспышкой, которая послужила бы им предупреждением; и, продолжая осыпать их милостями, он лишь разжигал свою тайную неприязнь и доводил ее до ненависти; порой он был способен на все против своих фаворитов.

Сен-Мару была прекрасно известна слабость этого рассудка, который не оставался верен ни одному решению, и пустота этого сердца, которое не могло ни любить, ни ненавидеть по-настоящему; вот почему положение фаворита, вызывавшее зависть всей Франции и ревность первого министра, было столь неустойчиво и столь мучительно, что, если бы не его любовь к Марии, он разорвал бы свои золотые цепи с большей радостью, нежели радость каторжника, видящего, как падают оковы, которые он распиливал в течение двух лет. Нетерпеливое желание покончить с неизвестностью и узнать свою судьбу побудило Сен-Мара ускорить взрыв этой исподволь подведенной мины, как он признался своему другу; ведь он был в положении человека, который, стоя перед открытой книгой жизни, постоянно видит руку, готовую начертать в ней приговор или помилование. Итак, он отправился с Людовиком XIII в Шамбор, исполненный решимости воспользоваться первым же случаем, благоприятствующим его намерениям. Этот случай не замедлил представиться.

Утром того самого дня, когда была назначена охота, король прислал сказать Сен-Мару, что ждет его на лестнице Лилии; будет, пожалуй, бесполезно рассказать об этом удивительном сооружении.

В четырех лье от Блуа и в часе пути от Луары, в небольшой лощине, между топкими болотами и лесом вековых дубов, вдали от всяких дорог, неожиданно предстает перед путником королевский или, точнее,

сказочный замок. Можно подумать, что с помощью волшебной лампы некий чародей Востока похитил его в одну из тысячи одной ночи из солнечного края и перенес в страну туманов, ради любовных утех прекрасного принца. Этот дворец спрятан, как сокровище; при виде его голубых куполов, изящных круглых башен, венчающих широкие стены или, как стрелы, устремляющихся ввысь, его террас, господствующих над окрестностями, тонких шпилей, колеблемых ветром, скрещенных полумесяцев, высеченных над колонадами, можно было бы подумать, что находишься в Багдадском или Кашмирском царстве, если бы почерневшие стены, поросшие мхом или покрытые завесой плюща, и бледно-голубое печальное небо не изобличали дождливого климата. Это здание действительно воздвиг чародей, но прибыл он из Италии, и звали его Приматиччо; здесь действительно скрывался для любовных утех прекрасный принц, но он был королем и носил имя Франциска I. Королевская саламандра сверкает тут повсюду: ее изображение без конца множится на сводах, разбрасывая искры, подобные звездам в небе, она поддерживает капители своей пылающей короной; она окрашивает витражи отблеском своего огня; она извивается по потайным лестницам и всюду как бы пожирает горящим взглядом тройной полумесяц таинственной Дианы, Дианы де Пуатье*, дважды богини, дважды обожаемой под сладострастной сенью этих лесов.

От основания этого странного замка поднимается затаенная лестница, полная, как все здание, изящества и тайны; она ведет вверх двойной спиралью и заканчивается выше самых высоких колоколен небольшим фонарем или ажурной светелкой, которую венчает огромный цветок лилии, видимый издали; два человека могут одновременно пройти по ней, не заметив друг друга.

Эта лестница напоминает сама по себе небольшой уединенный храм; как и в наших церквах, ее поддерживают и защищают тонкие, воздушные и точно ажурные арки. Мнится, что камень был послушным воском в руках архитектора; тот словно лепил его, повинувшись причудам своей фантазии. Трудно себе представить, как могли осуществиться намерения художника, какими словами он объяснил свой замысел рабочим: сооружение кажется мимолетной мыслью, блестящей грезой,

нежданно обретшей жизнь в камне; оно — воплощение мечты.

Сен-Мар медленно поднимался по лестнице, которая должна была привести его к королю, и все дольше задерживался на ее широких ступеньках, то ли чтобы оттянуть встречу с монархом, чьи сетования ему приходилось ежедневно выслушивать, то ли чтобы обдумать предстоящий разговор, как вдруг до его слуха донеслись звуки гитары. Он узнал любимый инструмент Людовика и его печальный, слабый и дрожащий голос, эхом отдававшийся под сводами; король напевал, по видимому, один из романсов собственного сочинения и по несколько раз наигрывал неверной рукой незамысловатый припев. Содержание романса трудно было понять, до слуха долетали лишь отдельные слова — *одиночество, тоска, отвращение к миру и нежная страсть.*

Молодой фаворит пожал плечами.

«Какое новое горе снедает тебя? — подумал он, прислушиваясь. — Полно, попробуем заглянуть еще раз в это ледяное сердце, которому кажется, что оно еще жаждет чего-то».

Он вошел в узкую комнатку.

Король, одетый во все черное, полулежал на кушетке, облокотившись на подушки, и томно перебирал струны гитары; при виде обер-штальмейстера он умолк, с упреком поднял на него свои большие глаза и долго укоризненно качал головой, прежде чем заговорить; наконец он сказал слезливым и напыщенным тоном:

— Что я слышу, Сен-Мар? Что я слышу о вашем поведении? Вы огорчаете меня, пренебрегая моими советами! Вы затеяли преступную интригу. Мог ли я ожидать этого от вас, от человека, чье благочестие и добродетель меня так пленили!

Всецело поглощенный своими политическими замыслами, Сен-Мар решил, что они раскрыты, и на мгновение смешался; но он тут же взял себя в руки и ответил без малейшего колебания:

— Да, государь, я собирался обо всем рассказать вам и поспешил сюда, чтобы открыть вам свою душу.

— Обо всем рассказать мне! — вскричал Людовик XIII, то краснея, то бледнея, словно в лихорадке. — Неужто, сударь, вы посмели бы осквернить мой слух своими ужасными признаниями?! И вы так спокойно

говорите о своем распутстве! Вы заслуживаете, право, чтобы вас приговорили к галерам, как какого-нибудь Рондена; вы обманули мое доверие и тем оскорбили своего монарха. Уж лучше бы вы стали фальшивомонетчиком, как маркиз де Куси, или главарем кроканов! Вы обесчестили свою семью и память маршала, вашего отца!

Чувствуя, что он гибнет, Сен-Мар постарался выйти из положения.

— Хорошо, государь, отдайте меня под суд или велите казнить, — смиренно сказал он, — но только не упрекайте.

— Да вы что, смеетесь надо мной, провинциальный дворянчик? — вскричал Людовик. — Я прекрасно знаю, сударь, что вы не заслужили смертной казни в глазах людей, судить вас будет небесный судия.

— Так почему же, государь, вы не отошлете меня обратно в провинцию, которую так презираете? — спросил вспыльчивый юноша, оскорбленный этим обращением. — Ведь я много раз отпрашивался домой. Но теперь я уеду, я дольше не в силах сносить жизнь, которую веду подле вас, ангел и тот потерял бы терпение. Повторяю, отдайте меня под суд, если я виновен, или дозвоьте мне скрыться в Турени. Вы сами погубили меня, приблизив к своей особе. Моя ли вина, что вы внушили мне слишком большие надежды, а потом сами их разрушили? К чему было назначать меня обершталмейстером, если мне не суждено пойти дальше? В конце концов, друг я вам или нет? А если я ваш друг, почему мне не стать герцогом, пэром и даже коннетаблем, как господин де Люин, которого вы полюбили за то, что он дрессировал вам соколов? Почему меня не допускают в совет? Я говорил бы там несколько не хуже ваших старцев в плоеных воротниках. У меня есть свежие мысли, а рука моя достаточно сильна, чтобы вам служить. Это ваш кардинал помешал призвать меня в совет, и я ненавижу его, ибо он отдаляет меня от вас, — продолжал Сен-Мар, показывая кулак, словно Ришелье был перед ним. — Да, если бы пришлось, я собственноручно убил бы этого человека!

Глаза д'Эффия горели гневом, он топал ногами во время этой речи, а затем, как капризный ребенок, повернулся спиной к королю и прислонился к колонне.

Людовик, неизменно отступавший перед всяким решением и страшившийся всего непоправимого, взял его за руку.

О слабость власти! О непостоянство человеческого сердца! Именно этими ребяческими выходками, этим недостатком своего возраста юный Сен-Мар управлял королем Франции наравне с крупнейшим политиком того времени. Король полагал не без основания, что столь необузданный характер должен быть искренним, и не сердился на гневные вспышки Сен-Мара. Да и по сути дела они вызывались не упреками короля, а ненавистью к кардиналу, которую Людовик XIII охотно прощал своему любимцу. Самая мысль о ревности фаворита к министру была приятна королю, ибо ревность предполагает привязанность, а он страшился лишь равнодушия. Прекрасно зная это, Сен-Мар постарался избежать опасности, представив свой поступок, как детскую игру, как следствие своей любви к Людовику; но опасность была не столь велика, как ему представилось поначалу, — и Сен-Мар вздохнул свободнее, когда король сказал:

— Речь идет не о кардинале, я расположен к нему не более вашего; я возмущен вашим поведением, и мне трудно вас простить. Что это, сударь? Что я слышу? Вместо того чтобы заниматься, по моему примеру, делами благочестия, ходить к *вечерне*, вы отправляетесь не в церковь, как я полагал, а покидаете Сен-Жермен и проводите ночь... у кого? Посмею ли произнести это имя, не согрешив? К погибшей женщине, с которой у вас могут быть лишь отношения, пагубные для вашей души, к женщине, принимающей у себя вольнодумцев, словом, к Марион Делорм? Что вы на это скажете? Отвечайте!

Не отнимая своей руки у короля, Сен-Мар по-прежнему стоял, прислонившись к колонне.

— Разве так уже дурно оставлять одни занятия ради других, еще более важных? — спросил он. — Да, я бываю у Марион Делорм, но лишь для того, чтобы послушать беседы ученых мужей, которые у нее собираются. Нет ничего невиннее этих сборищ; там читают стихи, прозу и порой засиживаются далеко за полночь, не спорю, но эти чтения могут лишь возвысить, а не загрязнить душу. Впрочем, вы никогда не приказывали

мне во всем отдавать вам отчет; иначе я давно бы рассказал вам все это.

— Ах, Сен-Мар, Сен-Мар, где же ваше доверие ко мне? Разве вы не чувствуете потребности в нем? Доверие — первейшее условие истинной дружбы, такой, какая должна существовать между нами и какой жаждет мое сердце.

Голос Людовика звучал теперь ласковее; оглянувшись на него через плечо, фаворит смягчился, и лицо его приняло скучающее, покорное выражение: он приготовился слушать.

— Сколько раз вы обманывали меня! — продолжал король. — Могу ли я доверять вам? Не с дамскими ли угодниками и вертопрахами встречаетесь вы у этой женщины? Не бывает ли там и других куртизанок?

— Нет, клянусь богом, государь! Я часто езжу туда с моим другом, туренским дворянином по имени Рене Декарт.

— Декарт?! Знакомое имя; да, это офицер, отличившийся при осаде Ларошели, он еще сочиняет что-то; он известен своим благочестием, но связан с вольнодумцем Дебаро. Уверен, что вы видите там со многими людьми, с которыми вам не пристало водить компанию, со всякими проходимцами без роду без племени. Ну-ка, скажите, кого вы видели у Марион Делорм в последний раз?

— Бог мой, я едва помню их имена, — ответил Сен-Мар, задумчиво глядя вверх. — Иногда я даже не спрашиваю, как кого зовут... Это прежде всего нский де Гроот или Гроций из Голландии.

— Знаю, он друг Барневельда и получает от меня содержание; я был к нему весьма расположен, но карди... по мне сказали, будто он ярый кальвинист...

— Потом один англичанин, Джон Мильтон; этот молодой человек остановился в Париже по пути из Италии в Лондон; он все больше молчит.

— Неизвестен, совершенно неизвестен, но уверен, это какой-нибудь реформат. Ну, а кто там был из французов?

— Молодой человек, который сочинил *«Цинну»* и был трижды отвергнут *Высокой Академией*; он весьма обижен, что вместо него избран дю Рийс. Зовут его Корнель...

— Ну вот видите!— воскликнул король, скрестив руки и глядя на Сен-Мара торжествующе и укоризненно.— Что это за люди, скажите на милость? Разве в таком кругу вам надлежит вращаться?

Сен-Мар был озадачен этим замечанием, задевавшим его самолюбие.

— Вы вполне правы, государь,— сказал он, подходя к королю,— но не так уж вредно провести час или два, слушая поучительные речи. Впрочем, там бывает и много придворных: герцог Буйонский, господин д'Обижу, граф де Брион, кардинал де Лавалет, господа Монтрезор, Фонтрай, а также люди, прославившиеся на литературном поприще — Мере, Кольте, Демаре, автор «Ариадны», Фаре, Дужа, Шарпантье, написавший «Киропедию», Жири, Бессон и Баро, продолжатель «Астреи»,— все они академики.

— Отлично! Вот наконец люди, поистине заслуживающие уважения!— вскричал Людовик.— Тут ничего не скажешь: от общения с ними можно только выиграть. Это достойнейшие люди, они пользуются доброй славой. Полноте, давайте помиримся, дитя мое, вот вам моя рука. Я разрешаю вам изредка бывать там, но не пытайтесь меня обмануть; как видите, мне все известно. Взгляните сюда.

С этими словами король вынул из железного сундука, стоявшего у стены, несколько объемистых тетрадей, исписанных мельчайшим почерком. На одной из них стояло имя *Барада*, на другой — *Отфора*, на третьей — *Лафайета* и, наконец, на четвертой — *Сен-Мара*. Отложив последнюю тетрадь, он продолжал:

— Полюбуйтесь, сколько раз вы меня обманывали! Вот перечень ваших проступков, я заносил их сюда день за днем целых два года, с тех пор как вас знаю; тут записаны все наши беседы. Садитесь.

Сен-Мар повиновался, вздыхая, и битых два часа терпеливо слушал краткое изложение того, что его властелин имел терпение записывать в течение двух лет. Он несколько раз прикрывал рот рукою, и мы все, конечно, сделали бы то же самое, случись нам ознакомиться с этими записями, которые были найдены в полном порядке после смерти короля рядом с его завещанием. Приведем лишь отрывок, которым Людовик XIII закончил свое чтение.

— Вот что вы сделали наконец седьмого декабря, три дня тому назад. Я говорил с вами о полете кобчика и о недостаточности ваших знаний по псовой охоте; я ссылаясь на «*Королевскую охоту*», сочинение короля Карла Девятого, утверждая, что стоит егерю натаскать собаку, как ее постоянно будет тянуть в лес, и не следует ни бранить ее, ни бить,— она сама пойдет по следу; а чтобы собака хорошо преследовала дичь, надо приучить ее тщательно обнюхивать землю, не давая попусту рыскать по кустам и тропинкам.

И вот что вы ответили на мои слова (недовольным тоном, заметьте): «Ей-богу, государь, дозволейте мне лучше командовать полками, чем возиться с птицами и собаками. Уверен, что все подняли бы нас на смех, если бы узнали, чем мы занимаемся». А восьмого числа... погодите, да, именно восьмого, когда мы пели вместе вечерние молитвы у меня в спальне, вы с сердцем бросили молитвенник в огонь, что было кощунством; а сами сказали, будто нечаянно уронили его; грех, смертный грех! Вот видите, я подписал внизу «*ложь*» и подчеркнул это слово. Я же вам говорил, что меня не обмануть.

— Но, государь...

— Погодите, погодите. Вечером вы сказали, будто кардинал из личной ненависти велел сжечь на костре ни в чем не повинного человека.

— Да, я и теперь утверждаю это и готов доказать правоту своих слов, государь! Это величайшее преступление кардинала, которого вы не решаетесь лишить своей милости, хотя он и доставляет вам много горя. Я все видел, все слышал в Лудене: Урбен Грандье был по сути дела не казнен, а убит. Государь, поскольку здесь имеются Мемуары, написанные вашей рукой, взгляните, какие доказательства я приводил вам тогда.

Отыскав страницу, повествующую о поездке Сен-Мара из Перпиньяна в Париж, Людовик внимательно прочел весь рассказ.

— Какой ужас!— воскликнул он.— Как мог я забыть все это? Ясно, этот человек околдовал меня! Ты мой единственный друг, Сен-Мар. Какой ужас! Мое царствование запятнано этим преступлением. Кардинал велел перехватить все послания дворянства, не допустил до меня нотаблей, которые прибыли со всех

концов страны. Сожжен, сожжен заживо! Без доказательств! Из мести! Безвинно оклеветанный человек, целый народ напрасно взывал ко мне; а теперь меня проклинаят семья погибшего! Боже мой, как несчастны короли!

При этих словах Людовик отбросил от себя тетради и заплакал.

— Как прекрасны слезы, которые вы льете, государь! — воскликнул Сен-Мар с искренним восхищением. — Как жаль, что вся Франция не видит их вместе со мной! Она была бы поражена этим зрелищем, с трудом поверила бы своим глазам.

— Франция была бы поражена?! Так, значит, она меня не знает?

— Нет, государь, — чистосердечно ответил д'Эффиа, — никто вас не знает; и я сам часто обвинял вас в холодности, в безразличии ко всем и ко всему.

— В холодности, когда я умираю от горя! В холодности, когда я пожертвовал собою ради блага страны! Неблагодарный народ! Я все принес ему в жертву, вплоть до гордости, вплоть до счастья лично править им, ибо я не доверяю своей угасающей жизни; я передал скипетр человеку, которого ненавижу, передал потому, что его рука казалась мне сильнее моей руки; я терпеливо сносил зло, которое он мне причинял, полагая, что он делает добро моим подданным; я превозмогал свои рыдания, чтобы осушить их слезы; а теперь вижу, что моя жертва еще больше, чем я предполагал, ибо никто ее не заметил; меня сочли не способным управлять страной, потому что я был робок, сочли слабым, потому что я не доверял своим силам; но не все ли равно? — бог все видит и все знает.

— Покажите же Франции свое истинное лицо, государь; верните себе власть, захваченную другим; из-за любви к вам народ сделает то, к чему его не принудишь силой; возвращайтесь к жизни и снова взойдите на престол.

— Нет, нет, жизнь моя подходит к концу, дорогой друг; я уже не способен нести бремя верховной власти.

— Вы заблуждаетесь, государь, и это лишает вас сил. Время настало! Довольно объединять власть с преступлением и считать гениальностью их союз! Поднимите голос и возвестите миру, что вашим царствованием начинается царство добродетели; и тогда

враги, которых еще не погубил порок, падут от одного слова, исторгнутого из вашего сердца. Благодать короля Франции может преобразить его народ, влекомый воображением и жаром душевным ко всему прекрасному, народ, готовый на любое самоотвержение! Король, ваш отец, управлял нами с помощью улыбки, чего только вы не добьетесь одной своей слезой! Благоволите только обратиться к нам.

Во время этой речи удивленный король то и дело краснел, покашливал и являл все признаки величайшего беспокойства, как, впрочем, и всякий раз, когда от него требовали решения; он чувствовал, что разговор принимает слишком серьезный оборот, и боялся его поддержать по своей природной робости; желая выйти из неприятного положения, он попытался прикинуться больным, беспрестанно хмурил брови и со страдальческим видом хватался за грудь; но то ли в порыве запальчивости, то ли решив все поставить на карту, Сен-Мар говорил и говорил, не давая себя смутить, с торжественностью, которая невольно внушала Людовику уважение. Чувствуя, что он прижат к стене, король пробормотал:

— Но, Сен-Мар, как я могу отделаться от министра, который за эти восемнадцать лет окружил меня своими ставленниками?

— Он не так могуществен, как кажется,— возразил обер-штальмейстер,— по первому вашему знаку друзья кардинала превратятся в его злейших врагов. Старинная лига *Князей мира* существует, государь, и лишь почтение к выбору вашего величества не позволяет ей восстать против Ришелье.

— Бог ты мой! Так передай же им, чтобы они не стеснялись из-за меня; я им нисколько не мешаю; никто не обвинит меня в том, что я кардиналист. Если брат поможет мне заменить Ришелье, я с радостью это сделаю.

— Полагаю, ваше величество, что он сегодня же назовет вам герцога Буйонского,— все роялисты за него.

— Я не против герцога,— проговорил король, поправляя подушки на своей кушетке,— я отнюдь не против него, хотя в душе он и крамольник. Мы ведь родня, знаешь ли ты это, дорогой друг? (Людовик вложил в свое любимое обращение больше ласковости, чем

обычно.) Известно ли тебе, что он прямой потомок Святого Людовика со стороны Шарлотты Бурбонской, дочери герцога де Монпансье? Известно ли тебе, что восемь принцесс крови породнились с его семейством, что восемь принцесс из дома герцогов Буйонских вышли замуж за принцев крови, а одна из них даже стала королевой? О, я отнюдь не против него, я никогда этого не говорил, никогда.

— Так вот, государь, ваш брат и герцог Буйонский обо всем доложат вам во время охоты,— доверчиво сказал Сен-Мар,— они расскажут, что у них сделано, кем будут заменены ставленники кардинала, на кого из командиров полков можно положиться против Фабера и всех перпиньянских кардиналистов. Вы увидите, что у министра весьма мало приверженцев. Королева, его высочество, дворянство, парламенты — на нашей стороне; и все будет сделано, стоит только вашему величеству дать свое согласие. Было предложено устранить Ришелье тем же путем, что и маршала д'Анкра, который заслуживал этого гораздо меньше, чем первый министр.

— Так же, как Кончини!— воскликнул король.— О нет, не надо... я, право, не желаю этого... Он священнослужитель, кардинал, нас могут отлучить от церкви. Но если имеется другое средство, что ж, я согласен. Поговори со своими друзьями, а я тоже подумаю об этом.

Приняв такое решение, Людовик дал волю своему гневу против кардинала, словно этот гнев уже получил удовлетворение и удар был нанесен. Сен-Мар с досадой слушал короля, опасаясь, что пыл его быстро остынет. Он поверил, однако, искренности его последних слов, в особенности когда после нескончаемых жалоб Людовик добавил:

— Два года я оплакиваю свою матушку, так веришь ли, с того самого дня, как он так жестоко насмеялся надо мной перед лицом всего двора, испросив ее возвращения, хотя прекрасно знал о ее кончине, да, с того самого дня я не могу добиться, чтобы ее погребли во Франции рядом с моими предками. Он изгнал даже ее прах.

В эту минуту Сен-Мару послышался какой-то шум на лестнице; король слегка покраснел.

— Ступай,— сказал он,— ступай готовиться к охоте; ты будешь сопровождать меня верхом. Ступай, я этого требую, уходи.

И он стал подталкивать Сен-Мара к выходу на лестницу, по которой тот пришел.

Фаворит удалился, но смущение короля от него не ускользнуло.

Он медленно шел вниз, раздумывая над причиной странного поведения Людовика, когда ему послышался звук шагов, поднимавшихся по второй лестнице, тогда как он спускался по первой; он остановился, там тоже остановились; он стал подниматься, ему показалось, что там спускаются; он знал, что в лестничные пролеты ничего нельзя разглядеть, и решил уйти, выведенный из терпения и очень обеспокоенный этой игрой. Сен-Мар собирался было подождать у входной двери, чтобы узнать, кто из нее появится, но едва он успел переступить порог караульного зала, как был окружен толпой придворных, которые увлекли его с собой; ему пришлось отдавать приказания, отвечать на объятия, почтительные поклоны, признания, выслушивать просьбы, рекомендации, ходатайства — словом, вершить дела, лежащие на обязанности фаворита, которому надо всегда быть начеку, ибо малейшая рассеянность может породить величайшие беды. В суматохе Сен-Мар скоро забыл об этом ничтожном происшествии, тем более что оно могло быть плодом его фантазии, и, вкушая сладость своего рода нескончаемого апофеоза, королевский любимец вскочил в седло посреди парадного двора, принимая услуги знатных пажей и окруженный самыми блестящими придворными.

Вскоре прибыл в сопровождении свиты Гастон Орлеанский, и не прошло и часа, как появился король, бледный, немощный, опираясь на нескольких приближенных. Спешившись, Сен-Мар помог ему сесть в небольшой, очень низкий экипаж, называвшийся *одноколкой*. Людовик XIII сам правил послушными, смиренными лошадьми. Доезжачие стояли возле экипажа, держа на своре собак; при первых же звуках рога сотни молодых людей вскочили на коней, и все общество отправилось к месту охоты.

Сбор был назначен на ферме, носившей название Ормаж; зная привычки Людовика XIII, придворные рассеялись по аллеям парка, тогда как король медлен-

но ехал по уединенной дорожке, сопровождаемый обер-шталмейстером и четырьмя другими вельможами, которым он сделал знак следовать за ним.

Эта увеселительная прогулка производила тягостное впечатление; с приближением зимы почти все листья на огромных дубах парка облетели, и черные сучья выступали на сером небе, напоминая погребальные канделябры; легкий туман предвещал дождь: сквозь поредевший лес и унылые ветви деревьев были видны медленно двигавшиеся громоздкие придворные кареты; в них ехали дамы, одетые по специальному эдикту во все черное — они были обречены ждать конца охоты, которой не могли наблюдать; собачьи своры подавали голос где-то вдалеке, и звук рога долетал порой, подобный тихому стону; от холодного ветра мужчины кутались в плащи, а женщины, сидевшие в каретах, занавески которых пропускали наружный воздух (в те времена стекол в них еще не было), закрывали лицо вуалью или черной бархатной маской и казались одетыми в костюмы, называемые ныне *домино*.

Все кругом было печально, уныло. Только время от времени увлеченные охотой всадники вихрем проносились в конце какой-нибудь аллеи, испуская громкие крики или трубя в рог; затем снова наступала еще более гнетущая тишина: так после вспышки ракеты небо кажется особенно темным.

По дорожке, рядом с той, по которой медленно двигался королевский экипаж, ехали верхом несколько закутанных в плащи придворных. Очевидно, мало интересуясь косулей, они не выпускали из вида *одноколку* короля. Разговор велся вполголоса.

— Превосходно, Фонтрай, превосходно! Победа! Король поминутно берет его за руку. Видите, как он ему улыбается? Вот господин обер-шталмейстер прыгнул с лошади и занимает место с ним рядом. Ну, на этот раз песенка старого хитреца спета!

— Э, да это еще что! Разве вы не заметили, как король пожал руку его высочеству? Он сделал вам знак, Монтрезор. Да посмотрите же, Гонди.

— Посмотрите, посмотрите! Легко сказать, но я-то ведь ничего не вижу: у меня нет ни ясновидения веры, ни ваших глаз. Ну, так что же они делают? Обидно, что я такой близорукий. Скажите, что они делают?

— Король склоняется к герцогу Буйонскому, — отозвался Монтрезор, — что-то говорит ему на ухо... Опять говорит, жестикулирует. Продолжает говорить. О, герцог будет министром.

— Он будет министром, — сказал Фонтрай.

— Он будет министром, — сказал граф дю Люд.

— Это ясно как день, — подтвердил Монтрезор.

— Надеюсь, на этот раз я получу полк и женюсь на своей кузине! — по-мальчишески воскликнул Оливье д'Анрег.

Посмеиваясь и глядя на небо, аббат де Гонди запел охотничью песенку:

И для скворцов настал сезон,
Тон, тон, тон, тон, тон, тэн, тон, тон.

— ...Мнится мне, господа, что зрение у вас хуже моего, или же в году тысяча шестьсот сорок втором от рождества Христова все еще совершаются чудеса! Герцогу Буйонскому так же не видать поста первого министра, как и вашему покорному слуге, пусть даже король обнимет его и расцелует. У герцога много достоинств, но он никогда не возвысится, ибо слишком прямолинеен; и все же я крепко на него надеюсь: он хозяин Седана, а этот большой и глупый город — превосходное для нас пристанище.

Монтрезор и его друзья так внимательно следили за всеми движениями короля, что им некогда было отвечать.

— Вот господин обер-шталмейстер взял у короля вожжи и сам правит лошадьми, — говорили они.

Аббат продолжал напевать:

А если мне письмо везете,
Не потеряйте, почтальон,
Тон, тон, тон, тон, тон, тэн, тон, тон.

— Послушайте, аббат, ваши песенки сведут меня с ума! — проговорил Фонтрай. — Неужто у вас имеются куплеты на все случаи жизни?

— Я могу даже подобрать случаи, которые подойдут ко всем куплетам, — ответил Гонди.

— Право, эта песенка мне нравится, — сказал Фонтрай, понизив голос. — Если так, его высочество не пошлет меня в Мадрид со своим чертовым договором, чему я буду весьма рад! Поручение это довольно опасное,

ведь перебраться через Пиренеи не так легко, как он думает, да и кардинал стоит там на пути.

— Ах-ах-ах! — воскликнул Монтрезор.

— Ах-ах-ах! — протянул Оливье.

— Что случилось? Ну чего вы заахали? — спросил Гонди. — Что такое увидели?

— Клянусь честью, на этот раз король пожал руку его высочеству; слава богу, господа! Наконец-то мы избавились от кардинала — старый кабан затравлен. Кто возьмется его прикончить? Давайте бросим его в море.

— Нет, это слишком хорошо для него, — возразил Оливье. — Давайте лучше его судить.

— Ну конечно, ведь у нас нет недостатка в обвинительных пунктах против самоуправца, посмеявшегося прогнать пажа, не так ли? — спросил аббат.

Затем, осадив лошадь, он пропустил вперед Оливье и Монтрезора и наклонился к г-ну дю Люду, разговаривавшему с двумя более степенными на вид господами.

— Ей-богу, мне не терпится во все посвятить моего лакея. — сказал он. — Виданное ли дело, чтобы к заговору относились с таким легкомыслием. Великие дела требуют тайны, и стоило бы немного постараться, как из нашего дела получилось бы нечто замечательное. Ведь положение у нас лучше, чем у заговорщиков, о которых мне случалось читать в истории; при желании мы могли бы испровергнуть три королевства, но сами все портим своей ветреностью. Какая досада, — право, я всегда буду сожалеть об этом. У меня склонность к подобного рода предприятиям, и я пристрастился к нашему заговору — это благородное дело! Никто не станет этого отрицать! Не так ли, д'Обижу? Не так ли, Монмор?

Во время этого разговора несколько громоздких карет, запряженных четверкой или шестеркой лошадей, ехали по той же аллее в двухстах шагах от этих господ; занавески с левой стороны были подняты, чтобы лучше видеть короля. В первой карете находилась королева; одетая в черное, с вуалью на лице, она сидела в глубине экипажа. Переднюю скамейку занимала вдова маршала д'Эффия, а у ног королевы примостилась принцесса Мария. Она сидела боком на табурете, подол ее платья и ноги лежали на золоченой подножке, ибо, как

мы уже говорили, дворец у тогдашних карет не было. Она тоже старалась разглядеть сквозь деревья короля и часто отворачивалась, ибо ей докучал вид польского воеводы и его свиты, беспрестанно проезжавших мимо на своих конях.

Этот северный владыка был послан польским королем под предлогом переговоров о важных государственных делах, а на самом деле для того, чтобы подготовить мантуанскую герцогиню к браку с престарелым королем Владиславом VI; недаром воевода выставлял напоказ всю пышность польского двора, считавшуюся тогда в Париже *варварской* и *скифской*, и вполне оправдывал эти эпитеты странностью восточных одеяний. Познанский воевода был весьма красив собою; он носил, как и его свита, большую бороду, меховую шапку на бритой по-турецки голове и короткую куртку, украшенную алмазами и рубинами; конь под ним был выкрашен в красный цвет и убран перьями. Свита состояла из роты гвардейцев в красных и желтых мундирах и кунтушах с длинными рукавами, небрежно накинутых на одно плечо. Кроме того, его сопровождали польские вельможи, разодетые в золотую и серебряную парчу: у них тоже были бритые головы, а сзади висела прядь волос, придававшая им азиатский, татарский вид, столь же необычный при дворе Людовика XIII, как и вид русских. Женщинам все это казалось немного диким и страшноватым.

Марии Гонзаго докучали низкие поклоны и восточные манеры этого чужестранца и его свиты. Всякий раз, проезжая мимо нее, он считал нужным сказать ей на ломаном французском языке комплимент, к которому присовокуплял неуклюжий намек на королевский трон. Желая отделаться от него, она не нашла ничего лучшего, как поднести носовой платок к лицу.

— Поистине, государыня, — сказала она довольно громко королеве, — от этих господ так неприятно пахнет, что мне становится дурно.

— Надобно все же крепиться и привыкнуть к ним, — довольно сухо ответила Анна Австрийская, но, боясь, что огорчила свою любимицу, поспешила добавить: — **Вы** привыкнете к ним, как и все мы, а ведь, знаете, по части запахов я очень привередлива. Мазарини говорил мне на днях, что в виде наказания я буду

нюхать в чистилище дурной запах и спать на простынях голландского полотна.

Несмотря на эти шутки, королева была очень серьезна и тут же снова погрузилась в молчание. Она откинулась на спинку кареты, закуталась в длинную мантилью и уже ни на что не обращала внимание, по видимому, дремала под мерное покачивание экипажа. Мария, пристально наблюдавшая за королем, разговаривала вполголоса с маркизой д'Эффиа; обе они напрасно старались внушить себе надежду и из дружеского участия обмануть друг друга.

— Поздравляю вас, обер-шталмейстер сидит рядом с королем, он еще никогда не был в такой милости,— говорила Мария.

Затем она надолго умолкала, и экипаж уныло катил по увядшим сухим листьям.

— Да, я с радостью вижу это; король так добр к нему!— отвечала маркиза.

И она глубоко вздыхала.

Опять наступило долгое, томительное молчание; женщины переглянулись и заметили, что глаза у них полны слез. Они не решились больше разговаривать, и Мария, опустив голову, уже не видела ничего, кроме темной влажной земли, убегавшей из-под колес. Грустные мысли всецело овладели ею, и хотя первый королевский двор Европы был у ног того, кого она любила, каждый пустяк пугал ее и мрачные предчувствия невольно омрачали душу.

Вдруг какой-то всадник стрелой промчался мимо; Мария подняла голову и узнала Сен-Мара; он не смотрел на нее, был бледен, как мертвец, глаза его прятались под сдвинутыми бровями и опущенными полями шляпы. Вся дрожа, Мария проследила за ним взглядом и увидела, что он задержался возле группы всадников, которые ехали впереди экипажей и обнажили головы при его приближении. Минуту спустя он отъехал в сторону с одним из них, издали взглянул на Марию и не отрываясь смотрел на нее, пока карета проезжала мимо; затем ей показалось, что он вручил какой-то свиток своему спутнику и исчез в лесу. Спустившийся туман помешал ей видеть, что произошло дальше. Такие туманы довольно часты на берегах Луары. Солнце уподобилось сперва небольшой кровавой луне, окутанной разодранным саваном, а полчаса спустя оно скры-

лось за такой плотной завесой, что Мария с трудом различала первых двух лошадей, впряженных в карету, и всадники, проезжавшие на расстоянии нескольких шагов, казались ей сероватыми призраками. Ледяные испарения превратились скоро в пронизывающую изморось, тлетворным облаком повисшую в воздухе. Королева усадила прекрасную мантуанскую герцогиню подле себя; она велела повернуть обратно; медленно, в полном молчании, карета направилась в Шамбор. Вскоре звуки рогов возвестили об окончании охоты и стали созывать отставшие своры; охотники быстро проносились мимо кареты, отыскивая дорогу в тумане и громко перекликаясь. Мария различала то лошадиную голову, то чей-то темный силуэт, возникавший из унылой лесной мглы, и напрасно силилась уловить обрывок какого-нибудь разговора. Вдруг ее сердце учащенно забилось — звали г-на де Сен-Мара. *«Король требует господина обер-шталмейстера, — слышались восклицания, — куда он пропал?»* Кто-то сказал, проскакав мимо: *«Сен-Мар заблудился»*. От этих простых слов она затрепетала, ее смятенное сердце придало им зловеший смысл. Горестные мысли преследовали ее до самого замка, и по приезде она поспешила удалиться в отведенные ей покои. Вскоре она услышала шум — это вернулся король с Гастоном Орлеанским; затем в лесу раздались выстрелы, но вспышек пороха не было видно. Напрасно Мария глядела в узкие окна: они были словно завешены извне белым полотном, не пропускавшим дневного света.

Между тем на краю леса, недалеко от Монфро, блуждали двое всадников; они устали, напрасно отыскивая дорогу в замок среди гнетущего однообразия деревьев и тропинок, и собрались было отдохнуть на берегу пруда, когда из лесной чащи выскочили человек восемь — десять и бросились на них, не дав им времени опомниться; неизвестные повисли на поводьях лошадей, на ногах и руках всадников, сковав их движения, а чей-то хриплый голос спросил из тумана:

— Кто вы — роялисты или кардиналисты? Кричите: «Да здравствует господин обер-шталмейстер!», или вам несдобровать!

— Презренные негодяи! — воскликнул первый всадник, напрасно пытаясь расстегнуть кобуру писто-

лета. — Я велю вас повесить. Как вы смеее злоупотреблять моим именем!

— *Dios, es el Señor!*¹, — крикнул тот же голос.

Разбойники тут же отпустили свои жертвы и убежали; послышался дикий взрыв хохота, и какой-то человек подошел к Сен-Мару.

— Как, *amigo*², неужто вы меня не узнали? Ведь это шутка Жака, испанского капитана.

Фонтрай наклонился к обер-шталмейстеру и сказал ему на ухо:

— Этот молодчик весьма предприимчив, сударь! Советую вам использовать его — ничем не стоит пренебрегать.

— Выслушайте меня, — продолжал Жак де Лобардемон, — не будем терять времени. Я не краснобай, вроде моего папаша. Я не забыл, что вы вызволили меня из беды и еще совсем недавно помогли мне, сами того не подозревая, как это постоянно с вами случается; ибо я поправил свои дела, благодаря вашей заварушке. Если хотите, я могу оказать вам важную услугу, ведь у меня под началом есть несколько храбрецов.

— Скажите, какую услугу, и мы посмотрим.

— Начну с предупреждения. Сегодня утром, когда вы спускались от короля по одной лестнице, по другой лестнице к нему поднимался отец Жозеф.

— О небо! Так вот разгадка его внезапной, необъяснимой перемены! Возможно ли? Король Франции! А мы-то доверили ему все наши планы!

— И вам больше нечего мне сказать? Знаете, у меня старые счета с капуцином.

— Не все ли мне равно?

Сен-Мар опустил голову и погрузился в глубокое раздумье.

— Понятно, не все равно: стоит вам сказать слово, и за какие-нибудь тридцать шесть часов я избавлю вас от отца Жозефа, хотя он и находится сейчас неподалеку от Парижа. А при желании можно присоединить к нему и кардинала.

— Оставьте меня, я не хочу пускать в ход кипжал, — ответил Анри д'Эффия.

¹ Боже, это сеньор! (*исп.*)

² Друг (*исп.*).

— О да, понимаю! — воскликнул Жак. — Вы правы, лучше отделаться от него с помощью шпаги. Правильно, он достоин этого: высокий сан обязывает к уважению. Такое дело надлежит совершить знатному вельможе, по меньшей мере будущему маршалу. Я не в обиде, не надо зазнаваться, хоть я и мастер своего дела. Согласен, я не должен трогать кардинала — это лакомый кусок.

— Ни того, ни другого, — сказал обер-шталмейстер.

— Пожалуйста, предоставьте мне капуцина, — настаивал капитан Жак.

— Вы не вправе отказываться от этого предложения, — заметил Фонтрай, — такой случай грешно упускать. Витри начал с убийства Кончини и стал маршалом. Некоторые вельможи, пользующиеся большим почестом при дворе, прикончили своих врагов на улицах Парижа, а вы не решаетесь разделаться с мерзавцем! У Ришелье есть свои наемники, у вас должны быть свои. Не понимаю вашей щепетильности.

— Не приставайте к нему, — резко сказал Жак, — мне это знакомо; я думал, как и он, когда был мал и несмышлен. В те годы я не убил бы даже монаха. Погодите, я сам с ним поговорю. — И, повернувшись к Сен-Мару, он продолжал: — Послушайте, если участвуешь в заговоре, значит, желаешь чьей-нибудь смерти или по меньшей мере опалы... Ведь так?

И он сделал паузу.

— Иначе говоря, бываешь не в ладах с господом богом и заключаешь сделку с дьяволом... Ведь так?

— *Secundo*¹, как говорят в Сорбонне: а если попадать в ад, то не все ли равно, за большое или за малое прегрешение?.. Ведь так?

— *Ergo*², совершенно безразлично убить тысячу человек или только одного. Ручаюсь, что вам нечего на это ответить.

— Хорошо сказано, милейший доктор кинжала и шпаги, — заметил Фонтрай, усмехаясь. — Вы будете превосходным попутчиком, и, если вам угодно, я возьму вас с собой в Испанию.

— Да, знаю, вам поручено отвезти туда договор, — сказал Жак, — и я проведу вас через Пиренеи по тро-

¹ Во-вторых (*лат.*).

² Значит (*лат.*).

пинкам, не известным людям; но я никогда не утешусь, что не успел свернуть шею этому старому негодяю, которого мы оставляем позади себя, как коня в шахматной игре. Еще раз прошу вас, ваша светлость, — сокрушенно сказал он Сен-Мару, — не отказывайтесь от моего предложения, коли вы набожный человек; вспомните об отцах церкви, богословах Хуртадо де Мандоса и Санчесе, которые дозволяли втихомолку убивать своих врагов, ибо таким путем избегаешь двух грехов: не рискуешь понапрасну жизнью и не сражаешься на дуэли. Я всегда следую этому прекрасному правилу.

— Оставьте меня, оставьте в покое, — проговорил Сен-Мар, задыхаясь от гнева, — я думаю о другом.

— Есть ли сейчас что-нибудь более важное? — спросил Фонтрай. — Это может перевесить чашу нашей судьбы.

— Я думаю о том, сколько весит сердце короля, — ответил Сен-Мар.

— Вы даже меня приводите в ужас! — воскликнул Фонтрай. — Нас заботит совсем не то.

— А я говорю совсем не то, что вы думаете, сударь, — сурово сказал Сен-Мар. — Монархи жалуются, когда подданный изменяет им, вот о чем я размышляю. Итак, война, война! Да разразится война междоусобная, война с помощью чужеземцев! Я разожгу ее, раз факел находится в моих руках. Пусть гибнет страна, пусть гибнут двадцать королевств, если понадобится! Должно произойти нечто ужасное, когда король предаст подданного! Выслушайте меня.

И он отвел Фонтрая в сторону.

— Я поручил вам позаботиться об убежище и помощи на случай, если король нас покинет. Я заранее предугадал это по его притворной любезности и решил послать вас гонцом, и в самом деле король закончил разговор, объявив нам о своем отъезде в Перпиньян. Я опасался Нарбонна; вижу теперь, что он все же намерен отдать себя в руки кардинала. Уезжайте, уезжайте немедленно. Кроме грамот, которые я вам дал, возьмите этот договор; под ним поставлены вымышленные имена, но я вручаю вам взамен другой акт, подписанный его высочеством, герцогом Буйонским и мною. Для графа-герцога д'Оливареса этого вполне достаточно. Вот еще *бланки* герцога Орлеанского, вы

их заполните по своему усмотрению. Уезжайте, я жду вас через месяц в Перпиньяне и велю открыть ворота Сседана семнадцати тысячам испанцев, прибывшим из Фландрии.

Тут он подошел к ожидавшему его авантюристу.

— Что до вас, любезный, поручаю вам сопровождать этого дворянина, коль вам угодно выдавать себя за отчаянную голову. Вы будете щедро вознаграждены.

Покручивая ус, Жак ответил ему:

— Вы не брезгуете моими услугами и правильно делаете — это доказывает, что у вас есть такт и вкус. Известно ли вам, что великая королева шведская Христина хотела приблизить меня к своей особе в качестве доверенного лица? Она была воспитана под грохот канонады Густавом-Адольфом, своим батюшкой, по прозвищу *Северный Лев*, а потому любит храбрецов и запах пороха; но я не пожелал ей служить, — она гугенотка, у меня же есть убеждения, от которых я никогда не отступаю. Итак, клянусь святым Иаковом, что проведу этого господина через пиренейские ущелья у Олорана столь же надежно, как по этим лесам, и, если потребуется, стану защищать его хоть против самого дьявола, а также ваши бумаги, которые мы вернем вам в целости и сохранности. Никакого вознаграждения мне не нужно: наградою мне служит сам поступок. К тому же я никогда не беру денег, так как я дворянин. Лобардемоны принадлежат к весьма древнему и знатному роду.

— Прощайте же, благородный человек! С богом, — сказал ему Сен-Мар.

И, пожав руку Фонтраю, он с тяжелым сердцем углубился в лес, чтобы вернуться в Шамборский замок.



Глава XX

ЧТЕНИЕ

Обстоятельства раскрывают перед нами всемогущество гениальности — последнее прибежище угасающих народов. Великие писатели... эти некоронованные короли, обладающие поистине королевской властью, благодаря силе своего характера и возвышенности мысли, выдвигаются событиями, которыми они призваны повелевать. Без предков и потомства, единственные представители своего рода, они исчезают, выполнив свою миссию, и оставляют грядущему веления, которые оно неукоснительно выполнит.

Ф. де Ламенне

Как-то вечером, вскоре после описанных выше событий, можно было видеть, что к довольно красивому небольшому особняку на углу Королевской площади то и дело подъезжали кареты и беспрестанно отворялась низкая дверь, к которой вели три каменные ступеньки. Несмотря на боязнь воров, соседи не раз подходили к окнам, жалуясь на шум в столь поздний час, а дозорные в удивлении останавливались и, лишь обнаружив у каждого экипажа десять — двенадцать ливрейных лакеев с булавами и факелами в руках, продолжали свой путь. Молодой дворянин, сопровождаемый тремя слугами, вошел в особняк и спросил мадемуазель Делорм; при нем была длинная шпага с розовыми лентами; огромные банты тоже розового цвета украшали его башмаки на высоких каблуках, почти скрывая ноги, которые он сильно выворачивал при ходьбе по моде того времени. Он часто крутил свои завитые усики и, прежде чем войти в гостиную, несколько раз провел гребнем по светлой остроконечной бородке. Появление его было встречено громкими возгласами.

— Вот и он наконец! — раздался молодой звучный голос. — Мы ждали вас, любезный Дебаро. Берите кресло, садитесь к столу и читайте!

Так говорила женщина лет двадцати четырех, высокая, красивая, несмотря на слишком курчавые черные волосы и смуглый цвет лица. В ее манерах чувствовалось что-то резкое, перенятое, по-видимому, у членов ее кружка, состоящего исключительно из мужчин; она довольно бесцеремонно брала их под руку и говорила с непринужденностью, невольно передававшейся собеседникам. В речах ее было больше живости, чем кокетства; она часто вызывала взрывы смеха, но веселила гостей скорее игрой ума (если можно так выразиться), ибо ее дышавшее страстью лицо, казалось, не умело улыбаться; большие голубые глаза и черные как смоль волосы придавали ей несколько странный вид.

Дебаро галантно и молодежато поцеловал руку хозяйке дома и, продолжая разговаривать с ней, обошел большую гостиную, где собралось человек тридцать: одни сидели в глубоких креслах, другие стояли под навесом огромного камина, третьи беседовали у окон, завешенных широкими гардинами. Тут были люди безвестные, ставшие знаменитыми в наши дни, и знаменитости, неизвестные нам, потомкам. Подойдя к этим последним, Дебаро низко поклонился господам д'Обижу, де Бриону, де Монмору — блестящим и знатным людям, пришедшим судить о его стихах, почтительно и дружески пожал руку господам де Монтерелю, де Сирмону, де Малевиллю, Баро, Гомбо и другим ученым мужам, которые именовались великими людьми в анналах ими же основанной Академии, называвшейся в те времена то *Академией Великих умов*, то *Высокой Академией*. Но г-н Дебаро небрежно, покровительственно кивнул молодому Корнелю, беседовавшему в уголке с каким-то иностранцем и юношей, которого он представил хозяйке дома под именем г-на Поклена, сына придворного обойщика. Один из них был Мильтон, другой — Мольер.

Прежде, нежели молодой сибарит приступил к чтению, между ним и его собратьями по перу разгорелся большой спор; они болтали с поразительной легкостью, перебрасываясь оживленными репликами на языке, непонятном для простого смертного, который неожиданно попал бы в их компанию, обменивались горячими рукопожатиями, любезностями и без усталости ссылались на литературные творения друг друга.

— А, вот и вы, прославленный Баро! — воскликнул

вновь прибывший.— Я прочел ваше последнее шести-стишие. Что за стихи! Сколько в них нежности и изысканности!

— Как можете вы говорить о нежности?— перебила его Марион Делорм.— Разве вам известна эта страна? Вы остановились в деревне *Остроумия и прекрасных Стихов* и не отважились ступить дальше. Если господин управитель Нотр-Дам-де-ла-Град согласится показать нам свою новую карту, я вам скажу, где вы находитесь.

Скюдери* встал, с видом горделивым и напыщенным; он развернул на столе подобие географической карты, украшенной голубыми лентами, и начал объяснять значение линий, проведенных на ней розовыми чернилами.

Карта сия лучшее место в *«Клелии»*,— сказал он,— ее находят обычно весьма изысканной, хотя это всего-навсего игра ума для увеселения нашего литературного *сообщества*. Однако на свете встречаются странные люди, и я боюсь, что не у всех достанет воображения понять ее. Вот дорога, ведущая от *Новой дружбы* к *Нежности*. И заметьте, господа, точно так же, как говорят Кумы на Ионическом море, Кумы на Тирренском море, мы скажем *Нежность-на-Любовной Склонности*, *Нежность-на-Уважении*, *Нежность-на-Благодарности*. Но прежде всего надо пожить в деревнях *Мужество*, *Великодушие*, *Исправность*, *Угожде-ние*, *Учтивая Записка* и, наконец, *Любовное Письмо!*..

Остроумно, крайне остроумно!— воскликнули Воже-ла, Кольте и остальные.

— И заметьте,— продолжал автор, пыжась от гордости при виде своего успеха,— что нельзя миновать дорогу, проходящую через *Услужливость* и *Чувствительность*, ибо в противном случае рискуешь попасть в край *Холодности*, *Забвения* и погрузиться в озеро *Равнодушия*.

— Прелестно! Восхитительно! В *высочайшей степени* изысканно!— хором закричали слушатели.— Просто непозволительно быть таким талантливым!

— А теперь, сударыня, я должен признаться во всеуслышание,— продолжал Скюдери,— что это произведение, напечатанное под моим именем, принадлежит перу моей сестры; это она с большой приятностью перевела Сапфо.

И хотя никто его об этом не просил, он высокопарно продекламировал стихи, которые заканчивались следующим четверостишием:

Любовь — недуг, как говорится,
Неисцелимый жар в крови.
Но если можно исцелиться,
Что лучше смерти от любви?

— Как! Неужто эта гречанка была так умна? Не могу этому поверить! — воскликнула Марион Делорм. — А все же насколько мадемуазель Скюдери превосходит ее! Эта мысль принадлежит ей; пусть она включит в *«Клеллию»* прелестные стихи, которые вы только что прочитали: они украсят эту историю из римской жизни!

— Чудесно! Превосходная идея! — подтвердили в один голос ученые мужи. — Ведь Гораций, Арунций и любезный Порсенна были такими галантными любовниками!

Все гости склонились над картой страны Нежности и, толкая друг друга, водили пальцами по изгибам любовной реки. Поборов застенчивость, юный Поклен* поднял на них грустный, пронизательный взор.

— К чему все это? — спросил он тихим голосом. — Ни счастья, ни удовольствия такая карта дать не может. Господин Скюдери не кажется счастливым, мне тоже совсем не весело.

Ответом ему послужили лишь презрительные взгляды, но он утешился, обдумывая *«Смешных же-манниц»*.

Дебаро готовился прочесть благочестивый сонет, сочиненный им во время болезни; он, казалось, стыдился того, что в страхе перед смертью вспомнил о боге, и краснел за свою слабость; хозяйка дома остановила его:

— Сейчас не время читать ваши прекрасные стихи — вас все равно прервут; мы ждем господина обершталмейстера и еще кое-кого; было бы преступлением слушать среди шума и суеты человека столь большого ума. Но здесь находится молодой англичанин, который совершил путешествие по Италии и возвращается в Лондон. Говорят, он сочинил поэму, не знаю в точности какую; он прочитает нам несколько отрывков. Многие члены Высокой Академии знают английский, а остальные могут воспользоваться французским пере-

· водом, сделанным по его просьбе прежним секретарем герцога Букингемского; французский текст вот тут, на столе.

С этими словами она собрала листки и раздала их гостям. Все сели, наступила тишина. Потребовалось время, чтобы уговорить молодого чужестранца начать чтение и отойти от окна, где он, по-видимому, не без удовольствия беседовал с Корнелем. Наконец он подошел к креслу, стоявшему у стола; он, казалось, был слабого здоровья и скорее упал в кресло, чем опустился в него. Облокотясь на стол, он прикрыл рукой свои большие прекрасные глаза, покрасневшие от бессонных ночей или слез, и прочел по памяти несколько отрывков поэмы. Одни слушатели смотрели на него высокомерно или, по меньшей мере, покровительственно, другие рассеянно пробегали глазами перевод его стихов.

Голос чужестранца, сперва глухой, вскоре зазвучал чисто, звонко: поэтическое вдохновение увлекло его, и взгляд, обращенный к небу, стал просветленным, как взгляд молодого евангелиста у Рафаэля, ибо в нем так же засиял свет. Он поведал в своих стихах о первом грехопадении человека и воззвал к святому духу, который предпочитает прекраснейшим храмам невинное, чистое сердце, который все знает и присутствовал при рождении Времени.

Первые строфы поэмы* были встречены глубоким молчанием, и тихий ропот поднялся лишь вслед за последним стихом. Поэт ничего не слышал и видел окружающее как бы в тумане. Он жил в мире своих грез; он продолжал.

Он поведал о духе зла, скованном алмазными цепями среди карающего огня, о Времени, в своем обращении девять раз разделившем день и ночь смертных, о зримом мраке вечных тюрем и о море пламени, где носятся падшие ангелы; громовым голосом начал он речь князя тьмы: «Если ты тот... о как ты глубоко пал, как страшно изменился! Как не похож ты на того, кто в счастливом царстве света излучал столь изумительное сияние... Идем со мной... Исход боя среди небесных полей еще не решен. Пусть поле битвы осталось не за нами! Не все потеряно! Мы сохранили непреклонную волю, неутолимую жажду мести, несокрушимую ненависть и мужество, которое никогда не покоряется

и никому не уступает,— а это не значит быть побежденным!»

Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии господ Монтрезора и д'Антрега. Они вошли, раскланялись, поговорили, передвинули кресла и, наконец, сели. Слушатели воспользовались этим, чтобы поделиться мнением с соседями; слышались лишь слова порицания и упреки в отсутствии вкуса; некоторые погрязшие в рутине умники утверждали, что они ничего не смыслят в таких стихах, что такая поэма выше их разумения (они не подозревали, что говорят правду), и этим самоуничижением напрашивались на похвалу себе и на упрек поэту — выгода, как видно, двойная.

Мильтон закрыл лицо руками и облокотился на стол, чтобы не слышать хора любезностей и хулы. Только три человека подошли к поэту: какой-то офицер, Поклен и Корнель; последний сказал ему на ухо:

— Советую вам перейти к другой песне: слушателям недоступно то, что вы им прочли.

Офицер пожал руку английскому поэту со словами: — Я восхищен до глубины души.

Удивленный англичанин взглянул на него и увидел лицо человека умного, страстного и больного.

Он молча кивнул в ответ и, сосредоточившись, продолжал читать. Голос его стал очень мягким и спокойным; он повествовал о целомудренном счастье двух прекраснейших созданий божьих, описывал их величественную наготу, простодушие и властность их взгляда, рассказывал о жизни среди львов и тигров, которые резвились у их ног; он говорил также о чистоте их утренней молитвы, о пленительных улыбках, о юных непринужденных шалостях и речах, проникнутых любовью, а посему ненавистных князю тьмы.

Сладостные невольные слезы текли из глаз Марион Делорм; природная чувствительность овладела ее сердцем вопреки разуму; поэзия пробудила в ней глубокое религиозное чувство, от которого ее обычно отвлекали утехи светской жизни; впервые непорочная любовь предстала перед ней во всей своей красоте, и она застыла на месте, словно превращенная по мановению волшебной палочки в прекрасную бледную статую.

Корнель и его друг, молодой офицер, были в восхищении, которое они не смели выразить, ибо довольно громкие голоса заглушили удивленного поэта.

— Какая скука!— восклицал Дебаро.— От такой безвкусицы с души воротит!

— И какое отсутствие изящества, галантности и нежной страсти!— холодно заявлял Скюдери.

— Да, далеко ему до нашего бессмертного Юрфе!— говорил Баро, продолжавший «Астрею».

— То ли дело «Ариадна»! То ли дело «Астрея»!— вздыхал Годо, комментатор.

Общество пришло в волнение, все услужливо критиковали поэта, но так, что до его слуха доходил лишь неясный гул, смысл которого трудно было уловить; он почувствовал, однако, что не имел успеха, и сосредоточился прежде, чем коснуться новой струны своей лиры.

В эту минуту доложили о советнике де Ту, который, скромно раскланявшись, молча встал за спиной автора, рядом с Корнелем, Покленом и молодым офицером.

Мильтон вернулся к своим песням.

В них говорилось о появлении в садах эдема небесного гостя, подобного новой заре среди ясного дня; взмахами своих божественных крыл он наполнил воздух неизъяснимым благовонием и поведал человеку историю небес; он рассказал о том, как возмутился Люцифер и, облаченный в алмазную броню, сидя в ослепительной, как солнце, колеснице, окруженный сверкающими херувимами, восстал против всевышнего. Но тут появляется Эммануил на живой колеснице господней, и две тысячи молний, которые он держит в деснице, летят с устрашающим грохотом в преисподнюю, погребая проклятое воинство под гигантскими обломками рухнувшего неба.

Слушатели поднялись с мест, и чтение было прервано, ибо на этот раз религиозные предрассудки вступили в союз с дурным вкусом; всюду раздавались слова порицания, принудившие хозяйку дома тоже встать, чтобы как-то скрыть от поэта столь пелестные отзывы. Это оказалось нетрудным, ибо он был всецело поглощен своими высокими думами; в эту минуту его гений парил над землей; когда же Мильтон открыл глаза, то увидел возле себя лишь четверых своих поклонников, чьи голоса заглушили шум остального общества.

Корнель сказал ему:

— Выслушайте меня. Если вы добиваетесь славы при жизни, не ждите ее от столь прекрасного творения. Чистая поэзия доступна лишь немногим; для обыкно-

венных людей она должна сочетаться с почти физическим волнением, которое порождается драмой. Меня соблазняла мысль написать поэму о Полиевкте, но я ограничу свой замысел, отброшу небеса и оставлю одну трагедию.

— Что мне людская слава?!— возразил Мильтон.— Я не помышляю об успехе: я пою потому, что чувствую себя поэтом; я иду туда, куда влечет меня вдохновение; то, что порождено им, всегда прекрасно. Даже если эти стихи прочтут через сто лет после моей смерти, я все равно буду их писать.

— А я восхищаюсь вашими стихами еще до того, как они напечатаны,— сказал молодой офицер.— Я вижу в них бога, образ которого с рождения ношу в душе.

— Кого я должен благодарить за эти приветливые слова?— спросил поэт.

Я Рене Декарт,— тихо ответил военный.

— Как, сударь, вы имеете счастье приходиться сродни автору *«Принципов»*?— воскликнул де Ту.

— Я и есть их автор.

— Вы, сударь?! Но... однако... извините меня... но... разве вы не военный?— спросил советник вне себя от удивления.

— Что может быть общего, сударь, между духовной жизнью и одеждой, в которую облачено тело? Да, я ношу шпагу и участвовал в осаде Ларошели; я люблю военное ремесло за высокий строй мыслей, который порождается постоянной готовностью жертвовать собой; однако оно не занимает всех наших помыслов, мирное время усыпляет готовность к самопожертвованию. Да и к тому же всегда следует опасаться, что нить наших размышлений может быть прервана неожиданным ударом, глупой случайностью; а если человек погибнет, не успев выполнить задуманного, потомство сохранит о нем ложное представление, считая, что у него вовсе не было замыслов или же они были плохи; от этого можно прийти в отчаяние.

Де Ту радостно улыбнулся, внимая простым речам выдающегося человека — самым прекрасным в его глазах после языка сердца; он пожал молодому туренскому мудрецу руку и увлек его вместе с Корнелем, Мильтоном и Мольером в соседнюю гостиную, где у них состоялась одна из тех бесед, после которых ка-

жется, что все предшествующее и последующее время потеряно даром.

Они уже два часа услаждали друг друга своими речами, когда звуки гитар и флейт, игравших менуэты, сарабанды, аллеманды и испанские танцы, введенные в моду королевой, появление молодых женщин и взрывы их смеха — все возвестило о начале бала. В маленькую уединенную гостиную вошла прекрасная молодая особа, державшая в руке, словно скипетр, большой веер и окруженная блестящими молодыми людьми, которыми она повелевала, как королева; ее появление окончательно привело в замешательство ученых собеседников.

— Прощайте, господа, — сказал де Ту, — я уступаю место мадемуазель де Ланкло и ее мушкетерам.

— Мы испугали вас, господа? — спросила юная Нинон. — Я вам помешала? Вы похожи на заговорщиков!

— Ну, заговорщики-то скорее мы, чем эти господа, хотя мы и танцуем, — сказал Оливье д'Антрег, на руку которого она опиралась.

— Знаю, знаю, господин паж, вы в заговоре против меня, — ответила ему Нинон, смотря на другого офицера королевской гвардии и предоставляя третьему свою левую руку, в то время как другие поклонники пытались перехватить на лету ее взгляд, который скользил по ним, как легкое пламя, зажигающее светильники один за другим.

Де Ту обратился в бегство, причем никто не подумал его удерживать, но на парадной лестнице он встретился с маленьким аббатом де Гонди, красным, потным, запыхавшимся, который тут же остановил его.

— Куда же вы? Пусть уезжают иностранцы и ученые, ведь вы-то наш, — весело, оживленно заговорил он. — Я немного опоздал, но прекрасная Аспазия простит меня. Почему вы уходите? Разве все кончено?

— Вероятно, да. Раз начались танцы, чтения больше не будет.

— Да не о чтении речь! А присяга? — тихо спросил он.

— Какая присяга?

— Разве обер-шталмейстер еще не приехал?

— Мне показалось, что он здесь, но я, верно, ошибся: либо он не приходил, либо уже ушел.

— Нет, нет, идемте со мной, — сказал ветреный аббат, — вы же наш, черт возьми! Разве вы можете остаться в стороне? Идемте!

Не желая, чтобы Гонди подумал, будто он сторонится друзей, де Ту последовал за ним, хотя и не любил увеселений, прошел через две гостинные и спустился по потайной лесенке. С каждым шагом все явственнее доносился гул мужских голосов. Гонди отворил дверь. Перед ними предстало неожиданное зрелище.

Комната была погружена в таинственный полумрак и казалась приютом сладострастной неги; под роскошным балдахином, украшенным перьями и кружевами, стояла золоченая кровать; резная золоченая мебель была обита светло-серым, богато вышитым шелком; перед каждым креслом лежали на толстом ковре квадратные бархатные подушки. Маленькие зеркала, соединенные между собой серебряным орнаментом, заменяли цельное зеркало — роскошь, неведомую в те времена, и их сверкающие грани, отражаясь друг в друге, множились до бесконечности. Ни малейший шум не проникал в это убежище, как бы созданное для наслаждения; но люди, собравшиеся здесь, были, по видимому, далеки от мыслей, которые оно могло навевать. Мужчины — де Ту признал в них придворных и военных — толпились у двери и в соседней, более просторной комнате, и все они следили с напряженным вниманием за сценой, происходившей в спальне. Десять молодых людей выстроились там вокруг стола, держа острием вниз обнаженные шпаги; их лица, обращенные к Сен-Мару, говорили о том, что именно к нему относилась их клятва в верности; обер-шталмейстер стоял в глубоком раздумье перед камином, скрестив на груди руки. Рядом с ним Марион Делорм, серьезная, сосредоточенная, казалось, представляла ему молодых дворян.

При виде входящего друга Сен-Мар бросился к выходу и, гневно взглянув на Гонди, схватил де Ту за плечи и задержал его на последней ступеньке лестницы.

— Зачем вы тут? — спросил он глухо. — Кто вас привел? Что вам от меня надобно? Вы погибнете, если войдете.

— А сами вы что тут делаете? Что вижу я в этом доме?

— Продолжение того, что вам уже известно. Уходите, прошу вас: воздух здесь губелен для всех, кто его вдыхает.

— Слишком поздно, меня уже видели. Что скажут все эти господа, если я уйду? Мой уход их обескуражит, и вы погибнете.

Весь этот торопливый разговор происходил вполголоса; при последних словах де Ту, отстранив друга, вошел в комнату, твердым шагом пересек ее и остановился у камина.

Потрясенный Сен-Мар вернулся на свое место, опустил голову и задумался; потом, несколько успокоившись, он продолжал речь, прерванную появлением советника.

— Присоединяйтесь к нам, господа; теперь уже нет надобности таиться; но помните, когда человек твердой воли идет к цели, он должен припять на себя все возможные последствия. Перед вашим мужеством открывается поле деятельности, более широкое, нежели простая придворная интрига. Благодарите меня: вместо заговора я даю вам войну. Герцог Буйонский отбыл, чтобы встать во главе своей итальянской армии; через два дня я отправлюсь в Перпиньян и буду там ранее короля; приезжайте туда все: королевские войска ждут нас.

При этих словах он обвел собравшихся доверчивым, спокойным взглядом и увидел, что глаза всех блестят восторгом и радостью. Но, прежде чем поддаться волнению, которое предшествует всякому большому делу, он решил еще раз испытать своих приверженцев и серьезно повторил:

— Да, война, господа, подумайте об этом, открытая война. В Ларошели и Наварре снова поднимаются кальвинисты, итальянская армия присоединится к нам с одной стороны, войска его высочества — с другой; кардинал будет окружен, побежден, раздавлен. Парламенты, следующие в нашем арьергарде, подадут петицию королю — оружие не менее могущественное, чем наши шпаги; а после победы мы припадем к стопам Людовика Тринадцатого, нашего законного владыки, и будем умолять короля помиловать нас и простить за то, что мы избавили его от кровавого честолюбца и тем самым ускорили выполнение его собственной воли.

Говоря это, Сен-Мар посмотрел вокруг себя

и вновь увидел выражение растущей уверенности во взгляде и позе своих сообщников.

— Как?! Вас не пугает этот шаг, который всякий, кроме вас, счел бы мятежом?— воскликнул он, скрестив руки и все еще сдерживая волнение.— Вы не считаете, что я злоупотребил данными вами полномочиями? Я далеко зашел, но бывают времена, когда короли желают, чтобы им служили как бы вопреки их воле. Все предусмотрено, вы это знаете. Седан откроет нам свои ворота, и мы обеспечены помощью со стороны Испании. Двенадцать тысяч хорошо обученных испанских солдат войдут с нами в Париж. Мы не отдадим, однако, чужеземцам ни одной крепости; все они будут взяты во имя короля и заняты французскими гарнизонами.

— Да здравствует король! Да здравствует Союз, новый Союз — священная Лига!— закричали все собравшиеся.

— Вот он, прекраснейший день моей жизни!— восторженно воскликнул Сен-Мар.— О, молодость, молодость, называемая во все времена безрассудной и ветреной! В чем можно обвинить тебя теперь? Во главе с двадцатидвухлетним вождем задумано, подготовлено и осуществляется самое обширное, самое справедливое и спасительное предприятие! Друзья, что такое великая жизнь, если не замысел юных лет, выполненный в зрелые годы?* Молодость смотрит в грядущее орлиным оком, намечает широкий план деятельности и закладывает первый его камень; приблизиться к первоначально намеченной цели — вот и все, что мы можем сделать за целую жизнь. Когда же и рождаются великим замыслам, как не в молодости,— сердце тогда с особенной силой бьется в груди? Одного разума недостаточно — он всего лишь наше орудие.

Новый взрыв восторга встретил эти слова, но тут из толпы вышел белобородый старик.

— Этого еще не хватало,— пробормотал Гонди,— старый кавалер де Гиз понесет теперь околесицу и всех нас расхолодит.

В самом деле, старец встал рядом с Сен-Маром и, пожав ему руку, заговорил медленно, не без труда:

— Да, дитя мое, да, дети мои, я с радостью вижу, что вы освободите моего старого друга Басомпьера и отомстите за графа Суассонского и за юного Монмо-

ранси... Но какой бы пылкой ни была молодежь, ей подobaет прислушиваться к голосу тех, кто много видел на своем веку. Я видел Лигу*, дети мои, и скажу вам, что вы не можете принять название *святой Лиги, святого Союза, Защитников апостола Петра и Столпов церкви*, ибо вы рассчитываете, как я вижу, на поддержку *гугенотов*; вы не можете скреплять ваши грамоты печатью зеленого воска с изображением пустого трона, поскольку трон занят королем.

— Скажите-ка лучше двумя королями,— перебил его Гонди, смеясь.

— Весьма важно, однако,— продолжал престарелый кавалер де Гиз, обращаясь к беспорядочно толпящейся молодежи,— весьма важно принять какое-нибудь название, которое понравилось бы народу; *Война ради общественного блага** — уже было и притом давно, *Князья мира* — название, существовавшее совсем недавно; следует найти...

— Ну что ж, предлагаю назвать нашу войну *Королевской войной*,— сказал Сен-Мар.

— Превосходно! Пусть будет *Королевская война*,— подхватил Гонди и все молодые люди.

— Существенно важно, однако,— не унимался бывший лигёр,— получить согласие Сорбонны, которая одобряла некогда даже речения членов Лиги, и снова ввести в действие второе его положение, а именно, что народу дозволяется не только выходить из-под власти должностных лиц, но и вешать их.

— Эх, кавалер, не об этом сейчас речь!— воскликнул Гонди.— Не мешайте говорить господину обершталмейстеру; нам теперь так же мало дела до Сорбонны, как и до вашего святого Жака Клемана*.

Послышался смех.

— Я не скрыл от вас, господа,— продолжал Сен-Мар,— намерений его высочества, герцога Буйонского и моих: справедливость требует, чтобы человек, ставящий на карту свою жизнь, понимал, ради чего он это делает; я указал вам на возможность несчастного исхода, но не говорил подробно о силах, которыми мы располагаем, ибо среди вас нет никого, кто бы не знал этого. Мне ли напоминать вам, господа де Монтрезор и де Сен-Тибаль, какие сокровища отдает в наше распоряжение его высочество? Вас ли, господа д'Эньан и де Муи, удивлю я сообщением о том, сколько моло-

дых дворян пожелало вступить в ваши пехотные и кавалерийские полки, дабы сражаться с кардиналистами? Сколько таких добровольцев оказалось в Турени и Оверни, где лежат земли рода д'Эффиа и откуда придут нам на помощь две тысячи сенъоров со своими вассалами? Вам ли не известно, барон де Бово, о рвении и доблести кирасиров, предоставленных вами несчастному графу Суассонскому, чье дело было нашим делом и который был убит у вас на глазах в минуту своего торжества тем, кого он победил вместе с вами? Стоит ли описывать вам, господа, радость герцога де Сан-Лукара при вести о наших приготовлениях, рассказывать вам о письмах наследника испанского престола герцогу Буйонскому? Мне ли говорить о Париже аббату де Гонди и господину д'Антрегу и вам всем, господа, ведь вы ежечасно видите его бедствия, его возмущение и жажду мести. В то время как чужеземные королевства требуют мира, постоянно нарушаемого злой волей кардинала де Ришелье (это он расторг, как вы помните, Ратисбонский договор*), все сословия нашего государства стонут под пятой этого честолюбца, который посягает ни больше ни меньше, как на светский и даже духовный престол Франции.

Одобрительный гул прервал Сен-Мара. Среди наступившей тишины явственно донеслись звуки духовых инструментов и мерный топот танцующих.

Этот шум на мгновение развлек собравшихся и вызвал смех у самых молодых из них.

Сен-Мар воспользовался этим.

— Услады юности, — воскликнул он, подняв глаза, — любовь, музыка, веселые танцы, почему не вы одни наполняете наши досуги? Почему не вы одни привлекаете наши честолюбивые мечты? Сколько же возмущения накопилось в сердце нашем, что мы высили свой негодующий голос среди криков радости, что мы явились с грозными требованиями в этот приют сердечных излиятий и принесли воинскую присягу среди хмельного празднества жизни!

Горе тому, кто набрасывает тень печали на юность народа! Если морщины бороздят чело отрока, можно смело сказать, что они проведены рукой тирана. Другие горести юных лет вызывают отчаяние, а не уныние. Взгляните на грустных, угрюмых студентов, которые каждое

утро молча бредут по улицам; лица их бледны, походка у них вялая, голоса тихие. Можно подумать, будто они боятся жить и не верят в будущее. Что же произошло во Франции? Один человек здесь оказался лишним.

Два года я следил за коварными путями этого честолюбца, — продолжал он. — Вам известны его странные деяния, его тайные комиссии, его судебные расправы: он никого не пощадил — ни принцев, ни пэров, ни маршалов; нет семейства во Франции, которое не насчитывало бы множества ран, нанесенных его рукою. Он смотрит на всех нас как на врагов своего могущества потому, что желает оставить во Франции только свой род, который двадцать лет тому назад владел всего лишь незначительной вотчиной в Пуату.

Униженные парламенты лишены права голоса; известно ли вам, что председатели де Мем, де Новион, де Белиевр мужественно, но тщетно восстали против смертного приговора герцогу де Лавалет?

Председатели и советники высших судов отрешены от должности, изгнаны, брошены в тюрьмы — вещь неслыханная! — ибо они посмели вступить за короля и народ.

Кто занимает у нас высшие судебские должности? Бесчестные лихоимцы, которые высасывают золото и кровь из нашей страны. Париж и приморские города обложены налогами; деревни разорены, опустошены солдатами, судебными приставами и иными чиновными людьми; крестьяне, вынужденные довольствоваться пищей и подстилкой скота, который гибнет от чумы и голода, бегут в чужие края, — и все это дело рук нового правосудия. Надо сказать, что ревнители кардинала выпустили деньги с его изображением. Вот несколько таких монет.

С этими словами обер-шталмейстер бросил на ковер штук двадцать золотых дублонов. Вновь послышался ропот ненависти к кардиналу.

— Вы полагаете, быть может, что духовенство менее принижено и менее недовольно? О нет! Вопреки законам государства и уважению к их священной особе, под суд были отданы даже епископы. Некий архиепископ стал предводителем алжирских корсаров. Люди самого низкого звания были возведены в кардинальский сан. Попирая святая святых, сам министр заставил выбрать себя главою монашеских орденов Сито,

Клюни, Премонтре и бросил в тюрьмы монахов, отказавшихся подать за него голоса. Кармелитские монахи, иезуиты, францисканцы, августинцы, доминиканцы были вынуждены избрать во Франции главных викариев, дабы не сноситься больше со своими духовными владыками в Риме, и все это потому, что он хочет стать патриархом Франции и главою галликанской церкви*

— Он еретик, чудовище! — слышались голоса.

— Итак, его путь ясен, господа! Он готовится завладеть светской и духовной властью; противопоставив себя королю, он мало-помалу захватил важнейшие крепости, устья главных рек, лучшие океанские порты, солеварни и все города с протестантскими гарнизонами. Стало быть, именно короля надо освободить от этого ига. *Король и Мир* — таков наш клич. И да поможет нам провидение!

Речь Сен-Мара очень удивила все собрание и самого де Ту. Никто до сих пор не слышал, чтобы он говорил так обстоятельно даже в дружеском кругу; и никогда ни единым словом он не дал понять, что его интересуют общественные дела; напротив, он держался подчеркнуто беспечно даже с теми, кого думал привлечь на свою сторону; в их присутствии он справедливо возмущался жестокостями министра, но не высказывал собственных мыслей, скрывая, что честолюбие является целью всех его помыслов. Доверие, которым он пользовался, основывалось на его личной храбрости и на милости короля. Словом, удивление было так велико, что с минуту все молчали; но тишину тут же нарушил взрыв восторгов, свойственных французам, старым и молодым, когда им обещают войну, во имя чего бы эта война ни велась.

Среди тех, кто подошел позвать руку молодому руководителю заговора, был и аббат де Гонди, прыгавший от радости, как козленок.

— Я уже навербовал целый полк! — воскликнул он. — Солдаты у меня отменные! — И добавил, обращаясь к Марион Делорм: — Клянусь честью, мадемуазель, я намерен носить ваши цвета — светло-лиловую ленту с изображением *Лучины*. Девиз ваш прелестен:

Гореть для того, чтоб зажигать других.

И я мечтаю, чтобы вы собственными глазами увидели наши подвиги, если, по счастью, нам удастся схватиться врукопашную.

Красавица Марион, недолюбливавшая Гонди, обратилась поверх его головы к де Ту — оскорбление, неизменно выводившее из себя низенького аббата; вот почему он резко отошел от нее, выпрямившись во весь рост и презрительно покручивая усы.

Вдруг все умолкли: бумажный шарик ударился о потолок и упал к ногам Сен-Мара. Он поднял его, развернул и внимательно огляделся; никто не знал, откуда взялась эта бумажка; все лица выражали удивление и величайшее любопытство.

— Мое имя написано неправильно, — молвил он холодно.

СЕН-МАРКУ

Центурия Нострадамуса*

Когда *красный колпак* пройдет через окно,
Сорока унциям отрубят голову,
И все кончится.

— Среди нас есть предатель, господа, — продолжал он, бросив бумажку. — Но эка важность! Нас не испугать этой кровавой игрой слов¹.

— Надо его найти и выбросить в окно! — вскричали молодые люди.

Присутствующих, однако, охватило тревожное чувство; теперь уже никто не разговаривал доверительным шепотом с соседом, и все смущенно переглядывались. Кое-кто ушел, ряды гостей поредели. Марион Делорм уверяла, что она прогонит слуг, ибо только они и могут быть заподозрены. Несмотря на ее усилия, по собранию пробежал холодок. Да и начало речи Сен-Мара вселило неуверенность относительно намерений короля, и эта излишняя откровенность поколебала наименее стойких.

Гонди подошел к Сен-Мару.

— Выслушайте меня, — сказал он тихо, — я тщательно изучил заговоры и заговорщиков; в этом деле имеются чисто механические правила, которые следует знать; последуйте моему совету: ей-богу, я стал довольно силен на этот счет. Надо поговорить с ними, вызвать у них дух противоречия, подогреть их; это неизменно удастся во Франции. Сделайте вид, что вы не хотите удерживать их против воли, и они останутся.

¹ Непереводаемая игра слов: Сен-Марк (пять марок; марка, единица веса, равная восьми унциям), tout (все) — звучит так же как фамилия de Ту. (Прим. ред.)

Обер-шталмейстер решил последовать этому совету и, подойдя к наиболее ярым своим последователям, сказал:

— А впрочем, господа, я никого не принуждаю идти за собой, множество храбрецов и так ждет нас в Перпиньяне, да и вся Франция разделяет наши воззрения. Если кто-нибудь из вас хочет обеспечить себе отступление, пусть скажет; мы найдем способ немедленно переправить его в безопасное место.

Никто и слушать не захотел об этом предложении, и возгласы ненависти к кардиналу возобновились.

Сен-Мар все же продолжал расспросы, умело выбирая тех, к кому следовало обратиться; под конец он спросил Монтрезора, заявившего, что заколет себя шпагой, если такая мысль придет ему в голову, и аббата де Гонди, который сказал, встав на цыпочки:

— Знайте, господин обер-шталмейстер, что мое место во дворце парижского архиепископа и на островке Нотр-Дам; я превращу их в неприступную крепость.

— А ваше место где? — спросил он у советника де Ту.

— Рядом с вами, — тихо ответил тот, опустив глаза, чтобы не подчеркивать взглядом значение этих слов.

— Вы этого хотите? Хорошо, будь по-вашему, — сказал Сен-Мар. — Но, соглашаясь, я приношу большую жертву, чем вы. — И, повернувшись к собранию, он продолжал: — В вас, господа, я вижу истинных мужей Франции, ибо после Монморанси и Суассонов вы одни отважились поднять голову как свободные, достойные своих предков люди. Если Ришелье восторжествует, древние установления монархии рухнут вместе с нами; двор будет один властвовать вместо парламентов — этой старинной защиты и могучей опоры королевской власти; но мы победим, и Франция будет обязана нам сохранением своих древних обычаев и прав. Впрочем, господа, было бы обидно испортить из-за этого бал. Слышите музыку? Дамы ждут вас. Идемте танцевать.

— А расплачиваться будет кардинал, — заметил Гонди.

Молодые люди, смеясь, захлопали в ладоши и направились в танцевальный зал с таким видом, будто шли в бой.



Глава XXI

ИСПОВЕДАЛЬНЯ

Ради вас, роковая красавица, — явился я в это страшное место.

Льюис. «Монах»

Это произошло на следующий день после собрания заговорщиков у Марион Делорм. Снег толстым слоем покрывал парижские крыши и таял в широких канавах и на улицах, где по грязно-серым сугробам пролегли редкие колеи.

Пробило восемь часов вечера, и было уже совсем темно; обычно шумный город безмолвствовал под толстым ковром, наброшенным на него зимою и заглушавшим стук колес по камням мостовой, топот копыт и звук шагов. По узкой улочке, которая вьется вокруг старинной церкви Святого Евстафия, медленно прогуливался закутанный в плащ человек и, казалось, наблюдал, не появится ли кто-нибудь у перекрестка; он часто присаживался на каменную тумбу возле церкви, чтобы спрятаться от капели под горизонтальными статуями святых, которые выступают из-под крыши этого храма и нависают над улочкой, как сложившие крылья хищные птицы, готовые броситься на добычу. По временам старик прохожий распахивал плащ и, чтобы согреться, хлопал себя по груди или дышал на руки, которые зябли, несмотря на длинные по локоть перчатки из буйволовой кожи. Наконец он заметил тоненький силуэт, пробиравшийся по снегу у самой стены.

— Ах, *Santa Maria!*¹ Что за мерзость эти северные страны! — сказал дрожащий голосок. — Ах, герцогство Мантуанское! Как бы мне хотелось быть там сейчас, добрый мой Граншан!

— Тише, тише, — проговорил в ответ старый слуга. — У парижских стен и особенно у стен церковных

¹ Пресвятая дева! (итал.)

имеются кардинальские уши. Пришла ли ваша госпожа? Мой господин ждал ее у входа.

— Да, да, она уже в церкви.

— Слышите, бой у часов дребезжащий — это г-на примета.

— Они пробили час свиданья.

— По мне, они возвещают смерть. Но замолчите, Лаура, вот трое мужчин в плащах.

Они пропустили троих прохожих. Граншан последовал за ними, убедился, что они удаляются, и вернулся на прежнее место; он глубоко вздохнул.

— Снег холодный, Лаура, а я стар. Господин оберштальмейстер мог бы выбрать другого слугу, чтобы стоять на часах, пока он занимается любовью. Это вам пристало носить записочки, ленты, портреты и прочие пустячки; ко мне следовало бы относиться с большим почтением, и господин маршал никогда бы так не поступил. Старые слуги внушают уважение к дому.

— Давно ли прибыл ваш господин, *caro amico*?¹

— Э, *cara, cara!*² Оставьте меня в покое. Мы мерзли здесь битый час, пока вы с госпожой соблаговолили явиться: за это время я успел бы выкурить три турецкие трубки. А теперь займитесь делом и поглядите, не бродят ли какие-нибудь подозрительные люди у других церковных дверей; нас всего двое часовых, а местность надо разведывать.

— *Signor Jesu!*³ И по такому холоду не с кем даже душу отвести! А моя-то бедная госпожа пришла пешком от Неверского замка. О любовь! *Amore qui regna amore!*⁴

— Ну же, итальянка, поворачивайся, говорят тебе! Чтоб я больше не слышал твоего тягучего языка.

— О, господи Иисусе! Какой у вас сердитый голос, дорогой Граншан! Вы были куда любезнее в замке Шомон, в Турени, когда говорили мне о черных *miei occhi*⁵.

— Замолчи, болтушка! Говорят тебе, твой итальянский язык годится лишь для канатоходцев, шутов да дрессировки собак.

¹ дорогой друг? (*итал.*)

² дорогая, дорогая! (*итал.*)

³ Господи Иисусе! (*итал.*)

⁴ Здесь царствует любовь! (*итал.*)

⁵ моих глазах (*итал.*).

— О, *Italia mia!*¹ Послушайте меня, Граншан, и вы услышите язык божества. Будь вы галантным *homo*², как тот, кто написал эти стихи для Лауры, вроде меня...

И она стала напевать вполголоса:

Lieti fiori e felici, e ben nate erbe
Che Madonna pensando premer sole;
Piagga ch'ascolti sue dolci parole
E del ben piede alcun vestigio serde³.

Старый солдат не привык к женскому обществу; обычно, когда с ним заговаривала женщина, он отвечал ей тоном, в котором слышалась и неуклюжая любезность, и дурное расположение духа. Однако на этот раз итальянская песенка, по-видимому, растрогала его, и он принялся крутить ус, что было у него признаком смущения и растерянности; он издал даже какой-то хриплый звук, похожий на смешок.

— Это довольно мило, черт возьми!— сказал он.— Стихи напомнили мне осаду Казале; но помолчи, плутовка; я еще не видел аббата Кийе, и это меня беспокоит; верно, он пришел сюда задолго до наших влюбленных...

Лаура, которая боялась идти одна на площадь Святого Евстафия, уверила его, что аббат давно пришел, и продолжала:

Ombrose selve, ove percote il sole
Che vi fa co'suoi raggi alte e superbe⁴.

— Гм,— проворчал старик,— ноги у меня в снегу, а в уши попадает капель; мне холодно, и на душе скребут кошки, ты же поешь мне о фиалках, о солнце, мураве и любви — замолчи!

И, углубившись под колоннаду, он опустил свою седую голову на руки и застыл в неподвижности. Лаура не посмела больше его тревожить.

¹ Италия моя! (*итал.*)

² человеком (*итал.*).

³ Счастливые цветы, благие травы,
Где шаг ее медлительно прошел,
Ее речами зазвучавший дол,
Ее стопами смятые муравы.

Франческо Петрарка. Сонет CLXII.

Перевод А. Эфроса.

⁴ Простые рощи, свежие дубравы,
Фиалки, чей влюбленный лик отцвел.

(*Там же.*)

В то время как горничная разговаривала на улице с Граншаном, юная, трепещущая Мария робко отворила церковные двери; за ними стоял переодетый Сен-Мар, который уже давно нетерпеливо ждал ее. Едва увидев юношу, она поспешно, не снимая бархатной маски, прошла в глубину церкви и укрылась возле исповедальни, а Анри между тем тщательно закрыл входную дверь. Убедившись, что ее нельзя отпереть снаружи, он подошел к Марии и, по своему обыкновению, преклонил колена в месте, предназначенном для покаяния. Сен-Мар явился в церковь со своим старым слугою за час до Марии и нашел дверь отпертой — условный знак, что аббат Кийе, его духовник, находится в исповедальне. Но, опасаясь какой-нибудь досадной случайности, он стал ждать Марию неподалеку от входа и даже не покинул своего поста, чтобы поблагодарить славного аббата за исправность. Тот был для него вторым отцом, хоть и не обладал родительской властью, и Анри держался с ним запросто.

В старой приходской церкви Святого Евстафия было темно; кроме неугасимой лампы, только четыре свечи желтого воска горели там у главных пилястров, над чашами со святой водой, отбрасывая красноватый отблеск на синий и черный мрамор пустынной базилики. Свет едва проникал в притворы храма. В одном из них, самом темном, находилась исповедальня, высокая решетка которой, забранная изнутри толстыми досками, позволяла видеть лишь небольшой купол и деревянный крест. По обе ее стороны и стояли на коленях Сен-Мар и Мария Мантуанская; они с трудом могли разглядеть друг друга, а тем более сидящего в исповедальне аббата Кийе, который, очевидно, уже давно ждал их. В зарешеченном окошечке смутно виднелось его облачение. Анри пришел сюда не спеша, — ему предстояло бросить окончательный вызов судьбе. Не перед королем готовился он явиться, а перед владычицей более могущественной, — ради которой он затеял свое трудное дело. Он собирался испытать ее любовь и был охвачен волнением.

Но волнение его еще усилилось, когда он увидел перед собой коленапреклоненную фигуру своей юной невесты. Он задрожал при взгляде на этого ангела, — почувствовав, какого огромного счастья может лишиться; он не посмел заговорить первый и на мгновение за-

стыл, созерцая в полумраке ее юную головку, на которой сосредоточились все его надежды. Несмотря на свою любовь к Марии, он испытывал при каждой их встрече щемящий душу страх, ибо все поставил на карту ради невесты, чья любовь была лишь слабым отблеском его страсти, ради невесты, быть может, даже не оценившей его жертвы, а ведь он переломил свой характер и стал услужливым придворным, вынужденным плести интриги, терпеть уколы самолюбия, заниматься сложными расчетами, преступными замыслами — темным, жестоким делом заговорщика. До сих пор, во время их тайных и целомудренных свиданий, она встречала с детским восторгом каждую новость о его возвышении, но нисколько не ценила труда, с которым ему доставался любой столь тягостный шаг к почестям; она лишь наивно спрашивала, когда же он станет коннетаблем и они наконец поженятся, как спросила бы, приедет ли он на конные состязания и хороша ли сегодня погода. До сих пор он ласково посмеивался над этими вопросами, над этим неведением, вполне простительным у восемнадцатилетней девушки, предназначенной для трона и привыкшей к почестям, как к чему-то вполне естественному, ибо была окружена ими с рождения; но в эту минуту он серьезно задумался о ее характере: после важного совещания заговорщиков, где были представлены все сословия королевства и где мужественные голоса поклялись начать губительную войну, его поразили первые же слова той, ради которой эта война была затеяна, и он впервые испугался, как бы столь большая наивность не была легкомыслием и не коснулась сердца его возлюбленной; и он решил ее испытать.

— Боже мой, как я боюсь, Анри! — сказала она в исповедальне. — Вы велите мне приходиться без стражи, пешком: я постоянно дрожу, как бы меня не увидели выходящей из Неверского дворца. Долго ли мне еще прятаться, точно преступнице? Королева была недовольна, когда я во всем ей призналась; и если она опять заговорит об этом, то строгим, сердитым тоном, я опять буду плакать. Я очень боюсь.

Она умолкла, и Сен-Мар лишь глубоко вздохнул в ответ.

— Что такое? Почему вы молчите?

— И это все, что вас тревожит? — с горечью спросил он.

— Разве этого мало? О мой друг! Каким тоном, каким голосом вы разговариваете со мной? Вы сердитесь потому, что я опоздала?

— Нет, сударыня, вы пришли рано, слишком рано для того, что вам предстоит услышать, ибо вы, как видно, весьма далеки от истины.

Мария, огорченная мрачным, горьким тоном этих слов, заплакала.

— Боже мой, боже мой, чем я провинилась, что вы называете меня «сударыней» и так сурово обращаетесь со мной.

— Успокойтесь, — продолжал Сен-Мар насмешливо. — Вы ни в чем не повинны, виновен я, я один; и не перед вами, а ради вас.

— Что же вы сделали дурного? Неужели велели умертвить кого-нибудь? О, нет, быть этого не может, вы такой добрый!

— Полноте, разве вы не имеете никакого отношения к моим замыслам? Неужели я не понял вашей тайной мысли, когда вы смотрели на меня у королевы? Неужели я разучился читать в ваших глазах? И горевшее в них пламя было вызвано глубокой любовью к Ришелье? Что случилось с восхищением, обещанным вами тому, кто посмеет все высказать Людовику Тринадцатому? Неужели все это ложь?

Мария разразилась слезами.

— Вы вечно разговариваете со мной как-то сухо, — сказала она. — Я этого не заслужила. Если я и молчу о вашем страшном заговоре, неужели вы полагаете, что я о нем забыла? По-вашему, я недостаточно несчастна? Вы хотите видеть мои слезы? Смотрите же на них. Я и так лью их слишком много втайне от вас, Анри; если во время наших последних свиданий я избегала этого ужасного разговора, то лишь из боязни узнать слишком много; я только и думаю что о грозящих вам опасностях! Разве я не знаю, что вы подвергаетесь им из-за меня? Увы, вы сражаетесь ради меня, но мне тоже приходится выдерживать не менее жестокие нападки! Однако вы счастливее меня: вы сражаетесь с ненавистью, я же борюсь с дружелюбием. Кардинал выставит против вас людей и оружие, а королева, кроткая

Анна Австрийская, прибегает только к нежным советам, ласкам, порой к слезам.

— Трогательное, непреодолимое принуждение, дабы заставить вас принять трон,— сказал Сен-Мар с горечью.— Согласен, что вам не легко бороться с подобными соблазнами; но прежде всего, сударыня, следует освободить вас от данной вами клятвы.

— Великий боже! Что же грозит нам?

— Сам бог против нас,— проговорил Анри сурово.— Король обманул меня.

Аббат задвигался в исповедалъне.

— Я это предчувствовала!— воскликнула Мария.— Вот то несчастье, которого я страшилась! Неужели я всему виною?

— Он обманывал меня, пожимая мне руку,— продолжал Сен-Мар.— Он предал меня негодяю Жозефу, которого мне предлагают умертвить.

Аббат содрогнулся от ужаса, и дверь исповедалъни приоткрылась.

— Не бойтесь, отец мой,— продолжал Анри д'Эффиа,— ваш воспитанник никогда не нанесет удара исподтишка. Я мечу гораздо выше и поражу своих врагов среди ясного дня. Но сначала я должен выполнить некий священный долг. Взгляните, ваш сын приносит себя в жертву на ваших глазах! Увы, я недолго жил для счастья! И, быть может, готовлюсь разрушить его вашей же рукой, той самой рукой, которая его благословила.

С этими словами он отворил зарешеченное окошко, отделявшее его от престарелого аббата; но тот по-прежнему хранил непонятное молчание и лишь надвинул на лоб капюшон.

— Верните герцогине Мантуанской это обручальное кольцо,— сказал Сен-Мар уже менее твердым голосом, я возьму его обратно лишь в том случае, если она вторично отдаст мне его, ведь я уже не тот, с кем она обручилась.

Священник резко схватил кольцо и просунул его в решетку противоположного окошка; такое безразличие удивило Сен-Мара.

— Как, отец мой, неужели и вы изменились?— спросил он.

Но Мария уже не плакала; она возвысила свой ангельский голос, и он разбудил под стрельчатými сво-

дами церкви отзвук, похожий на нежнейший вздох органа.

— Не гневайтесь, друг мой,— сказала она,— я вас не понимаю. Можем ли мы расторгнуть узы, которые соединил бог? Я не покину вас в беде. Если король и разлюбил вас, по крайней мере он не сделает вам зла, в этом вы можете быть уверены, ведь не причиняет же он зла кардиналу, а его он никогда не любил. Вы считаете себя погибшим только потому, что он не пожелал расстаться со своим старым слугою? Что ж, подождем, пока не вернется его расположение; забудьте о заговорщиках, они так меня страшат. Если у них больше нет надежды, так слава богу. Значит, мне не придется постоянно дрожать за вашу жизнь. Что с вами, мой друг, к чему понапрасну огорчаться? Королева нас любит, и мы еще очень молоды — подождем. Будущее прекрасно, раз мы соединены навеки и уверены в своем чувстве. Расскажите мне лучше о том, что сказал вам король в Шамборе. Я долго следила за вами взглядом. Боже мой, какой печальной была для меня эта охота!

— Он предал меня, говорю вам,— ответил Сеп-Мар.— Кто бы мог этому поверить?! Вы сами видели, как горячо он пожимал нам руки — своему брату, мне, герцогу Буйонскому; он вникал во все подробности заговора, осведомился даже о том, когда Ришелье арестуют в Лионе, и сам назначил место его ссылки (они требовали смерти кардинала, но в память моего отца я настоял на том, чтобы ему даровали жизнь). Король сказал, что будет лично руководить всем в Перпиньяне; и, однако, Жозеф, этот подлый шпион, только что ушел от него по лестнице Лилий! О Мария, признаться ли вам? Я был потрясен до глубины души, когда узнал об этом; я усомнился решительно во всем, и мне показалось, что мир перевернулся, ведь истина покинула сердце короля. Все рушилось у меня на глазах, еще час, и заговора бы не существовало; я потерял бы вас навсегда; оставалось одно только средство...

— Какое? — спросила Мария.

— Договор с Испанией был у меня в руках, я его подписал.

— О, небо! Разорвите его.

— Он уже послан.

— С кем?

— С Фонтраем.

— Верните его.

— Невозможно, он, верно, уже миновал Олоронские ущелья, — проговорил Сен-Мар, вставая. — Все готово в Мадриде, все готов в Седане. Войска ждут меня, Мария; да, войска! И Ришелье окружен ими! Кардинал пошатнулся, останется нанести последний удар, чтобы свалить его, и вы будете моей навсегда, будете принадлежать мне, победоносному Сен-Мару!

— Сен-Мару-бунтовщику, — проговорила она со стоном.

— Пусть так, бунтовщику, но не королевскому фавориту. Да, знаю, я бунтовщик, преступник, я заслужил эшафот! — воскликнул страстный юноша, вновь падая на колени. — Но я бунтовщик во имя любви к вам, бунтовщик ради вас, которую я окончательно завоеую своей шпагой.

— Увы, шпага, обогрелая кровью соотечественников, не шпага, а кинжал.

— Сжальтесь, замолчите, Мария! Пусть меня предадут короли, пусть покинут воины, от этого я буду только сильнее! Но мою волю может сломить одно ваше слово, да и время для размышлений прошло. Да, я преступник, согласен, вот почему я не смею верить, что все еще достоин вас. Покиньте меня, Мария, возьмите обратно это кольцо.

— Не могу, — сказала она, — я ваша жена, кем бы вы ни были.

— Слышите, что она сказала, отец мой! — воскликнул Сен-Мар вне себя от счастья. — Благословите наш второй союз, еще более прекрасный, чем первый, — он основан не только на любви, но и на преданности. Да будет она моей женой до самой могилы.

Но аббат, ничего не ответив, открыл дверь исповедальни, выскочил вон и выбежал из церкви прежде, чем Сен-Мар успел подняться с колен, чтобы догнать его.

— Куда вы? что с вами? — крикнул он ему вслед.

Но в церкви никого не было, никто не отозвался.

— Ради всего святого, не кричите! — сказала Мария. — Не то я погибла. Он, видно, услышал чьи-то шаги.

Не отвечая ей, взволнованный Сен-Мар углубился под своды храма, добежал до какой-то двери, которая

оказалась запертой; духовника его нигде не было; он с обнаженной шпагой обошел всю церковь и остановился у входа, который должен был охранять Граншан; он позвал своего слугу и прислушался.

— Ну, теперь отпустите его,— сказал чей-то голос на улице.

И лошади умчались вскачь.

— Да отвечай же, Граншан!— крикнул Сен-Мар.

— На помощь, Анри, дорогое дитя мое!— послышался голос аббата Кийе.

— Откуда вы взялись? Вы меня погубите!— сказал обер-шталмейстер, подходя к нему. Но тут он заметил, что его несчастный духовник стоит без шляпы, несмотря на холод, и так перепуган, что не в состоянии связно отвечать.

— Они меня схватили, раздели,— кричал он,— мерзавцы, убийцы! Помешали позвать на помощь, завязали мне рот платком.

На шум прибежал наконец Граншан, он протирал себе глаза, как человек, только что очнувшийся от сна. Лаура в ужасе поспешила в церковь к своей госпоже; все последовали за ней, чтобы успокоить Марию, и окружили престарелого аббата.

— Мерзавцы, они связали мне руки, вот посмотрите! Их было, по крайней мере, двадцать человек, они вырвали у меня ключ от церкви.

— Вырвали? Сию минуту?— спросил Сен-Мар.— Но почему же вы ушли от нас?

— Как ушел? Они схватили меня часа два тому назад!

— Часа два?!— в ужасе переспросил Анри.

— Несчастный я старик!— вскричал Граншан.— Я спал, а мой господин был в опасности. Этого со мною еще никогда не случалось.

— Так, значит, не вы были с нами в исповедальне?— с тревогой продолжал расспрашивать Сен-Мар, между тем как трепещущая Мария испуганно жалась к его плечу.

— Как! Вы не видели негодяя, которому они отдали церковные ключи?— сказал аббат.

— Нет, кто же это?— спросили все в один голос.

— Отец Жозеф!— ответил почтенный аббат.

— Спасайтесь! Вы погибли!— воскликнула Мария.



Глава XXII

ГРОЗА

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen
Altho'thy breath be rude.
Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly;
Most freindship is feigning; most loving mere folly.
Shakespeare

Всй, зимний ветер, вей!
Ты все-таки добрей
Предательства людского:
Твой зуб не так остер,
Тебя не видит взор,
Хоть дуешь ты сурово!
Гей-го-го!.. Пой под вечнозеленой листвою!
Дружба часто притворна, любовь сумасбродна¹.

Посреди величественной цепи Пиренеев, замыкающих гористый Иберийской полуостров, в центре их синих снеговых пирамид, их лесов и лугов разверзлось узкое отвесное ущелье — тропинка, пролегающая по пересохшему руслу водопада; она змеится между скалами, пробирается под глыбами слежавшегося снега, вьется по краю гулких пропастей, идет на приступ ближайших гор Урдос и Олорон и, взобравшись, наконец, на их зубчатый хребет, бороздит окутанные облаками вершины — новый край, где имеются свои вершины и бездны, сворачивает вправо, покидает Францию и спускается в Испанию. Никогда еще копыто мула не оставляло следов на извилинах этой тропинки; человек с трудом может пробираться по ней, ему требуется для этого надежная веревочная обувь и палка с

¹ В. Шекспир, Как вам это понравится. Перевод Щепкиной-Куперник.

трехгранным железным наконечником, который легко вонзается в трещины скал.

Прекрасной летней порой пастух в неизменном коричневом плаще и черный длиннородый баран проходят здесь во главе отары овец, свисающая шерсть которых волочится по траве. В этих горных местах раздается тогда лишь звон колокольчиков, привязанных к шее животных, и эти разноголосые звуки сливаются в неожиданные аккорды, создают случайные мелодии, на диву путнику и на радость дикому молчаливому пастуху. Но когда наступит долгий сентябрь, белоснежный покров окутывает горы от вершин до самого основания, пощадив лишь эту глубоко ушедшую в землю тропинку, несколько расселин, прорытых потоками, да несколько гранитных скал, причудливые очертания которых выступают там и сям, как остов погребенного под снегом мира.

Тогда-то появляются здесь легкие стада пиренейских серн; запрокинув рогатые головы, они прыгают со скалы на скалу, словно гонимые ветром, и завладевают этой белой пустыней; стаи воронов беспрестанно кружат в ее безднах и естественных колодцах, превращая их в свои мрачные убежища; а бурый медведь вместе с мохнатым семейством, которое играет и катается у его ног, медленно уходит из покинутой берлоги, откуда его выгнал мороз. Но это еще не самые дикие и свирепые гости в этом краю зимой: осмелевший контрабандист решается выстроить деревянную лачугу на самой границе, проведенной природой и политикой; и тут, среди туманов и ветров, между двумя Наваррами заключаются неведомые сделки, происходят тайные обмены.

На этой-то узкой тропинке, на скате горы, обращенном в сторону Франции, месяца два спустя после описанных нами парижских событий, остановились в полночь двое измученных, напуганных путников, бредших из Испании. В горах раздавались ружейные выстрелы.

— Мерзавцы! Ну и гнались же они за нами! — сказал один из них. — Я совсем обессилел! Без вас меня давно бы схватили.

— И непременно схватят, а вместе с вами и эту проклятую бумагу, если вы будете терять время на болтовню; слышите, вот второй выстрел на Орлиной

скале Святого Петра; они думают, что мы повернули к Лимасону, но скоро поймут свою ошибку. Спускайтесь. Это, видно, дозорные, они охотятся за контрабандистами, спускайтесь!

— Но как? Я ничего не вижу.

— Спускайтесь, да и только, держитесь за мою руку.

— Помогите мне, сапоги скользят,— проговорил первый путник, цепляясь за выступ скалы, чтобы наступать почву под ногами.

— Живей, живей!— сказал другой, подталкивая его.— Один из негодяев проходит у нас над головой.

И в самом деле, силуэт человека с длинным ружьем выступил на фоне снега. Путники замерли на месте. Стражник прошел мимо, они продолжали спускаться.

— Они нас схватят!— сказал тот, кто поддерживал приятеля.— Мы окружены. Дайте мне ваш чертов пергамент; я одет, как контрабандист, и найду пристанище у своих братьев; но вы даже этого не можете сделать из-за своего мундира.

— Вы правы,— ответил его спутник, задержавшись на выступе скалы.

Он повис посреди склона и передал приятелю деревянный футляр.

Раздался выстрел, со свистом пролетела пуля и, вздрагивая, зарылась в снег у их ног.

— Предупреждены!— сказал первый путник.— Спускайтесь вниз; если останетесь живы, ступайте по дороге. Влево от Гава лежит Санта-Мария; вы свернете вправо, потом пересечете Олорон и попадете на дорогу в По, там вы спасены. Ну же, скорее.

С этими словами он толкнул товарища и, даже не соблаговоллив взглянуть на него, двинулся дальше, не вверх или вниз, а прямо по склону горы, с ловкостью дикой кошки цепляясь за камни, за ветки и даже за стебли растений; вскоре он очутился на твердой почве перед дощатой хижинкой, сквозь щели которой виднелся свет. Путник обошел ее, как обходит овчарню голодный волк, и, прильнув к одной из щелей, увидел нечто такое, после чего решительно толкнул кулаком шаткую дверь, не запертую даже на дрянную щеколду; вся хижина содрогнулась от этого удара; войдя в нее, он увидел, что она разделена надвое перегородкой. Толстая свеча желтого воска освещала первую комнату; в углу

ее, на мокром дощатом полу, под которым текли ручейки талого снега, сидела девушка, бледная и страшно худая. Ее черные спутанные и запыленные волосы были очень длинные и в беспорядке падали на платье из грубой коричневой шерсти; красный капюшон — обычный убор девушек в Пиренеях, покрывал ее голову и плечи; опустив глаза, она прядла на прялке, привязанной к поясу. Появление незнакомца не смутило ее.

— Эй, *la toza*¹, встань и дай мне напиться; я устал и умираю от жажды.

Девушка ничего не ответила и, не поднимая взора, продолжала прилежно работать.

— Ты что, оглохла? — проговорил вошедший, пихнув ее ногой. — Ступай скажи хозяину — я видел его в соседней комнате, — что к нему пришел друг, но прежде дай напиться. Я здесь переночую.

Она ответила хриплым голосом, не отрываясь от прялки:

— Я пью снег, что тает на скалах, или зеленую пену, всплывающую на поверхности болота; но в награду за хорошую пряжу мне дают родниковой воды. Когда я сплю, холодная ящерица бежит по моему лицу, но если я хорошенько вымою мула, мне бросают охапку сена; сено теплое; сено хорошее и теплое; я укрываю им свои мраморные ноги.

— Что ты там мелешь? — спросил Жак. — Я не о тебе толкую.

Но она продолжала:

— Они заставляют меня держать человека, когда его убивают. Сколько крови было на моих руках! Да простит им бог, если это возможно. Они заставили меня держать его голову и лохань с красной водой! О, небо, и это меня, невесту Христову! Тела убитых бросают в снежную бездну: но грифы находят трупы и устилают гнезда волосами мертвецов. Сейчас ты полон жизни, но я увижу тебя окровавленным, бледным и бездыханным.

Контрабандист пожал плечами, засвистел и толкнул вторую дверь; он увидел за нею человека, которого успел разглядеть в щель лачуги; на нем был синий, сдвинутый на ухо берет басков и широкий плащ; он

¹ девка (*исп.*).

сидел на вьючном седле, нагнувшись над раскаленной чугунной жаровней, курил сигару и потягивал вино из лежавшего рядом бурдюка. Отблеск горящих углей озарял его жирное желтое лицо и каморку, где вокруг жаровни были разложены вместо стульев седла мулов. Он поднял голову, но не двинулся с места.

— Аа, это ты, Жак! — сказал он. — Пожаловал наконец! Я сразу узнал тебя, хоть мы и не видались целых четыре года, ты нисколько не изменился, у тебя все та же мерзкая образина, бездельник. Присаживайся, и выпьем по глоточку.

— Да, я опять пришел; но ты-то откуда взялся? Я думал, ты стал судьей, Умэн!

— А я думал, что ты теперь испанский офицер, Жак!

— Да, правда, я и был офицером, а затем пленником; но довольно ловко выпутался из беды и вернулся к прежним занятиям, к свободной профессии, к доброй старой контрабанде.

— *Viva, viva, jaleo!*¹ — воскликнул Умэн. — Ведь храбрецы вроде нас — мастера на все руки. Но как же... ты, значит, проходил по другой дороге? Я ни разу не встречал тебя с тех пор, как вновь занялся своим ремеслом.

— Да, да, я проходил там, где тебе никогда не пройти, поверь мне! — сказал Жак.

— А какой товар ты переправляешь?

— Невиданный; мои мулы подспеют завтра.

— Шелковые пояса, сигареты или шерсть?

— Ты узнаешь это в свое время, *amigo*, — дай-ка мне мехи, пить хочется.

— На пей, это настоящее валдепенья! Мы, браконьеры, счастливые люди. Эх, *jaleo, jaleo*. Пей же, друзья скоро придут.

— Какие друзья? — спросил Жак, выпуская бурдюк.

— Не беспокойся, пей себе; я все тебе расскажу, а потом мы споем андалузскую тирану.

Гость поднял бурдюк и сделал вид, будто преспокойно пьет вино.

— Кто эта длинная чертовка, там, при входе? — спросил он. — Она чуть жива.

¹ Здесь в смысле: да здравствует кутерьма! (*исп.*)

— Нет, нет, только помешана; пей же, я все тебе расскажу.

Умэн вынул из-за красного пояса длинный кинжал, зазубренный с обеих сторон на манер пилы, и принялся мешать им затухающие угли.

— Да будет тебе известно прежде всего, — сказал он серьезно, — что там (он показал в сторону Франции) старый волк Ришелье всех их скрутил.

— Неужели?! — спросил Жак.

— Вот именно, его прозвали даже *королем короля*. Слыхал? И все же там есть один малый по имени Сен-Мар, который почти так же силен, как Ришелье. У него теперь под началом вся перпеньянская армия, а прибыл он туда всего месяц назад; но старик хитрая бестия! Он по-прежнему отсиживается в Нарбонне. Король же ведет себя то так, то этак (говоря это, Умэн повернул руку ладонью вверх, потом ладонью вниз); он, как говорится, ни рыба ни мясо. А в ожидании, когда король на что-нибудь решится, я стою за кардинала, потому что всегда исполнял поручения его высокопреосвященства, начиная с самого первого, которое он дал мне года три тому назад. Послушай, как это было. Видишь ли, для одного небольшого дельца ему потребовались люди умные и предприимчивые; вот он и вытребовал меня и назначил судьей тайных дел.

— Да ну? Я слыхал, что это превосходное место.

— Да, недурное дело, вроде нашего, но продаешь веревку вместо шерсти; это менее почтенно, потому что чаще приходится убивать, зато надежнее: у каждой вещи — своя цена.

Что правда, то правда, — подтвердил Жак.

— Словом, я облачился в красную мантию; и тут мне пришлось натянуть пропитанную серой рубаху на луденского красавца священника, который был в женском монастыре, как волк в овчарне; недаром ему так нагорело, что он и вовсе сгорел.

— Потеха! — воскликнул Жак, смеясь.

— Пей себе! — продолжал Умэн. — Можешь мне поверить, Жак, я видел его после... он превратился в маленький комочек, черный, как головешка на кончике моего кинжала. Такова жизнь человеческая! Вот что с нами станется, когда мы попадем к черту в лапы.

— Тише, не надо этим шутить, — сказал Жак серьезно. — Видишь ли, я верю в бога.

— Не спорю, все может быть, — продолжал Умэн тем же тоном, — как-никак, а Ришелье — кардинал! Но не об этом сейчас речь. Нужно тебе сказать, что мне довелось быть судьей-докладчиком на этом процессе, а за это я кое-что доложил в кубышку.

— Ты все шутишь, мошенник!

— Да, по привычке! Итак, я заработал пятьсот пиастров, ибо Арман Дюплесси хорошо платит своим подручным. Тут ничего не скажешь, разве только, что деньги не его; но мы все так поступаем. Признаюсь тебе, что мне захотелось вложить эти деньги в нашу прежнюю торговлю, и я вернулся сюда. К счастью, дела идут хорошо: нам угрожает смертная казнь, и товары дорожают.

— Что это? — воскликнул Жак. — Молния зимой?!

— Да, теперь время гроз; две грозы уже были. Мы находимся в облаке, слышишь раскаты? Но это пустяки, пей себе! Сейчас около часа, мы с тобой скоротаем ночь за этим бурдюком. Итак, я тебе говорил, что познакомился с председателем суда, верзилкой по имени Лобардемон. Ты его знаешь?

— Да, да, немного, — ответил Жак. — Он скупердай, каких мало, но это неважно, продолжай.

— Так вот, у нас с ним не было секретов друг от друга, я открыл ему свои намерения и попросил при случае вспомнить обо мне, ведь мы оба были судьями. Жаловаться мне не приходится: он не забыл меня.

— Вот как! — воскликнул Жак. — И что же он сделал?

— Прежде всего, два года тому назад он привез сюда на крупе коня свою родную племянницу, ты видел ее при входе.

— Племянницу?! — переспросил Жак, вставая. — И ты обращаешься с ней, как с рабыней! *Demonio!*¹

— Пей себе, — проговорил Умэн, медленно помещивая угли кинжалом, — он сам этого пожелал. Садись же.

Жак сел.

— Сдается мне, что он был бы не прочь... понимаешь? — продолжал контрабандист. — Он предпочел бы знать, что она находится не на земле, а под землею, но

¹ Черт! (исп.)

только не пожелал марать себе руки, потому что он любящий родственник, сам это говорит.

— Мне ли этого не знать,— сказал вновь прибывший,— но продолжай.

— Понятно, ему, человеку бывающему при дворе, неприятно держать у себя в доме безумную племянницу. Это ясно как день. Будь я и поныне судьей, я поступил бы точно так же. Но здесь, ты сам знаешь, нам не перед кем задирать нос, и я взял ее к себе вместо *criada*¹; у нее оказалось больше здравого смысла, чем я ожидал, хотя она все молчит и поначалу прикидывалась неженкой. Зато теперь она чистит мула не хуже мальчишки. Правда, последние дни ее немного лихорадит, но так или иначе, этому должен прийти конец. Смотри только не проболтайся Лобардемону, что она еще жива; он подумает, что я из-за выгоды оставил ее служанкой.

— Как, разве он здесь?!— вскричал Жак.

— Пей себе,— спокойно повторил свою излюбленную фразу Умэн, усердно подавая пример и блаженно жмурясь.— Теперь, видишь ли, у меня наклеивается второе дельце с этим славным Ломбар демоном, Ломбар даминым, Ломбар дуренем, как тебе будет угодно. Я дорожу им как зеницей ока и предлагаю выпить за его здоровье бутылочку жюрансона — это любимое вино покойного весельчака, короля Генриха. Хорошо нам здесь! Испания — с одного бока, Франция — с другого, а перед нами бурдюк и бутылка. Бутылка! Я всем пожертвовал ради нее.

И он отбил горлышко у бутылки белого вина. Отхлебнув, он продолжал рассказ, а пришелец между тем пожирал его глазами.

— Да, он здесь, и не думаю, чтобы у него замерзли ноги; он со вчерашнего дня рыщет по горам со своими стражниками и нашими товарищами, знаешь, с нашими *bandoleros*², настоящими контрабандистами.

— А зачем оны рыщут?— спросил Жак.

— Вот в этом-то вся и загвоздка!— сказал пьяница.— Им надо задержать двух мошенников, которые хотят пронести в кармане бумажку с шестьюдесятью тысячами испанских солдат. Ты, может, не понимаешь

¹ служанки (*исп.*).

² бандитами (*исп.*).

с полуслова, о чем идет речь, бродяга, однако это истинная правда: шестьдесят тысяч солдат в кармане!

— Нет, почему же, прекрасно понимаю! — проговорил Жак, нащупывая кинжал у себя за поясом и поглядывая на дверь.

— Ну так споем тирану, чертов сын! Возьми бутылку, брось сигару и пой.

При этих словах охмелевший хозяин запел по-испански, прерывая песню лишь для того, чтобы вылить в глотку полный стакан вина, а Жак, не двигаясь с места, мрачно смотрел на него при свете жаровни и раздумывал над тем, что ему делать.

«Контрабандист я и ничего не боюсь, вот я каков. Я всем бросаю вызов, в обиду я себя не дам, и все меня уважают.

Эх, эх, эх jaleo! Девушки, девушки, кто купит у меня черной шерсти?»

В оконце сверкнула молния, каморка наполнилась запахом серы; и тотчас же раздался оглушительный грохот; хижина заходила ходуном, и одна из балок выпала наружу.

— Ой, ой, мой дом! — закричал пьяница. — Сам черт пожаловал к нам! Куда же запропастились наши друзья?

— Споем, — сказал Жак, придвигая к Умэну седло, на котором сидел.

Тот выпил стаканчик для бодрости и продолжал:

Jaleo, jaleo! Мой конь устал, и я бегу рядом.

Ай, ай, ай, приближается дозор, и в горах идет перестрелка.

Ай, ай, ай, лошадка, вызволь меня из беды.

Живей, живей, лошадка с белой отметиной на лбу!

Девушки, девушки, купите у меня черной шерсти.

Не успел он закончить песни, как сиденье под ним закачалось, и он упал навзничь; избавившись таким образом от собутыльника, Жак бросился к двери, но она тут же распахнулась, и он столкнулся лицом к лицу с бледной, как смерть, девушкой. Он попятился.

— Судья! — сказала она и рухнула на ледяной пол.

Жак занес было ногу, чтобы перешагнуть через нее, когда в дверях показалось другое бескровное, изумленное лицо и возникла фигура высокого человека в плаще, с которого ручейками стекал тающий снег. Жак в ужасе попятился и отчаянно захохотал. То был Ло-

бардемон, в сопровождении стражи; они впились глазами друг в друга.

— Ээ, прия...тель!— проговорил Умэн, с трудом вставая.— Уж не роялист ли ты ненароком?

Но, заметив, что судья и капитан словно окаменели, он тоже умолк, так как понял, что пьян, и, шатаясь, подошел к безумной девушке, которая по-прежнему лежала между Жаком и вновь прибывшим. Судья заговорил первый:

— Уж не за вами ли мы гонимся?

— Это он,— сказали хором сопровождавшие его люди,— другой убежал.

Жак отступил к шаткой стене хижины. Он плотнее закутался в плащ и, похожий на медведя, загнанного собачьей сворой, сказал мрачно и громко, чтобы отвлечь внимание преследователей и выгадать время:

— Я убью первого, кто переступит через тело этой женщины и подойдет к жаровне!

И он вытащил из-под плаща длинный кинжал. Между тем Умэн опустил на колени возле девушки и повернул ее голову; глаза были закрыты; в эту минуту на нее упал свет жаровни.

— Великий боже!— вскрикнул Лобардемон, в страхе выдавая себя,— Жанна, опять она!

— Будьте покойны, ва.. ваша ми...лость,— пробормотал Умэн, тщетно пытаясь приоткрыть веки девушки и поднять голову, бессильно клонившуюся вниз,— будь...те покойны; не гне... вайтесь, она мертва, совсем мертва.

Жак поставил ногу на труп, словно это был барьер, и, свирепо наклонившись к Лобардемону, сказал вполголоса:

— Пропусти — или я осрамлю тебя, холуй, скажу, что она твоя племянница, а я — твой сын.

Лобардемон задумался, взглянул на своих людей, которые теснились вокруг с ружьями наперевес, и, сделав им знак отойти, ответил очень тихо:

— Отдай мне договор и пройдешь.

— Он здесь, у меня за поясом; посмей только протянуть руку, и я громко назову тебя отцом. Что скажет твой хозяин?

— Дай сюда договор, и я прощу тебе, что ты родился.

— Пропусти меня, и я прощу тебе, что ты меня родил.

— Ты все тот же, разбойник?

— Да, убийца!

— Какое тебе дело до мальчишки-заговорщика?— спросил судья.

— Какое тебе дело до царствующего старика?— возразил капитан.

— Дай мне бумагу, я поклялся, что добуду ее.

— Оставь мне бумагу, я дал клятву, что пронесу ее.

— Чего стоит твоя клятва и твой бог?— продолжал Лобардемон.

— А ты чему поклоняешься?— спросил Жак.— Не раскаленному ли докрасна распятию?

Но тут, хохоча и пошатываясь, между ними встал Умэн.

— Уж больно вы долго объясняетесь, при...ятель!— сказал он, хлопнув судью по плечу.— Вы с ним знакомы? Он... славный малый.

— Знаком? Нет!— вскричал Лобардемон.— В жизни его не видал.

В эту минуту Жак, воспользовавшись, как прикрытием, фигурой Умэна и теснотой каморки, изо всех сил уперся о тонкую дощатую стену, ударом каблука вышиб две доски и выскочил наружу в образовавшуюся пробоину. Хижина дрогнула до самого основания, ветер вихрем ворвался внутрь.

— Эй, эй, черт бы тебя побрал! Куда ты?— закричал контрабандист.— Ты сломал мою хижину, да еще со стороны потока.

Все осторожно приблизились к стене, оторвали оставшиеся доски и нагнулись над бездной. Диковинная картина представилась их глазам: гроза достигла полной силы, и это была гроза в Пиренеях; гигантские молнии вспыхивали повсюду, сменяя друг друга с такой быстротой, что казались неподвижными, как бы застывшими; сверкающий небосвод порой неожиданно гас, затем вновь загорался ослепительным светом. Не пламя было чуждо этой ночи, а темнота. И мнилось, что в извечно сияющем небе наступают мгновенные затмения: столь продолжительны были молнии и столь коротки промежутки между ними. Остроконечные вершины и заснеженные утесы выступали мраморными глыбами на этом красном фоне, похожем на раскален-

ный медный купол, являя зрелище извержения вулкана среди зимы; водные струи уподоблялись огненным фонтанам, а снега сползали вниз, точно ослепительно белая лава.

Среди этих пришедших в движение громад барахтался человек и с каждой минутой все глубже уходил в клокочущий водоворот; его ноги уже погрузились до колен; он тщетно цеплялся за огромную пирамидальную льдину, сверкавшую, как кристалл при свете молний; льдина эта подтаивала у основания и медленно скользила по склону. Под снежным покровом слышался грохот гранитных глыб, которые, сталкиваясь, падали в бездонную пропасть. Однако человека еще можно было спасти: от Лобардемона его отделяло расстояние не более четырех футов.

— Помоги! Я гибну!— крикнул он.— Протяни мне что-нибудь и получишь договор.

— Дай мне его, и я протяну тебе мушкет,— сказал судья.

— Бери, раз сам дьявол за Ришелье!— ответил капитан.

И, отпустив одной рукой шаткую опору, он бросил в хижину деревянный футляр. Лобардемон тут же повернулся к нему спиной и набросился на договор, как волк, который кидается на добычу. Жак тщетно протягивал руку; видно было, что он медленно скользит вниз и бесшумно погружается в снежную бездну вместе с огромной тающей льдиной, которая наваливается на него своей тяжестью.

— Негодяй, ты обманул меня!— крикнул он.— Но не ты взял у меня договор... я сам отдал его... слышишь... отец!

Он исчез под толстым слоем снега; видна была лишь ослепительно белая пелена, пронизанная затухающими молниями; до слуха доносились только раскаты грома и рев воды, бьющей о скалы, ибо люди, которые толпились в полуразрушенной хижине возле трупа и злодея отца, молчали, застыв от ужаса и опасаясь, как бы бог не испепелил их в гневном своем.



Глава XXIII

РАЗЛУКА

Разлука — величайшее из зол, но не для вас, жестокосердная!

Лафонтен

Кто из нас не любовался облаками, плывущими по небу? Кто не завидовал свободе их странствия в эфире, когда, подгоняемые ветрами и озаренные солнцем, они плавно движутся, как вереницы темных кораблей с золоченым носом, или, разделившись на легкие отряды, быстро скользят вперед, то стройные и проворные, как перелетные птицы, то прозрачные, как крупные опалы, выпавшие из небесной сокровищницы, то ослепительно белые, как хлопья снега, уносимые на крыльях ветра? Человек — медленно бредущий путник, и он завидует скорости небесных странников, которых все же опережает его воображение; и, однако, он успевает обозреть за один день края, дорогие ему по воспоминаниям, края, бывшие свидетелями его счастья или скорби, а также прекрасные, хотя и неведомые страны, где он надеется обрести воплощение своих грез. Нет, вероятно, такого уголка на земле — будь то дикая скала или безводная пустыня, — который не был бы священ для кого-нибудь и не возникал постоянно в его воображении, как бы равнодушно ни проходили мимо другие люди; ибо, подобно разбитому бурей кораблю, мы оставляем частицу самих себя на всех подводных камнях, пока окончательно не погрузимся в пучину.

Куда устремляются темные, синие тучи грозы, разразившейся в Пиренеях? Знойный африканский ветер гонит их все дальше и дальше; они спешат, грохоча набегают друг на друга, мечут молнии, подобные факелам, влачат за собой длинную пелену дождя, словно сотканное из тумана одеяние. Не без труда преодолев горные ущелья, на мгновение задержавшие их в пути,

они орошают живописную вотчину Генриха IV в Беарне, земли, завоеванные Карлом VII в Гийенне, владения Карла V и Филиппа-Августа в Сентонже, в Пуату и Турени и, замедлив наконец свой бег возле старинного замка Гуго Капета, проливаются шелестящим дождем над башнями Сен-Жермена.

— Взгляните, государыня, какая гроза надвигается с юга, — сказала королеве Мария Мантуанская.

— Вы частенько посматриваете в ту сторону, дорогая, — ответила Анна Австрийская, которая стояла, облокотясь на перила балкона.

— Это полуденная сторона, государыня.

— А также родина бурь, вы сами это видите, — продолжала королева. — Верьте моему расположению к вам, дитя мое, эти тучи не предвещают вам ничего хорошего. Я предпочла бы, чтобы вы обратили взор в сторону Польши. Подумайте, каким прекрасным народом вы могли бы повелевать.

В эту минуту, спасаясь от начинавшегося дождя, под окнами королевы проезжал польский воевода с многочисленной свитой молодых всадников; турецкие мундиры с алмазными, изумрудными и рубиновыми пуговицами, зеленые или светло-лиловые плащи, длинные плюмажи шляп и горделивая осанка — все это придавало полякам необычную пышность, к которой французский двор уже успел привыкнуть. Они мгновенно осадил коней, и воевода дважды отвесил поклон, меж тем как его легконогий скакун шел боком, повернувшись мордой к принцессам; он ржал, вставал на дыбы и, встряхивая гривой, низко опускал голову, словно кланялся; и вся свита, проезжая мимо, повторила тот же маневр. Герцогиня Мантуанская сперва отошла, чтобы скрыть слезы; но это блестящее и лестное зрелище вновь привлекло ее на балкон.

— С какой непринужденностью польский воевода сидит на своей прекрасной лошади! — воскликнула она. — Он словно позабыл, что находится в седле.

Королева улыбнулась.

— Но он не забыл о той, кто завтра же станет его королевой, стоит ей только кивнуть головкой или обратиться на польский трон взгляд своих черных миндалевидных глаз; а вместо этого она встречает несчастных чужеземцев с надутым видом или же делает гримасу, как, например, сейчас.

С этими словами Анна Австрийская шутливо ударила веером по губам Марии, которая тоже улыбнулась, но тут же опустила голову, упрекая себя за веселость, и сосредоточилась, чтобы вернуть грустное настроение, которое начинало понемногу рассеиваться. Для этого ей даже пришлось еще раз взглянуть на тучи, нависшие над замком.

— Бедное дитя, ты делаешь все возможное, чтобы сохранить верность своей печальной любви,— продолжала королева.— Ты терзаешься, не спишь, плачешь, перестаешь есть за обедом; ты проводишь ночи в мечтах или за письмом; но, предупреждаю, этим ты ничего не добьешься, разве только похудеешь, подурнеешь и не станешь королевой. Твой Сен-Мар — честолюбивый мальчишка, который погубит себя.

Видя, что Мария прижала платок к лицу и опять льет слезы, Анна Австрийская вернулась в спальню и сделала вид, будто перебирает драгоценности на туалетном столике; но вскоре она медленно, степенно вышла на балкон и оперлась о перила; Мария немного успокоилась и грустно смотрела на окрестности, на далекие холмы и на грозу, которая все усиливалась.

Королева опять заговорила, на этот раз более серьезно.

— Господь бог к вам милосерднее, чем вы, быть может, заслужили Мария, вы вели себя очень неблагодарно; он спас вас от большой опасности; вы хотели принести великие жертвы, но, к счастью, все обернулось иначе, чем вы полагали. Невинность спасла вас от любви; вы похожи на особу, которая вместо смертельного яда выпила чистой, безвредной воды.

— Что вы хотите этим сказать, государыня? Разве я не достаточно несчастна?

— Не перебивайте меня,— молвила королева,— попробуем взглянуть другими глазами на ваше теперешнее положение. Я не собираюсь обвинять вас в неблагодарности к кардиналу: у меня достаточно причин не любить его! И я сама присутствовала при рождении заговора.

Однако вам следовало бы вспомнить, дорогая, что во всей Франции один только кардинал пожелал, вопреки мнению королевы-матери и двора, вступить в войну за герцогство Мантуанское; он отторг его от Империи

и вернул герцогу Неверскому, вашему батюшке; и здесь, в этом самом Сен-Жерменском замке, был подписан договор о низвержении герцога де Гуастала. Вы были тогда еще ребенком... Но вам, верно, рассказывали об этом. И вот из-за любви к вам (готова верить этому, как и вы) двадцатидвухлетний юноша собирается его убить...

— О государыня, он не способен на это. Клянусь вам, он отказался...

— Я уже просила, Мария, не перебивать меня. Знаю, он великодушен, благороден; хочу верить, что вопреки духу нашего времени он одумается и не пойдет на преступление, не убьет его хладнокровно, как кавалер де Гиз убил барона де Люз, прямо на улице. Но достанет ли у него сил помешать убийству, если Ришелье будет схвачен? Мы этого не знаем так же, как и он! Одному богу известно будущее. Несомненно одно: он восстал против кардинала ради вас и, чтобы свергнуть его, готовит междоусобную войну, которая, быть может, уже разразилась, пока мы беседуем с вами. Но как бы ни обернулась эта война, она будет безуспешной и ничего не принесет, кроме зла, ибо Гастон Орлеанский собирается выйти из заговора.

— Возможно ли, государыня?

— Выслушайте меня, прошу вас, я знаю это наверное, но больше вам ничего не скажу. Что сделает тогда обер-шталмейстер? Как он и ожидал, король отправился за советом к кардиналу. Советоваться с ним, значит ему уступить; но договор с Испанией уже подписан, и, если его обнаружат, что станется с господином де Сен-Маром, оставшимся в полном одиночестве? Не дрожите так, мы его спасем, мы спасем его жизнь, обещаю вам; еще не поздно... надеюсь...

— Ах, государыня, вы только надеетесь, значит, я погибла!— воскликнула Мария, почти теряя сознание.

— Сядемте,— проговорила королева. Она села рядом с Марией у порога опочивальни и продолжала:— Разумеется, прося о помиловании, его высочество заступится и за других заговорщиков, но самое меньшее, что им грозит,— это изгнание, пожизненное изгнание. Итак, герцогиня Неверская и Мантуанская, принцесса Мария Гонзаго будет супругой изгнанника Анри д'Эффиа, маркиза де Сен-Мара!

— Я последую за ним в изгнание, государыня, это мой долг, я его жена!..— воскликнула Мария, рыдая.— Мне хотелось бы знать, что он уже в изгнании, что он в безопасности.

— Детские мечты!— сказала королева, поддерживая Марию.— Очнитесь, дитя мое, очнитесь, это необходимо; я не отрицаю достоинств господина де Сен-Мара: он умен, у него сильный характер, много мужества; но, к счастью, он вам никто, вы не жена его и даже не его невеста.

— Я принадлежу ему, государыня, ему одному...

— Но без благословения церкви,— перебила ее Анна Австрийская,— без брака: ни один священник не посмел бы обвенчать вас; ваш духовник и тот отказался сделать это, он сам мне сказал. Молчите,— продолжала она, прижимая свои тонкие красивые пальцы к губам Марии,— молчите! Вы скажете, конечно, что господь бог услышал ваши клятвы, что вы не можете жить без него, что ваши судьбы связаны навеки, что одна смерть нарушит ваш союз! Речи, свойственные вашему возрасту, прекрасные, быстротечные грезы, при воспоминании о которых вы улыбнетесь когда-нибудь, радуясь, что вам не приходится оплакивать их всю жизнь. Среди окружающих меня молодых, блестящих придворных дам нет ни одной, которая не лелеяла бы в вашем возрасте такой же дивной мечты, не думала бы, что любовные узы нерасторжимы, и не давала бы тайных клятв в верности. И что же? Мечты рассеялись, как дым, узы расторгнуты, клятвы позабыты; однако все они стали счастливыми женами и матерями и пользуются почетом, который приличествует их сану; по вечерам они бывают при дворе, смеются, танцуют... Не трудно отгадать, что вы ответите на это... Они не любили так сильно, как вы, не правда ли? И опять ошибаетесь, дорогое дитя; они любили так же сильно, как вы, и так же много плакали. Теперь я открою вам важную тайну — причину вашего отчаяния, ибо вам самой непонятен снедающий вас недуг. Мы ведем двойную жизнь, друг мой; наша сокровенная жизнь, жизнь чувств, разрывает нам сердце, тогда как внешняя жизнь вопреки всему властвует над нами. Мы неизбежно зависим от людей, особенно если занимаем высокое положение. Наедине с собой нам кажется, будто мы повелеваем роком, но приход хотя бы двух-

трех человек напоминает нам о наших титулах и ранге, — и цепи тотчас же дают себя знать. Да что я говорю? Живите вы хоть затворницей, послушно внимающей голосу страсти, который подсказывает вам мужественные, необычайные решения, склоняет вас к невиданным жертвам, достаточно лакею обратиться к вам за приказаниями, чтобы нарушить эти чары и вернуть вас к действительности. Вас губит борьба между вашими намерениями и занимаемым вами положением; в глубине души вы порицаете себя, горько себя упрекаете.

Мария отвернулась.

— Да, вы считаете себя преступницей. Не корите себя, Мария: люди так несовершенны и так зависят друг от друга, что, даже отказываясь от света, — мы не раз это видели, — они поступают так именно ради этого света; ведь у отчаяния, как и одиночества, есть доля кокетства. Уверяют, будто самые угрюмые отшельники осведомлялись о том, что говорят о них в свете. Эта зависимость от мнения людей — благо, ибо она почти всегда обуздывает наше воображение и приходит нам на помощь при выполнении обязанностей, которыми мы слишком часто пренебрегаем. Надо принимать жизнь такой, какова она есть (вы поймете это, надеюсь), и тогда после жертв, принесенных во имя безрассудства, испытаешь удовлетворение изгнанника, возвратившегося в лоно семьи, радость больного, который видит солнце после ночных кошмаров. Уверенность, что ты обрел как бы свое естественное положение, порождает то спокойствие, которое светится во многих глазах, тоже проливавших некогда горькие слезы; ибо редкая женщина не изведала ваших мук. Неужели вы сочтете себя клятвopеступницей, если откажетесь от Сен-Мара? Ведь ничто вас не связывает с ним; вы с избытком выполнили свой долг, более двух лет отвергая королевские короны. А что он сделал, этот пламенный поклонник? Он возвысился, чтобы подняться до вас; но разве честолюбие, которое было, по вашему, пособником любви, не могло, напротив, само прибегнуть к ее помощи? Не думаю, чтобы этого юношу увлекала только нежная страсть, он чересчур холоден для этого, чересчур спокоен среди политических хитросплетений, чересчур независим в своих обширных

замыслах и чудовищных намерениях. Что скажете вы, оказавшись не целью, а всего лишь средством?

— Я все равно буду его любить,— ответила Мария.— Пока он жив, я принадлежу ему.

— Но пока я жива,— твердо сказала королева,— я буду противиться вашей склонности.

При этих последних словах дождь и град с силой обрушились на балкон; воспользовавшись непогодой, королева быстро встала и вернулась в свои покои, где ее уже ожидали герцогиня де Шеврез, Мазарини, госпожа де Гемене и польский воевода. Королева подошла к ним. Мария встала в отдалении, возле завешенного окна, чтобы скрыть свое заплаканное лицо. Ей не хотелось принимать участие в светском разговоре, но некоторые слова привлекли ее внимание. Королева показывала принцессе де Гемене бриллианты, только что полученные из Парижа.

— Что до этой короны, она не моя,— говорила она,— государь заказал ее для будущей польской королевы; еще неизвестно, кто ею будет.— И, повернувшись к польскому послу, она спросила:— Мы видели вас верхом, князь, куда вы направлялись?

— К герцогине де Роган,— ответил поляк.

Вкрадчивый Мазарини, пользовавшийся любым случаем, чтобы проникнуть в чужие тайны и оказаться полезным, благодаря вырванным признаниям, подошел к королеве.

— Как кстати мы заговорили о польской короне,— сказал он.

Мария не вынесла этого намека и сказала находившейся поблизости г-же де Гемене:

— Разве господин де Шабо польский король?

Королева услышала слова Марии и обрадовалась ее невольному порыву досады. Желая подзадорить свою любимицу, она одобрительно отнеслась к последующему разговору и сделала вид, что поощряет его.

— Нелепее брака быть не может!— воскликнула принцесса де Гемене.— А ведь нет возможности отговорить ее. Неужели мадемуазель де Роган, гордячка, которая отказала графу Суассонскому, герцогу Веймарскому и герцогу Немурскому, станет женой простого дворянина! Какая жалость, право! Куда мы идем? Страшно подумать.

Мазарини спросил, на что-то намекая:

— Как! Неужели это правда? Любовь при дворе? Настоящая глубокая любовь? Кто этому поверит?

Между тем королева, как бы играя, открывала и закрывала ларец, в котором лежала новая корона.

— Бриллианты идут только к черным волосам,— молвила она.— Ну же, Мария, дайте вашу головку...— И добавила:— Корона вам удивительно к лицу.

— Можно подумать, что она заказана для принцессы,— подтвердил Мазарини.

— Я готов отдать капля по капле всю свою кровь, лишь бы она осталась на этой головке,— сказал польский воевода.

Мария по-детски улыбнулась сквозь слезы, которые еще блестели у нее на глазах, и эта улыбка была подобно солнцу, проглянувшему после дождя; но она тут же сильно покраснела и выбежала из комнаты.

Послышался смех. Королева проводила ее глазами, улыбнулась, протянула польскому послу руку для поцелуя и удалилась, чтобы написать письмо.



Глава XXIV

ТРУД

Не на что надеяться в мире сем бедному, мелкому люду, поелику величайший король столь много скорбел и столь много трудился.

Филипп де Комин

Однажды вечером под Перпиньяном произошло нечто неожиданное. Было десять часов, и всё спало. Осаждавшие действовали вяло, атаки почти приостановились, лагерь и город пребывали в оцепенении. Испанцы обращали мало внимания на французов, ибо пути сообщения с Каталонией были свободны, как в мирное время, во французской же армии всех снедала тайная тревога — предвестница важных событий. Однако с виду все было спокойно; слышались лишь мерные шаги часовых, и в ночном мраке поблескивали красные огоньки их дымящихся ружейных фитилей. Вдруг зазвучали трубные сигналы мушкетеров, легкоконных отрядов и отрядов тяжело вооруженных всадников, и почти одновременно раздалась команда «*на конь!*». Караульные закричали «*к оружию!*» — и сержанты с зажженным факелом в одной руке и с пикой в другой стали обходить палатки, чтобы разбудить солдат, построить их и пересчитать. Длинными вереницами потянулись люди; в суровом молчании проходили они по лагерю и занимали предназначенное им место в строю; слышался стук их тяжелых сапог, а цоканье копыт говорило о том, что и кавалерия производит тот же маневр. По прошествии получаса шум утих, факелы погасли и снова наступила тишина; но войска находились теперь в боевой готовности.

Одна из крайних палаток лагеря, освещенная изнутри огнем факелов, блестела в темноте, как звезда; вблизи можно было хорошо рассмотреть эту прозрачную белую пирамиду; на ее холщовых стенках четко

вырисовывались силуэты двух людей, ходивших взад и вперед. Снаружи ожидали несколько всадников на конях; в палатке находились де Ту и Сен-Мар.

Видя, что благочестивый и рассудительный де Ту встал спозаранку и уже успел вооружиться, всякий принял бы его за одного из руководителей заговора. Но достаточно было взглянуть в его строгую осанку и мрачное выражение глаз, чтобы рассудить иначе: порицая заговор, де Ту всё же принимал в нем участие и сознательно губил себя под влиянием какого-то чрезвычайного решения, которое помогло ему превозмочь ужас, внушаемый этим предприятием. С тех пор как Анри д'Эффия открыл ему сердце и поведал свою сокровенную тайну, он убедился, что предостережения бесполезны, — столь непоколебима была решимость друга. Он понял даже больше того, что сказал ему Сен-Мар, ибо увидел в его тайной помолвке с принцессой Марией те любовные узы, которые нередко влекут за собой загадочные ошибки, невольные страстные порывы, требующие для своего очищения немедленного благословения церкви. Он понял непереносимую муку любовника, обожаемого повелителя юной Марии, который осужден ежедневно являться перед ней, как чужой, и выслушивать разговоры о подготавливаемых для нее брачных союзах. В тот день, когда Сен-Мар чистосердечно открылся ему, советник пустил в ход все свое красноречие, чтобы помешать обер-шталмейстеру заключить договор с чужеземцами. Он взывал к священным воспоминаниям, к лучшим чувствам друга — все было напрасно: тот еще больше замыкался в своем неодолимом упорстве. Как помнит читатель, Сен-Мар резко возразил ему: *«Но разве я вас просил принимать участие в заговоре?»*, а де Ту, пообещав не выдавать его, собрал все свои силы и сказал вопреки голосу сердца: *«Не ждите от меня ничего более, сударь, если вы подпишете этот договор»*. Сен-Мар подписал договор, и, однако, де Ту все еще был подле него.

Привычка обсуждать замыслы друга, быть может, несколько сгладила то, что в них было дурного; презрение к порокам кардинала-герцога, негодование против подкупности правосудия и порабощения парламентов, с которыми была издавна связана его семья, громкие имена и, главное, благородство руководителей заговора — все это смягчило первое тягостное впечатле-

ние. Обещав Сен-Мару не выдавать тайны, де Ту считал себя вправе выслушивать признания друга, а после случая у Марион Делорм, скомпрометировавшего его самого как сообщника заговорщиков, он полагал, что связан с ними узами чести и обязан хранить нерушимое молчание. С тех пор он не раз встречался с Гастоном Орлеанским, с герцогом Буйонским и Фонтраем; они привыкли безбоязненно разговаривать при нем, он привык слушать их без возмущения. А ныне опасность, которой подвергался его друг, неодолимо влекла его в тот же водоворот. Он терзался угрызениями совести, но повсюду следовал за Сен-Маром и от избытка щепетильности не решался сделать ни одного замечания, которое могло бы навести на мысль, что он боится за себя. Он бесповоротно пожертвовал своей жизнью, и малейший намек на то, чтобы потребовать ее обратно, казался ему недостойным их обоих.

Обер-шталмейстер был в полном вооружении, в латах и ботфортах. Огромный пистолет с тлеющим фитилем был положен на стол, между двумя факелами; тут же лежали массивные часы в медном футляре. Де Ту в черном плаще стоял неподвижно, скрестив на груди руки: Сен-Мар ходил взад и вперед, заложив руки за спину, и посматривал время от времени на стрелку часов, которая, по его мнению, двигалась слишком медленно; он приоткрыл палатку и взглянул на небо.

— Я не вижу своей звезды,— сказал он, возвращаясь,— но нужды нет, она здесь, в моем сердце!

— Время сейчас позднее,— заметил де Ту.

— Скажи лучше, время летит. Оно летит, друг мой, летит! Еще двадцать минут, и все совершится. Войска ждут лишь пистолетного выстрела, чтобы выступить.

Де Ту, державший распятие из слоновой кости, смотрел то на крест, то на небо.

— Час жертвы настал,— молвил он,— я не раскаиваюсь, но как горька чаша греха! Я посвятил свою жизнь раздумью и невинным трудам, а ныне готовлюсь совершить преступление и взяться за меч.— Тут он с силой сжал руку Сен-Мара и в порыве слепой преданности воскликнул:— Но ведь это для вас, для вас! Я радуюсь своим заблуждениям, если они послужат вашей славе, и вижу в своей ошибке лишь ваше счастье. Простите мне этот минутный возврат к образу мыслей всей моей жизни.

Сен-Мар пристально смотрел на него, и слеза медленно катилась по его щеке.

— Любезный друг,— сказал он,— да падет ваша вина на мою голову! Но будем надеяться, что бог, милосердный к тем, кто любит, помилует нас; ибо мы совершаем преступление во имя святых чувств: я — ради любви, вы — ради дружбы.

Бросив взгляд на часы, Сен-Мар взял в руки большой пистолет и сурово посмотрел на его чадающий фитиль. Длинные волосы падали на его лицо, подобные гриве молодого льва.

— Не спеши, гори медленно!— воскликнул он.— Ты зажжешь пожар, который не потушить всем волнам океана; твоё пламя скоро озарит половину мира и охватит, быть может, престолы королей. Гори медленно, драгоценный огонек, раздувать тебя будут грозные ветры — любовь и ненависть. Повремени, твоя вспышка найдет отклик повсюду — и в хижине бедняка, и в королевском дворце. Гори, гори, слабый огонек, ты — мой скипетр и моя молния.

Де Ту по-прежнему держал маленькое распятие из слоновой кости и тихо говорил:

— Господи, прости мне кровь, готовую пролиться; мы сражаемся против злодея и нечестивца!— И, повысив голос, он добавил:— Друг мой, правое дело побеждает, оно одно восторжествует. Бог не допустил, чтобы роковой договор вернулся к нам: свидетельство нашего преступления, по всей вероятности, уничтожено; мы будем сражаться без чужеземцев, а быть может, и вовсе не будем сражаться; господь бог наставит короля на путь истинный.

— Час настал, час настал!— воскликнул Сен-Мар, не спуская глаз с часов, и в голосе его прозвучало подобие жестокой радости.— Еще несколько минут, и кардиналисты будут раздавлены; мы двинемся на Нарбонн, он там... Дайте пистолет.

При этих словах Сен-Мар порывисто открыл палатку и взялся за фитиль пистолета.

— Гонец из Парижа! Королевский гонец!— крикнул чей-то голос.

И человек, весь в поту и грязи, соскочил, тяжело дыша, с лошади, вошел в палатку и вручил Сен-Мару небольшой конверт.

— От королевы, монсеньер,— сказал он.

Сен-Мар побледнел.

Маркизу де Сен-Мару, — прочел он.

Я пишу вам, чтобы просить, умолять вас возвратить к ее обязанностям нашу возлюбленную приемную дочь и наперсницу, принцессу Марию Гонзаго, которая только по причине вашей привязанности к ней отказывается от польского престола, ей предложенного. Я постаралась вызнать, что у нее на душе, и имею основание полагать, что она примет корону с меньшим усилием и меньшей печалью, чем вы, быть может, полагаете.

Ради нее вы затеяли войну, которая предаст огню и мечу прекрасную и дорогую моему сердцу Францию; умоляю, заклинаю вас поступить, как подобает дворянину, и великодушно освободить герцогиню Мантуанскую от клятв, которые она, быть может, дала вам. Верните покой ее душе и мир нашему любезному отечеству.

Королева, готовая, если нужно, пасть к вашим ногам,

Анна.

Сен-Мар спокойно отложил пистолет, хотя в первую минуту и хотел направить его на себя. И все же он положил его на стол, поспешно схватил карандаш и написал ответ на обороте того же письма:

Государыня,

Мария Гонзаго, будучи моей женой, может стать польской королевой только после моей смерти, — я умираю.

Сен-Мар

И, словно не желая дать себе ни минуты на размышление, он с силой вложил письмо в руки гонца.

— Скачи, скачи обратно! — яростно проговорил он. — Если задержишься хоть на минуту, я убью тебя!

Убедившись, что гонец уехал, он вернулся в палатку.

Здесь, наедине с другом, он несколько мгновений стоял неподвижно, без кровинки в лице, как безумный вперив глаза в землю. Затем он почувствовал, что шатается.

— Де Ту! — крикнул он.

— Что вам надобно, друг, дорогой друг мой? Я здесь, подле вас. Вы поступили благородно, очень благородно, возвышенно!

— Де Ту, — проговорил он глухо и упал, как падает вырванное с корнями дерево.

Облик бурь меняется в зависимости от широт, где они свирепствуют; буря, охватившая огромные пространства на Севере, собирается, говорят, в небольшую тучу на знойном юге, тучу тем более грозную, что небосклон остается безоблачно-ясным и в разъяренных волнах, окрашенных кровью жертв стихии, еще отражается небесная лазурь. То же и с великими страстями: они меняются в зависимости от наших характеров, принимая иногда странное обличье; но сколь ужасны бывают они в сердцах людей сильных, сохранивших всю свою мощь под покровом, брошенным на них обществом! Когда молодость и отчаяние объединяются, трудно сказать, какому неистовству они предадутся или что повлечет за собой их внезапное смирение; неизвестно, взорвет ли вулкан гору, или огонь его сразу заглохнет в ее недрах.

Испуганный де Ту поднял своего друга: кровь текла у него из носа и ушей; его можно было принять за мертвеца, если бы не слезы, ручьем струившиеся по лицу, — это был единственный признак того, что он еще жив; но вдруг он открыл глаза, посмотрел кругом и с поразительным самообладанием обрел ясность мысли и свойственную ему силу воли.

— Я несу ответственность перед людьми, — сказал он, — надо покончить с этим. Мой друг, сейчас половина двенадцатого, давать сигнал уже поздно; прикажите от моего имени, чтобы войска разошлись; это была ложная тревога, и я все объясню сегодня же вечером.

Де Ту понял важность этого распоряжения, он вышел и тотчас же вернулся; он нашел Сен-Мара спокойным, его друг сидел и смывал кровь с лица.

— Уходите, де Ту! — сказал он, пристально глядя на него. — Вы мне мешаєте.

— Я не оставлю вас одного, — ответил тот.

— Спасайтесь, говорю вам, Пиренеи недалеко. У меня нет сил убеждать вас, даже ради вашей пользы; но если вы останетесь при мне, вас ждет смерть, предупреждаю.

— Я остаюсь, — сказал де Ту.

— В таком случае, да хранит вас бог!— продолжал Сен-Мар.— Ибо скоро я ничего не смогу для вас сделать. Хорошо, оставайтесь. Позовите Фонтрая и остальных заговорщиков, раздайте им эти паспорта, пусть немедленно уезжают; скажите, что все погибло и что я благодарю их. Еще раз прошу вас, бегите вместе с ними; но, что бы вы ни решили, жизнью заклиная вас, не следуйте за мной. Клянусь, сам я не стану покушаться на свои дни.

С этими словами он, не глядя на друга, пожал его руку и стремительно выбежал из палатки.

Между тем в нескольких лье от Перпиньяна велся иной разговор. В Нарбонне, в том самом кабинете, где Ришелье некогда обсуждал с Жозефом важные государственные дела, опять сидели эти двое людей, почти такие же, как прежде,— впрочем, министра сильно состарили три года болезни, а капуцин казался весьма напуганным результатом своей поездки, несмотря на полнейшее спокойствие своего хозяина.

Кардинал сидел в кресле, ноги его были забинтованы и обернуты подбитой мехом тканью; он держал на коленях трех котят, которые прыгали и резвились на его красной мантии; время от времени он брал одного из котят и сажал на спину другого, чтобы раздражить обоих; он забавлялся, любясь играми зверьков, в ногах у него спала их мать, подобная большой муфте или живому меховому клубку.

Жозеф сидел возле кардинала и вновь пересказывал то, что подслушал в исповедальне: бледнее при воспоминании об опасности, которой подвергался,— ибо Жак мог обнаружить его и убить,— он проговорил в заключение:

— И наконец, монсеньер, не могу побороть сильнейшего волнения при мысли о том, что угрожало и все еще угрожает вашему высокопреосвященству. Убийцы предлагали свои услуги, чтобы заколоть вас кинжалом; во Франции против вас настроен двор, половина армии и две провинции; за границей Испания и Австрия готовы предоставить смутьянам свои войска: повсюду козни или сражения, кинжалы или пушки!..

Кардинал трижды зевнул, не прерывая игры.

— Что за красивое животное кошка!— сказал он.— Это комнатный тигр: какая гибкость! Какое необычайное изящество! Взгляните на этого желтого котенка: он

притворился спящим, чтобы полосатый не обращал на него внимания, и напал на их братца; и правда, как он его терзает! Взгляните, он вонзил ему когти в бок! И, мнится мне, он убил бы его, съел живьем, если б силенки хватило! Как это занятно! Какие красивые зверьки!

Он откашлялся, чихнул несколько раз подряд и продолжал:

— Я велел передать вам, мессир Жозеф, чтобы вы говорили со мной о делах лишь после ужина; теперь я голоден, и время еще не настало; лекарь Шико советует мне вести правильный образ жизни, к тому же у меня опять колотье в боку. Вот расписание на сегодняшней вечер, — продолжал он, смотря на часы: — в девять часов мы покончим с делами господина обершталмейстера; в десять я велю вынести меня в сад, чтобы подышать свежим воздухом при свете луны; затем вздремну часок-другой; в полночь сюда явится король, а в четыре часа вы снова зайдете за приказаниями касательно арестов, приговоров и прочих дел, которые я дам вам для провинций, Парижа и войск его величества.

Ришелье проговорил все это ровным, безразличным голосом, лишь немного изменившимся из-за болезни легких и потери нескольких зубов.

Было семь часов вчераше; капуцин удалился. Кардинал спокойно поужинал, в половине девятого велел позвать Жозефа и, когда тот сел за стол, сказал ему:

— Как мало им удалось сделать против меня за два с лишним года. Поистине, жалкие они люди! Сам герцог Буйонский, которого я почитал человеком одаренным, теперь вовсе пал в моих глазах; я внимательно следил за ним, ну скажи на милость, сделал ли он хоть один шаг, достойный государственного мужа? Король, герцог Орлеанский и все остальные лишь восстанавливали друг друга против меня, но не сумели даже переманить на свою сторону ни одного из моих приверженцев. Только у юнца Сен-Мара имеется известная последовательность в намерениях; то небольшое, чего он добился, поистине достойно удивления; надобно отдать ему справедливость — он не лишен способностей; я взял бы его к себе на выучку, не будь он так упрям; но он слишком грубо ополчился на меня, что ж, тем

хуже для него. Я дал им поплавать на свободе в течение двух лет, а теперь пора вытащить невод.

— Давно пора, монсеньер, — сказал Жозеф, которого при этом разговоре пробирала невольная дрожь. — Известно ли вам, что от Перпиньяна до Нарбонна рукой подать? Известно ли вам, что ваши войска в перпиньянском лагере слабы и ненадежны, хотя здесь вас и охраняет сильная армия? К тому же молодое дворянство сильно возбуждено против вас, а на короля нельзя положиться.

Кардинал взглянул на стенные часы.

— Еще нет половины девятого, Жозеф, я же говорил вам, что займусь всем этим не раньше девяти. А пока что дела правосудия должны идти своим чередом; поэтому запишите то, что я вам продиктую, ибо память у меня превосходная. Как это явствует из моих заметок, в живых остались еще четверо судей Урбена Грандье; этот Грандье был поистине гениальным человеком, — злорадно добавил он; Жозеф закусил губу. — Все остальные судьи плачевно окончили свои дни; остается Умэн, который будет повешен как контрабандист: о нем беспокоиться нечего; но гнусный Лактанс, а также священники Барре и Миньон благоденствуют и поныне. Возьмите перо и пишите послание епископу города Пуатье:

М о н с е н ь е р,

По повелению его величества, отцов Барре и Миньона надлежит лишить приходов и без промедления отправить в Лион, так же как капуцина, отца Лактанса, дабы они предстали там перед особым трибуналом по обвинению в преступных замыслах, направленных против государства.

Жозеф писал с тем же хладнокровием, с каким турок обезглавливает человека по знаку своего повелителя.

Кардинал сказал, подписывая письмо:

— Я уведомлю вас, каким путем они должны исчезнуть; ибо весьма важно уничтожить все следы этого давнего процесса. Провидение сослужило мне хорошую службу, погубив почти всех судей Урбена Грандье; я заканчиваю начатое им дело. Вот и все, что узнают об этом грядущие поколения.

Вслед за этими словами он медленно прочел капучину отрывок из своих Мемуаров, в котором говорилось об одержимости и колдовских чарах Урбена Грандые.

Во время чтения Жозеф невольно поглядывал на часы.

— Тебе не терпится перейти к господину оберштальмейстеру? — спросил наконец кардинал. — Хорошо, займемся им, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты полагаешь, значит, что у меня нет причин для успокоения? Ты полагаешь, что при моем попустительстве заговорщики зашли слишком далеко? Нет. И вот бумажки, которые разуверят тебя, если ты с нимиознакомишься. Прежде всего в этом деревянном футляре спрятан договор с Испанией, захваченный у Олорона. Я очень доволен Лобардемоном: он ловкий человек!

В глазах Жозефа, затененных густыми, нависшими бровями, мелькнуло выражение жгучей ревности.

— Вашему высокопреосвященству неизвестно, у кого именно он отнял договор; правда, он предоставил этому человеку погибнуть и жаловаться нам не на что; и все же тот был агентом заговорщиков и собственным его сыном.

— Вы правду говорите? — строго спросил кардинал. — Впрочем, вы не посмели бы мне лгать. Как вы узнали об этом?

— От сопровождавших его людей, монсеньер; они готовы свидетельствовать на суде, а вот их показания.

Кардинал внимательно просмотрел вновь полученные бумаги.

— В таком случае, мы поручим ему судить наших заговорщиков, а затем вы сделаете с ним все, что пожелаете: я отдаю его в ваши руки.

Обрадованный Жозеф продолжал свои важные разоблачения.

— Неужели ваше высокопреосвященство собирается судить людей, еще не сложивших оружие? — спросил он под конец.

— Не сложивших оружие? Прочти это письмо его высочества к Шавиньи: он взывает о милости, с него довольно. Он даже не посмел писать мне, а обратился

с униженной мольбой к одному из монахов приближенных¹.

Но на следующий день он приободрился и направил второе письмо лично мне², а третье — его величеству.

Признания душили его, он уже не мог хранить их в тайне. Но меня не умилостивишь таким пустяком; мне нужна чистосердечная исповедь, иначе я вышлю его за пределы королевства. Утром я велел написать ему об этом³.

Что до блестящего и могущественного герцога Буйонского, самодержавного властителя Седана и главнокомандующего итальянской армией, его только что схватили собственные офицеры: он, видите ли, прятался среди солдат, в стог с соломы. Итак, остаются лишь

¹ Подлинные письма его высочества герцога Орлеанского и кардинала Ришелье:

Господину Де Шавиньи.

Милостивый государь мой,

Хотя я и полагаю, что вы недовольны мною и имеете на то достаточное основание, но, со всем тем, прошу вас способствовать примирению моему с его высокопреосвященством, вняв гласу своего истинного расположения ко мне, которое, смею надеяться, одержит верх над вашим гневом. Вам известно, как мне надобно поступить, чтобы вы выручили меня из беды, в коей я нахожусь. Вы уже дважды ходатайствовали обо мне перед его высокопреосвященством. Клянусь вам, что обращаюсь к вам с такой просьбой в последний раз.

Гастон Орлеанский

² *Его высокопреосвященству господину кардиналу-герцогу.*

Любезный брат мой,

Неблагодарный господин де Сен-Мар — самый преступный человек на свете, ибо он прогневил вас; милости, коими он пользовался со стороны его величества, неизменно настораживали меня против человека сего и его козней; но к вам, любезный брат мой, я питаю и всегда буду питать глубочайшую любовь и почтение... Я терзаюсь раскаянием, ибо опять нарушил верность, коей я обязан королю, моему повелителю, и призываю бога в свидетели, что до конца дней моих пребуду преданнейшим вашим другом с той же искренностью, с каковою имею честь быть,

любезный брат мой,

Вашим любящим братом,

Гастон».

³ *Ответ кардинала.*

Ваше высочество,

Поелику господу богу угодна чистосердечная и полная исповедь для отпущения грехов в мире сем, указую вам путь, коим вам надобно следовать, чтобы выйти из беды. Ваше высочество начали хорошо, так же надлежит и завершить начатое. Вот и все, что я имею вам сказать.

двое моих молодых соседей. Они воображают, что им подвластен весь лагерь, а между тем им остались верны лишь отряды в Красных мундирах, остальные войска подчинены герцогу Орлеанскому, а потому не выступят и будут задержаны моими полками. Я дозволил, однако, чтобы для вида войска подчинились заговорщикам. Если заговорщики дадут условный сигнал в половине двенадцатого, их тут же арестуют; в противном случае король выдаст мне их часом позже... Не удивляйся, он выдаст их, говорю тебе, между полночью и часом. Вот видите, все получилось без вашего участия, Жозеф; мы прекрасно обходимся без вас, да, впрочем, за последнее время не видно, чтобы вы оказывали нам большие услуги; вы не очень-то ревностно относитесь к своим обязанностям.

— Если бы вы только знали, ваше высокопреосвященство, сколько труда мне стоило выведать, каким путем отправились гонцы с договором! Я узнал это, лишь рискуя жизнью в исповедальне, когда подслушивал разговор двух влюбленных...

Из глубины кресла, в котором сидел кардинал, слышался насмешливый смех.

— Воображаю, какой у тебя был уморительный вид и как тебе было страшно в этой коробке, Жозеф; сдается мне, ты впервые внимал словам любви. Нравится ли тебе этот язык, отец Жозеф? И скажи мне, сумеешь ли ты его? Не думаю, чтобы ты вполне ясно представлял себе, о чем идет речь.

Скрестив руки, Ришелье с удовольствием смотрел на озадаченного капуцина.

— Ну же, Жозеф, — продолжал он шутливым тоном вельможи, к которому прибегал порой, ибо его забавляло слышать возвышенные слова из уст презреннейшего человека, — дай мне определение любви. Что это такое, по-твоему? Ты же видишь, любовь существует не только в романах. Этот милый юноша затеял игру в заговор исключительно ради любви. Ты сам это слышал своими недостойными ушами. Ну же, скажи мне, что такое любовь? Я этого не знаю.

Капуцин был сражен; он растерянно уставился в пол и стал похож в эту минуту на какое-то омерзительное животное. После долгого раздумья он наконец ответил тягучим гнусавым голосом:

— Любовь, видимо, нечто вроде злокачественной лихорадки, от которой мутится рассудок; но, по правде говоря, монсеньер, я никогда не размышлял об этом предмете, и разговор с женщинами неизменно приводит меня в замешательство; по-моему, их следовало бы исключить из общества; право, не понимаю, к чему они пригодны, разве только проникать в чужие тайны, как наша молоденькая герцогиня или Марион Делорм, которую следует горячо рекомендовать вашему высокопреосвященству. Она обо всем позаботилась и ловко подбросила наше пророчество на собрании заговорщиков. Как и при осаде Эдена, дело не обошлось без *чуда*; остается лишь найти окно, через которое вас пронесут в день казни заговорщиков.

— Вы опять за свои глупости, сударь?— сказал кардинал.— Вы сделаете меня посмешищем, как, впрочем, и самого себя, если будете продолжать в том же духе. Я слишком могуществен, чтобы прибегать к помощи неба; чтобы это больше не повторялось! Занимайтесь лишь теми людьми, которых я предоставлю вам, ведь вы только что получили свою долю. Когда обер-шталмейстер будет схвачен, вы отвезете его в Лион для суда и казни. Я не желаю больше вмешиваться в это дело, оно слишком ничтожно для меня: Сен-Мар — камешек под моими ногами, и мне не пристало так долго заниматься им.

Жозеф молчал. Он не мог понять этого человека: несмотря на окружавших его вооруженных врагов, кардинал говорил о будущем, как о настоящем, которым он полностью располагает, а о настоящем, как о прошедшем, которого больше не приходится опасаться. Капуцин не знал, следует ли его считать безумцем или пророком, низшее он или высшее существо по сравнению с прочими смертными.

Удивление его еще возросло, когда в комнату поспешно вошел Шавиньи, споткнулся о табурет кардинала, чуть не упал и воскликнул в величайшем смятении:

— Монсеньер, один из ваших слуг прибыл из Перпиньяна: лагерь объят волнением, ваши враги на конях...

— Они спешатся, сударь,— ответил кардинал, придвигая к себе табурет,— однако вам, по всей видимости, недостает спокойствия.

— Но... но... монсеньер, разве не следует сообщить господину де Фаберу?

— Пусть себе поживает, да и вы сами идите спать и Жозеф тоже.

— Монсеньер, случилось нечто необычное: сюда идет король.

— Это действительно странно, — молвил министр, смотря на часы. — Я ждал его часа через два, не раньше. Уходите оба отсюда.

Вскоре послышался топот и бряцание оружия, возвещавшие о прибытии короля. Двустворчатые двери распахнулись; гвардейцы кардинала трижды ударили никами о паркет, и на пороге появился король.

Он шел, опираясь одной рукой на камышовую трость, а другой — на плечо отца Сирмона, своего духовника, который тут же удалился, оставив его с кардиналом. Ришелье встал с превеликим трудом, но не мог двинуться навстречу королю, ибо его больные ноги были забинтованы. Он сделал лишь вид, будто помогает монарху сесть у каминна, против себя. Людовик опустил в глубокое кресло, обложенное подушками, потребовал и выпил стакан эликсира, приготовленного для предупреждения частых обмороков — следствия его изнурительного недуга, жестом приказал свите выйти и, оставшись наедине с Ришелье, проговорил слабым голосом:

— Я умираю, дорогой кардинал; чувствую, что скоро отойду в иной мир; я слабею день ото дня, ни лето, ни южный воздух не возвратили мне сил.

— Я умру раньше вашего величества, — ответил министр. — Смерть уже поразила мои ноги, вы сами это видите; но пока у меня есть голова, чтобы мыслить, и рука, чтобы писать, я буду служить вам.

— А я полагаю, вы добавьте: и сердце, чтобы любить меня, — сказал Людовик XIII.

— Может ли ваше величество сомневаться в этом? — спросил кардинал, хмуря брови и кусая губы, ибо такое начало раздражало его.

— Порой я сомневаюсь в вас, — ответил король. — Послушайте, мне нужно откровенно побеседовать с вами и пожаловаться вам на вас же самих. Два ваших поступка лежат у меня на сердце — этому скоро три года; я ничего не говорил вам, но втайне гневался на вас, и если что-нибудь и побудило бы меня принять

предложения, противные вашим интересам, то именно эти воспоминания.

То была откровенность слабого человека, который вознаграждает себя, пугая своего порабощителя, ибо не смеет отплатить ему злом за зло и лишь мстит за угнетение ребяческими придирками. Ришелье понял из этих слов, что подвергался большой опасности; но он распознал в них также потребность короля излить, так сказать, все накопившееся в нем злопамятство и, чтобы приблизить минуту важных признаний, прибегнул к заверениям и клятвам, которые, как он полагал, должны были особенно раздосадовать короля.

— Нет, нет,— воскликнул наконец Людовик,— я ничему не поверю, пока вы не объясните мне двух вещей, которые не выходят у меня из головы; мне еще недавно напомнили о них, и я не могу оправдать их никакими доводами; я имею в виду суд над Урбенном Грандье, о котором я никогда не был вполне осведомлен, и вашу ненависть не только к моей несчастной матери, но и к ее праху.

— Только и всего, государь?— спросил Ришелье.— И это единственные мои проступки? Их легко объяснить. Первое дело следовало скрыть от взоров вашего величества из-за его отвратительных, непристойных подробностей. Мы, несомненно, столкнулись здесь с преступлением, которое не грешно назвать колдовством; само это название возмущает стыдливость, а рассказ о нем открыл бы невинности опасные тайны; было святым делом уберечь народ от вида всей этой скверны...

— Довольно, довольно, кардинал,— проговорил Людовик XIII, отворачиваясь, краснея и опуская глаза,— я не могу слушать далее; согласен с вами, такие картины были бы оскорбительны для меня; я одобряю ваши побуждения, хорошо. Я этого и не подозревал; от меня скрыли всю эту мерзость. Получили ли вы доказательства преступлений Урбена Грандье?

— Они все были у меня в руках, государь; а что касается достославной королевы Марии Медичи, меня удивляет, что ваше величество позабыли, насколько я благоговел перед ней. Да, я не боюсь признаться в этом, ей я обязан своим возвышением. Она первая удостоила обратить взор на Луссонского епископа, которому было тогда всего двадцать два года, и приблизила его к своей особе. Как я страдал, когда мне при-

шлось бороться против нее в интересах вашего величества! Но жертва была принесена ради вас, и я никогда не раскаивался и не стану раскаиваться в этом.

— Вы не будете раскаиваться, прекрасно, но мне-то каково?— молвил с горечью король.

— Сын божий подает вам пример, государь. С этим образцом всех совершенств мы и сообразовали свои поступки; и если памятник над священными останками вашей матушки еще не воздвигнут, бог мне свидетель, что мы откладывали эти работы из страха разбередить ваше сердце, напомнив вам о ее кончине. Но да будет благословен нынешний день за то, что вы разрешили мне заговорить об этом! Я сам отслужу первую мессу в Сен-Дени, когда прах ее будет туда перенесен, если только провидение дарует мне на это силы.

При этих словах недовольное лицо короля стало несколько приветливее, и кардинал, рассудив, что уговоров достаточно, неожиданно решил сделать смелый маневр и открыто напасть на врага. Итак, продолжая пристально смотреть на короля, он холодно сказал:

— Так вот почему вы дали согласие на мою смерть?

— Я?— переспросил король.— Вас ввели в заблуждение; я слышал, правда, о заговоре и хотел даже кое-что посоветовать вам; но я не отдавал никаких приказаний, направленных против вас.

— Заговорщики утверждают иное, государь; впрочем, я обязан верить вашему величеству и весьма рад, что люди ошиблись. Но что вы соизволите посоветовать мне?

— Я... мне хотелось откровенно сказать вам, чтобы — это, конечно, между нами, — чтобы вы остерегались герцога Орлеанского...

— Неужели? Мне, право, трудно этому поверить: вот письмо, которое он только что прислал мне для передачи вашему величеству; и, судя по этому письму, он виновен прежде всего перед своим государем.

Удивленный король прочел следующие строки:

Г о с у д а р ь.

Я в отчаянии оттого, что вновь нарушил верность, коей обязан вашему величеству; я умоляю вас милостиво принять тысячи моих извинений, а также выражение покорности и раскаяния.

Ваш всепокорнейший подданный Г а с т о н.

— Что это означает?— вскричал Людовик.— Неужто они посмели восстать также против меня?

— *Также!*— повторил про себя кардинал, кусая губы.— Да, государь, и против вас также,— продолжал он громко,— если верить вот этой бумажке.

Тут он вынул из деревянного футляра свиток пергамента и развернул его на глазах у короля.

— Это не что иное, как договор с Испанией, и, кстати сказать, я не думаю, чтобы ваше величество давало согласие на его заключение. Здесь имеется двадцать статей, составленных по всем правилам. В них все предусмотрено: крепость, отдаваемая в залог, число войск, помощь людьми и деньгами.

— Предатели!— возбужденно вскричал Людовик.— Их необходимо задержать; мой брат отрекся от заговорщиков и раскаялся, но прикажите арестовать герцога Буйонского.

— Слушаю, государь.

— Это будет нелегко, ведь он находится под защитой итальянской армии.

— Головой ручаюсь за его арест, государь; но нет ли других виновных?

— Кто же?.. О ком вы;.. Сен-Мар?— запинаясь, спросил король.

— Вот именно, государь.

— Понимаю... но... мне кажется, можно было бы...

— Выслушайте меня,— неожиданно воскликнул Ришелье громовым голосом,— с этим необходимо покончить, и сегодня же. Ваш фаворит открыто выступил во главе своих приспешников; выбирайте между им и мною. Выдайте ребенка мужчине, или мужчину ребенка, середины быть не может.

— Но... чего же вы потребуете, если я предпочту вас?— спросил король.

— Головы Сен-Мара и головы его советчика.

— Никогда... Это невысказано!— проговорил король с ужасом, впадая в ту же нерешительность, что и во время разговора с Сен-Маром о Ришелье.— Он мой друг точно так же, как и вы; при мысли о его смерти сердце мое обливается кровью. И почему вы не могли ужиться с ним? К чему эти распри? Они-то и довели его до крайности. Вы повергаете меня в отчаяние: и вы и он делаете меня несчастнейшим из людей!

Говоря это, Людовик закрывал лицо руками и, быть может, даже лил слезы; но непреклонный министр следил за ним, как следят за жертвой, и безжалостно, не дав королю ни минуты передышки, воспользовался, напротив, его смятением.

— Так ли вы выполняете заповеди господни, преподанные вам устами вашего духовника?— спросил он суровым, холодным тоном.— Вы сказали мне однажды, что церковь ясно повелела вам сообщать вашему первому министру все, что затевается против него, но я ничего не слышал от вас о готовящемся на меня покушении. Только благодаря вмешательству более надежных друзей, я узнал о заговоре; да и сами заговорщики по наитию свыше предались в мои руки, дабы покаяться в своих прегрешениях. Только один из них, и притом самый закоренелый и самый ничтожный, еще продолжает упорствовать; это он всем верховодит, это он предает Францию чужеземцам, уничтожает за один день плоды моих двадцатилетних трудов, поднимает гугенотов на юге страны, призывает к оружию все сословия, воскрешает уничтоженные прерогативы и разжигает, наконец, восстание Лиги, подавленное вашим отцом; ибо, можете не сомневаться, это она поднимает против вас свою голову. Готовы ли вы к бою? И где ваша палица?

Король был сражен, он ничего не отвечал и по-прежнему сидел, закрыв лицо руками. Неумолимый кардинал скрестил руки на груди и продолжал:

— Я боюсь, как бы вам не показалось, будто я пекусь о себе. Неужели вы полагаете, что я не знаю себя и что подобный противник меня очень тревожит? Поистине, мне следовало бы предоставить вам действовать и возложить тяжкое бремя государства на плечи этого молокососа. Поверьте, за двадцать лет я хорошо изучил ваш двор; я подготовил себе надежное убежище, куда мог бы немедленно отправиться даже вопреки вашей воле, и провести там те полгода жизни, которые еще мне осталось прожить. Любопытно было бы взирать оттуда на ваше царствование! Что ответите вы, например, мелким князькам, которые поднимутся, едва только я перестану сдерживать их, и скажут вам вслед за вашим братом, как они посмели сказать королю Генриху Четвертому: «Разделите между нами все крупные провинции по праву наследственного владения, и мы будем

удовлетворены!» Вы согласитесь, не сомневаюсь; разве можно отказать в такой малости тем, кто освободит вас от Ришелье? Да и, пожалуй, оно будет лучше, — чтобы править Иль-де-Франсом, который, вероятно, оставят вам в качестве потомственного владения, вашему новому министру не понадобится столько бумаг.

Говоря это, Ришелье гневно отодвинул большой стол, занимавший почти всю комнату и заваленный бесчисленными бумагами и папками.

Беспримерная дерзость этой речи вывела Людовика из оцепенения, в которое он был погружен; он поднял голову и, казалось, что-то решил из страха принять другое решение.

— Ну что ж, сударь, я отвечу, что желаю царствовать один.

— В добрый час, — проговорил Ришелье, — но должен вас предупредить, что положение теперь весьма серьезное. В это время я рассматриваю как раз текущие дела.

— Я все беру на себя, — продолжал Людовик. — Я ознакомлюсь с делами, отдам приказания.

— Попробуйте, — сказал Ришелье. — Я удаляюсь, в случае какого-нибудь затруднения вызовите меня.

Он позвонил; в ту же минуту, словно они ждали этого сигнала, появились четверо рослых слуг и вынесли Ришелье вместе с его креслом в другие покои; ибо, как мы уже говорили, он более не мог ходить. Когда его пронесли через комнату, где работали секретари, Ришелье сказал громким голосом:

— Обращайтесь за приказаниями к его величеству.

Король остался один. Довольный своей неожиданной решимостью и гордый тем, что ему хоть раз в жизни удалось настоять на своем, он пожелал тотчас же приняться за работу. Он обошел огромный стол и увидел, что количество папок на нем соответствует количеству империй, королевств и областей тогдашней Европы; он открыл одну из папок и обнаружил в ней столько отделений, сколько провинций было в стране, к которой она относилась. Все было в порядке, но в порядке, страшном для короля, потому что каждая заметка содержала, если можно так выразиться, лишь квинтэссенцию дела и касалась только сути отношений данной державы с Францией. Этот лаконизм казался Людовику не менее загадочным, чем шифрованные

письма, разбросанные по столу. Тут уже ничего нельзя было разобрать: на эдиктах об изгнании и конфискации владений ларошельских гугенотов лежали договоры о союзе с Густавом-Адольфом и с северными гугенотами; заметки о генерале Банье, о Вальштейне, о герцоге Веймарском и Жане де Верте валялись вперемешку с письмами, найденными в шкатулке королевы, со списком ее ожерелий и драгоценных камней и с листками бумаги, содержащими различные истолкования каждой фразы, начертанной ее рукой. На полях одной из записок королевы была сделана следующая пометка: *Четырех строчек, написанных лобым человеком, достаточно, дабы привлечь его к суду.* Далее были свалены в кучу доносы на гугенотов, их планы создания республики, предусматривавшие деление Франции на области под управлением ежегодно избираемого начальника; к ним была приложена печать этого предполагаемого государства с изображением ангела — он стоит, опираясь на крест, и держит над головой Библию. Тут же находился список священнослужителей, которых папа возвел в кардинальский сан одновременно с епископом Лусонским (Ришелье). Среди них был и маркиз де Бедемар, посол Франции в Венеции и мятежник.

Людвиг XIII выбивался из сил, пытаясь истолковать события и найти бумаги, при помощи которых он мог бы распутать узел заговора и узнать, что злоумышлялось против его собственной особы, когда в кабинет вошел перешителю смирной походкой согбенный смуглый человек — это был государственный секретарь по имени Денуайе; он, кланяясь, приблизился к королю.

— Осмелюсь ли доложить вашему величеству о делах Португалии? — спросил он.

— Вы хотите сказать Испании? — спросил Людвиг. — Ведь Португалия — испанская провинция.

— Португалии, — настойчиво повторил Денуайе. — Вот манифест, только что полученный нами.

И он прочел:

Мы, Дон Жоан, милостью божьей король Португалии и Алгарве — королевств, лежащих супротив Африканского материка, повелитель Гвинеи и других аф-

риканских земель, владыка торговых путей с Эфиопией, Аравией, Персией и обеими Индиями...

— Что это? — спросил король. — Чей это манифест?

— Герцога Браганского, короля Португалии, коронованного уже целый... некоторое время тому назад, государь, при содействии некоего Пинто. Едва вступив на престол, он протягивает руку помощи восставшей Каталонии.

— Как, и Каталония восстала? Значит, у короля Филиппа Четвертого теперь другой первый министр, а не Оливарес?

— Нет, государь, все случилось именно потому, что у короля все тот же министр. Вот декларация, с которой каталонские Генеральные Штаты обратились к его католическому величеству; в ней говорится, что вся страна берется за оружие против его *нечестивых, отлученных от церкви* войск. Король Португальский...

— Говорите: «Герцог Браганский», — перебил его Людовик. — Я не признаю мятежников.

— Итак, герцог Браганский, ваше величество, — холодно проговорил государственный секретарь, — посылает в Каталонское княжество своего племянника, дона Игнасио де Маскаренасо, чтобы оказать покровительство этой стране (а быть может, и завладеть ее независимостью), ибо он не прочь взять и над ней опеку. Между тем войска вашего величества находятся под Перпиньяном.

— Ну так что же? — спросил Людовик.

— Сердцем каталонцы скорее французы, чем португальцы, государь, еще не поздно вырвать опеку над ними у короля... у герцога португальского.

— Чтобы я стал поддерживать мятежников! Как вы сместе!

— Таково было намерение его высокопреосвященства, — заметил государственный секретарь. — К тому же Испания и Франция находятся в состоянии открытой войны, и господин Оливарес, не колеблясь, протянул нашим гугенотам руку помощи именем его католического величества.

— Хорошо, я подумаю об этом, — проговорил король. — Оставьте меня одного.

— Но, государь, каталонские Генеральные Штаты торопят нас, арагонские войска уже выступили против них...

— Посмотрим... Я приму решение через четверть часа, — ответил Людовик XIII.

Низенький государственный секретарь вышел недовольный, разочарованный. Его сменил Шавиньи, который нес папку, украшенную британским гербом.

— Жду приказаний вашего величества касательно английских дел, — сказал он. — Члены парламента под предводительством графа Эссекса* заставили снять осаду Глостера; принц Руперт потерпел поражение в битве при Нью-Бери, что было весьма пагубно для его величества, английского короля. Парламент пользуется поддержкой крупных городов, портов и всего пресвитерьянского населения. Король Карл Первый* взывает о помощи, которую королева не находит более в Голландии.

— Следует послать войска моему брату, английскому королю, — молвил Людовик.

Но ему захотелось ознакомиться с предыдущими бумагами, и, просмотрев заметки кардинала, он увидел, что тот написал собственноручно на первом обращении английского короля:

Надобно хорошенько подумать и подождать: Палата Общин сильна; король Карл рассчитывает на шотландцев, — они его предадут.

Надобно остерегаться. Некий военный, пришедший осмотреть Венсенский замок, сказал, что наносить удар монархам следует не иначе как по голове. За м е ч а т е л ь н о, прибавил кардинал. Затем он вычеркнул это слово и заменил его словом с т р а ш н о.

А ниже приписал:

Этот человек превосходит Ферфакса, — он разыгрывает из себя прозорливца; он будет велик. — В помощи отказать — потерянные деньги.*

Тогда король сказал:

— Нет, нет, не надо торопиться, подождем.

— Но, государь, события не ждут, — заметил Шавиньи, — если гонец запоздает на час, английский король может погибнуть годом раньше.

— Разве дела у него так плохи? — спросил Людовик.

— В лагере индепендентов проповедуют республи-

ку* с Библией в руке; в лагере роялистов спорят из-за первенства и смеются.

— Но нежданная удача все может спасти!

— Стюартам не везет*, государь, — сказал Шавиньи почтительно, хотя и тоном, наводящим на размышление.

— Оставьте меня, — проговорил король с неудовольствием.

Шавиньи медленно вышел.

Тут Людовик XIII увидел себя в истинном свете и ужаснулся своему ничтожеству. Он оглядел вороха бумаг, стал рассматривать их одну за другой, — всюду его подстерегали опасности, и они становились особенно грозными, едва он пытался их преодолеть. Он встал и, переменяя место, склонился над картой Европы или, точнее, набросился на нее: на севере, на юге и в центре королевства он нашел все свои страхи, собранные воедино; революции предстали перед ним в образе Евменид; в каждом краю дымился огнедышащий вулкан; ему слышались крики отчаяния королей, призывавших его, и гневные возгласы народов; он почувствовал, что земля Франции колеблется, разверзается у него под ногами: его слабый, усталый взор помутился, большая голова закружилась, и кровь волной прилила к сердцу.

— Ришелье! — крикнул он сдавленным голосом, зная в колокольчик. — Пусть позовут кардинала!

И без сознания упал в кресло.

Когда король открыл глаза, приведенный в чувство нашатырным спиртом, которым смочили ему губы и виски, он увидел перед собой пажей, но они тотчас же удалились, и он остался вдвоем с кардиналом. Неvozмутимый министр велел поставить свое кресло рядом с креслом короля и сидел теперь у его изголовья, точно врач возле больного, устремив сверкающий пронзительный взор на бледное лицо Людовика. Как только король немного оправился, Ришелье мрачным голосом возобновил страшный разговор:

— Вы звали меня, что вам угодно?

Людовик, который сидел, откинувшись на подушку, приоткрыл глаза, посмотрел на него и тотчас же поспешно зажмурился. Изможденное лицо кардинала с парой горящих глаз и острой седоватой бородкой, его скуфейка и мантия цвета крови и пламени — все это представилось ему воплощением нечистого духа.

— Царствуйте,— сказал он слабым голосом.

— Но... обещаете выдать мне Сен-Мара и де Ту?— продолжал непреклонный министр, наклонясь к королю, чтобы прочесть правду в его потухших глазах,— так жадный наследник преследует до самой могилы умирающего, следя за последними проблесками его воли.

— Царствуйте,— повторил король, отворачиваясь.

— Тогда подпишите: на этой бумаге начертано: *«Такова моя воля: взять их живыми или мертвыми»*.

Людовик, который по-прежнему сидел, откинувшись на спинку кресла, безвольно опустил руку на роковую бумагу и подписал.

— Сжальтесь, оставьте меня, я умираю!— пробормотал он.

— Это еще не все,— возразил тот, кого называют великим политиком.— Я не уверен в вас; отныне мне нужен залог, поручительство. Подпишите еще одну бумагу, и я вас покину.

Когда король приезжает к кардиналу, гвардейцам последнего оставаться при оружии; когда же кардинал является к королю, его гвардейцам стоять в карауле вместе с гвардейцами его величества.

Кроме того:

Его величество обязуется отдать кардиналу в качестве заложников обих принцев, своих сыновей, как поручительство своей чистосердечной к нему привязанности.

— Моих детей!— воскликнул Людовик, приподнимаясь.— И вы осмеливаетесь...

— Предпочитаете, чтобы я удалился?— спросил Ришелье.

Король подписал.

— Все ли это наконец?— спросил он с глухим стоном.

Но это не был конец: ему уготовано было новое испытание.

Дверь неожиданно отворилась, и в комнату вошел Сен-Мар. На этот раз затрепетал кардинал.

— Что вам угодно, сударь?— спросил он, схватив колокольчик, чтобы позвать слуг.

Обер-шталмейстер был не менее бледен, чем король;

и, не удостоив Ришелье ответом, он спокойно приблизился к Людовику XIII. Тот взглянул на него, как смотрит человек, только что приговоренный к смерти.

— Вам нелегко меня арестовать, государь, так как у меня под началом двадцать тысяч солдат,— сказал Анри д'Эффиа тихо и кротко.

— Увы, Сен-Мар, ты ли натворил все это?— спросил Людовик горестно.

— Да, государь, и я сам приношу вам свою шпагу, ибо вы, вероятно, только что предали меня,— сказал он, отстегивая шпагу и кладя ее у ног короля, который молча потупился.

Сен-Мар улыбнулся грустно, но без всякой горечи, ибо уже не принадлежал к этому миру. Затем он презрительно взглянул на Ришелье.

— Я сдаюсь, потому что хочу умереть,— молвил он,— но я не побежден.

Кардинал в ярости сжал кулаки, однако сдержался.

— Кто ваши сообщники?— спросил он.

Сен-Мар пристально посмотрел на Людовика XIII и приоткрыл рот, собираясь заговорить... Король опустил голову и испытал в это мгновение печеловеческую муку.

— У меня их нет,— проговорил наконец Сен-Мар, сжавшись над королем.

И вышел из комнаты.

Он остановился в первой же галерее, где все дворяне и Фабер в том числе встали при его появлении. Он прямо направился к Фаберу и сказал:

— Сударь, прикажите этим господам арестовать меня.

Те переглянулись, не смея приблизиться к нему.

— Да, сударь, я ваш пленник... да, господа, я отдал свою шпагу, и, повторяю, я пленник короля.

— Глазам своим не верю!— воскликнул генерал.— Вы двое просите арестовать вас, а между тем я не получал приказа об аресте.

— Двое?— переспросил Сен-Мар.— Конечно, это господин де Ту; увы, я узнаю его по проявленному самоотвержению!

— А разве я не разгадал тебя? — воскликнул де Ту, выступая вперед и бросаясь в его объятия.



Глава XXV

УЗНИКИ

И я в своей душе увидел жребий брата.

Пишаль. «Леониды»

Умереть! Когда молод еще и силен!
Когда я даже стрел не растратил пернатых,
Не успел отомстить, уничтожить проклятых
Палачей, растоптавших закон!

Андре Шенье

Среди старинных замков, которые Франция теряет, к сожалению, с каждым годом, словно драгоценные камни своей короны, существовала на левом берегу Соны мрачная, неприступная крепость. Как грозный страж, стояла она у ворот Лиона, название же свое заимствовала от огромной пирамидальной скалы Пьер-Ансиз, склоненная вершина которой нависала над дорогой и рекой и смыкалась, по преданию, со скалами противоположного берега, образуя нечто вроде естественной арки; но время, вода и рука человека все уничтожили, оставив лишь нагромождение гранитных глыб, послуживших основанием этому замку, ныне тоже разрушенному. Лионские архиепископы, бывшие также мирскими владыками города, выстроили его некогда для себя, и он долгие годы служил их резиденцией; затем замок превратили в крепость, а при Людовике XIII он стал государственной тюрьмой. Над этим сооружением господствовала одна-единственная гигантская башня с тремя узкими бойницами, а вокруг него теснилось несколько причудливых зданий, толстые стены которых соответствовали контурам высокой отвесной скалы.

Здесь-то кардинал Ришелье, который ревниво охранял попавшую в его руки добычу, и пожелал заточить своих молодых врагов. Предоставив Людовику первому въехать в Париж, он вывез их из Нарбонна и, влача за

собой, как трофеей новой победы, пересел на корабль в Тарасконе, неподалеку от устья Роны, словно для того, чтобы продлить сладость мести, которую люди посмели назвать радостью богов; выставляя напоказ перед жителями обоих берегов свое великолепие и свою ненависть, он медленно плыл вверх по течению на двух ладьях с золочеными веслами, украшенных его гербом, сам он находился в первой ладье, а за ней тащилась на длинной цепи вторая с двумя его жертвами.

Часто по вечерам, когда спадала жара, на обеих ладьях убирали брезент, и тогда на корме передней можно было видеть Ришелье, который сидел там бледный, изнуренный; в следующей ладье стояли, поддерживая друг друга, двое молодых пленников и спокойно смотрели на быстрое течение реки. Воины Цезаря, некогда расположившиеся лагерем на берегах Роны, подумали бы, что видят перед собой неумолимого перевозчика подземного царства, влачащего за собой неразлучные тени Кастора и Поллукса; но у современников-христиан даже не хватало смелости предаться размышлениям и подумать о том, что священнослужитель сам везет на казнь своих врагов: он был для них лишь проезжавшим мимо всесильным министром.

И в самом деле, он проехал мимо, оставив пленников под охраной того самого города, в котором заговорщики собирались его умертвить. Он любил посмеяться над судьбой и водрузить трофей там, где она готовила ему могилу.

Он повелел плыть вверх по течению Роны, — говорится в рукописной газете того времени, — на корабле, где построена была опочивальня, обитая тканью с малиновой бархатной листвой по золотому полю. В комнату сию вела прихожая, столь же богато отделанная; на носу и на корме корабля ехало изрядное число знатных сеньоров, а также гвардейцев в пунцовых плащах, расшитых золотом, серебром и шелком. Его высокопреосвященство покоился на ложе, покрытом пурпурной тафтой. Монсеньер кардинал Биньи и монсеньеры епископы Нантский и Шартрский обретались со множеством аббатов и дворян на других судах. Первым шел фрегат, отыскивающий наиболее удобный фарватер, а за ним следовало другое судно, с аркебузниками и офицерами,

их командирами. Прежде нежели подойти к какому-нибудь острову, на оный спускали солдат, чтобы проверить, нет ли там сомнительного люда; и, не найдя такового, солдаты все же оставались на суше и охраняли берега до тех пор, пока мимо не проходили два судна со знатью и воинами.

Затем следовал корабль его высокопреосвященства, таща за собой суденышко с господами де Ту и Сен-Маром под охраной отборных гвардейцев короля и двенадцати гвардейцев его высокопреосвященства. За кораблями плыли три лодки, груженные одеждой и серебряной утварью его высокопреосвященства, с несколькими дворянами и солдатами на борту.

По берегу Роны, в Дофине, шли две роты легкой кавалерии, и столько же кавалеристов ехало по другому берегу реки в Лангедоке и Виваре; в те города, где его высокопреосвященство намеревался отдохнуть или провести ночь, входил отменный полк в пешем строю.

Отрадно было слушать трубы, игравшие в Дофине, ответные звуки труб в Виваре и повторение этих эхом наших скал; мнилось, что природа и та тшится, дабы все вышло как можно лучше.

Глухой сентябрьской ночью 1642 года, когда в неприступной тюремной башне все, казалось, спало, дверь первой комнаты бесшумно отворилась, и на пороге появился человек в коричневой сутане, подпоясанной веревкой, в сандалиях и со связкой огромных ключей в руке: это был Жозеф. Из предосторожности он задержался на месте и стал молча разглядывать покои обер-шталмейстера. Толстые ковры и великолепные ткани покрывали стены тюрьмы; кровать, задрапированная красным штофом, была приготовлена на ночь, но пленника там не было; облаченный в длинное серое одеяние наподобие монашеского, он сидел в кресле у высокого каминна и при мигающем свете лампы созерцал маленький золотой крест; раздумье его было столь глубоким, что капуцин медленно приблизился и встал перед узником прежде, нежели тот его заметил. Наконец он поднял голову и воскликнул:

— Что тебе надобно здесь, мерзавец?

— Вы слишком вспыльчивы, молодой человек, — тихо отвечал загадочный посетитель, — два месяца

тюрьмы могли бы вас утихомирить. Я пришел сказать вам нечто очень важное: выслушайте меня; я много думал о вас и вовсе не так вас ненавижу, как вы полагаете. Время дорого: не будем тратить лишних слов. Через два часа вас поведут на допрос, будут судить и казнят вместе с вашим другом; иначе и быть не может, — все должно закончиться в тот же день.

— Знаю и надеюсь на это, — ответил Сен-Мар.

— Так вот, я еще могу вызволить вас из беды; я много размышлял, как уже докладывал вам, и пришел сюда с весьма приятным для вас предложением. Кардиналу осталось жить не более полугода. К чему таиться? Давайте говорить начистоту: сами видите, до чего я вас довел ради него, можете судить по этому, что я с ним сделаю ради вас, если вы только пожелаете; мы можем сократить тот срок, который ему отпущен богом. Король вас любит и с восторгом призовет обратно, как только узнает, что вы живы; вы молоды, вы долго будете счастливы и могущественны; вы окажете мне покровительство и поможете стать кардиналом.

Юный пленник онемел от удивления, он не мог понять подобных речей, и, казалось, ему было трудно спуститься с горних сфер, где он витал в мыслях.

— Но ведь Ришелье ваш благодетель! — только и мог он сказать.

Капуцин улыбнулся и, приблизившись к нему, продолжал шепотом:

— В политике нет благодетелей, есть лишь корысть, — вот и все. Человек на службе у министра не больше обязан хозяину, чем конь, которого выбрал седок. Я пришелся по вкусу кардиналу, и это весьма приятно. А теперь я волен сбросить его на землю. Этот человек никого не любит, кроме себя: он обманывает меня, постоянно откладывая мое повышение, я это прекрасно вижу; но, повторяю, я могу незаметно устроить ваш побег — я здесь всемогущ. Я заменю стражников, на которых он рассчитывает, другими людьми, им же приговоренными к смерти, они заключены поблизости, в Северной башне, башне забвения, которая выступает вон там, над водой. Вместо этих узников будут посажены его приспешники. Я пошлю лекаря-шарлатана, преданного мне душой и телом, к достославному кардиналу, от которого отказались ученейшие парижские лекаря; если мы с вами придем к соглашению,

он даст ему безошибочно действующее средство для вечного успокоения.

— Убирайся, убирайся прочь, нечестивый монах! — молвил Сен-Мар. — Нет человека на свете, подобного тебе; да ты и не человек! Ты пробираешься украдкой неслышными шагами в темноте, проникаешь сквозь стены, готовя свои тайные злодеяния; ты встаешь между любящими сердцами и навек разлучаешь их. Кто ты? Ты подобен не ведающей покоя проклятой богом душе грешника.

— Детские бредни! — сказал Жозеф. — Если б не эти ложные представления, из вас получился бы толк. Не существует, вероятно, ни проклятия, ни души. Если бы души умерших с жалобами возвращались на землю, тысячи бы их окружали меня, а я никогда не видел ни одной души даже во сне.

— Чудовище! — сказал Сен-Мар вполголоса.

— Опять слова, — продолжал Жозеф. — Нет ни чудовищ, ни добродетельных людей. Вы с господином де Ту похваляетесь тем, что называете добродетелью, а сами чуть было не погубили, неизвестно для чего, около ста тысяч человек, да еще скопом, у всех на виду, тогда как мы с Ришелье потихоньку отправили на тот свет гораздо меньше народа для того, чтобы учредить сильную власть. Если хочешь оставаться чистым, не надо гнаться за властью, или, по крайней мере, трезво смотреть на вещи и думать, как думаю я: «Вполне вероятно, что души вовсе не существуют и все мы дети случая; но по сравнению с другими мы наделены сильными страстями, которые следует удовлетворять».

— Какое облегчение! — вскричал Сен-Мар. — Он не верит в бога!

Жозеф продолжал:

— Между тем Ришелье и мы с вами родились честолюбцами и должны всем пожертвовать ради этой страсти!

— Несчастный, не смешивайте меня с собой!

— И, однако, это сущая правда, — сказал капуцин, — вы сами могли убедиться, что наша система куда лучше вашей.

— Мерзавец, ведь я ради любви...

— Нет, нет и нет!.. Ничего подобного. Опять слова, — видимо, вы сами верите им, но все, что вы делали, вы делали только ради себя; я слышал ваш разго-

вор с этой юной особой, — каждый из вас думал только о себе; вы не любили друг друга; она помышляла о своем высоком положении, вы — о честолюбии. Желание, чтобы другие обожали тебя и говорили, будто ты совершенство, — вот что такое любовь! Она лишь святой эгоизм, который и есть мое божество.

— Змий-искуситель! — сказал Сен-Мар. — Тебе мало умертвить нас! Зачем отравляешь ты жизнь, которую готовишься отнять? Какой демон преподал тебе это страшное познание человеческого сердца?

— Ненависть ко всему, что выше меня, — ответил Жозеф с тихим деланным смешком, — ради того, чтобы поспирать ногами тех, кого я ненавижу, я стал честолюбцем и научился находить слабую сторону ваших грез. Ведь даже в прекрасных плодах есть червоточина.

— Великий боже! Ты слышишь его? — воскликнул Сен-Мар, вскакивая и воздевая руки.

Тюремное одиночество, благочестивые беседы с другом и, главное, присутствие смерти, которая, подобно лучу неведомого светила, придает иную окраску привычным предметам, думы о вечности и (надо сознаться) огромные усилия, дабы обратить горькие сожаления в бессмертные надежды и направить к богу все ту любовь, которая на земле ввела его в заблуждение, — все это произвело в нем странную перемену; и, подобно колосьям, нежданно созревшим на солнце, душа его засияла ярчайшим светом, просветленная таинственным дыханием смерти.

— Великий боже! — повторил он. — Если этот злодей и его хозяин — люди, неужели и я человек? Молю тебя, обрати свой взор на наши два честолюбия — одно корыстно, запятнано кровью, другое чисто, самоотверженно; одним движет ненависть, другим — любовь. Взгляни на нас, господи, взгляни, рассуди и прости. Прости, ибо мы совершили величайшее преступление тем, что единожды шли с ними по пути, имя которому — честолюбие, какова бы ни была его конечная цель.

Жозеф топнул ногой и резко прервал его.

— Когда вы кончите молиться, — сказал он, — уведомьте меня, согласны ли вы мне помочь, и я тотчас же освобожу вас.

— Ни за что, нечестивец, ни за что я не приму от тебя помощи, — ответил д'Эффия, — ни за что не совер-

шу убийства! Я отказался от этого, когда обладал могуществом и мог распоряжаться тобой.

— Вы совершили ошибку: теперь власть была бы в ваших руках.

— Ах, разве дала бы мне счастье власть, разделенная с женщиной, которая не понимала меня, недостаточно любила и предпочла мне корону? После ее измены я не пожелал завоевать то, что называется властью; посуди же сам — возьму ли я власть, добытую путем преступления!

— Непостижимое безумие! — воскликнул капуцин, смеясь.

— Все — с ней, ничего — без нее, — такова моя сокровенная мысль.

— Вы отказываетесь из упрямства и тщеславия. Это невероятно, неестественно! — продолжал Жозеф.

— Ты отрицаешь преданность, — сказал Сен-Мар. — Понимаешь ли ты, по крайней мере, преданность моего друга?

— Ее также не существует; он последовал за вами, потому что... — Капуцин замялся, подыскивая слова. — Потому что... он вас многому научил, вы его творение... Он дорожит вами из самолюбия как своим созданием... Он любит читать вам наставления и чувствует, что уже не найдет больше такого покладистого восторженного ученика... Он убедил себя, что жизнь его связана с вашей... Или нечто в этом роде... он следует за вами по привычке... Впрочем, еще не все кончено... Посмотрим, что будет дальше, во время допроса; он, несомненно, станет отрицать, что знал о заговоре.

— Он не станет этого отрицать! — горячо воскликнул Сен-Мар.

— Так, значит, он знал о нем? Вы это признаете? — торжествующе спросил Жозеф. — Вы еще никогда этого не говорили.

— О небо! Что я сделал? — простонал Сен-Мар, закрывая лицо руками.

— Успокойтесь: он будет спасен, несмотря на это признание, если вы примете мое предложение.

Д'Эффия молчал.

— Спасите же вашего друга... — продолжал капуцин. — Вас ожидает милость короля и, быть может, на мгновение изменившая вам любовь...

— Человек ты или нет, но если у тебя есть в груди нечто похожее на сердце, — ответил узник, — спаси его; он чистейшее из созданий божьих. Только вели вынести его отсюда во сне, ибо, стоит ему проснуться, и ты не совладаешь с ним.

— А на что он мне? — спросил, смеясь, капуцин. — Мне нужны вы и ваше покровительство.

Запальчивый Сен-Мар вскочил и, схватив Жозефа за руку, грозно глянул ему в лицо.

— Я унижил своего друга, прося тебя за него, идем же, злодей! — сказал он, приподнимая стенной ковер, который отделял его покой от комнаты друга. — Идем, и посмей усомниться после этого в преданности и в бессмертии души!.. Сравни тревогу своего торжества со спокойствием нашего поражения, сравни низость своего могущества с величием нашей неволи и свое кровавое бодрствование со сном этого праведника.

Одинокая лампа освещала де Ту. Молодой человек все еще стоял на коленях перед большим черного дерева распятием, — по-видимому, он уснул во время молитвы; голова его была откинута, и закрытые глаза, казалось, взирали на крест; на губах блуждала спокойная неземная улыбка, обессиленное тело прислонилось к скамеечке, покрытой ковром.

— Господи Иисусе, как сладко он спит! — проговорил пораженный капуцин, по забывчивости примешивая к своим мерзким речам святое имя, которое он привык произносить каждый день.

Тут он внезапно отшатнулся и поднес руку к глазам, словно ослепленный небесным видением.

— Брр... Все это ребячество, — сказал он, встряхивая головой и проводя рукой по лицу. — Но ему можно поддаться, если начнешь размышлять... Эти мысли хороши, как дурман, для успокоения... Но дело не в этом: скажите, да или нет?

— Нет, — ответил Сен-Мар, выталкивая капуцина за дверь, — я не хочу больше жить и не раскаиваюсь, что вторично теряю де Ту, ибо он тоже отказался бы от жизни, купленной ценой преступления; не для того он сдался в Нарбонне, чтобы бежать из Лиона.

— Разбудите же его, сюда идут судьи, — раздался злобный, насмешливый голос взбешенного капуцина.

В ту же минуту, при свете факелов, вошли вслед за отрядом шотландских стрелков четырнадцать судей

в длинных мантиях, лиц которых почти не было видно. Разделившись на две группы, они сели в полном молчании по обе стороны просторной камеры; это были комиссары, уполномоченные кардиналом вести торжественный и зловещий процесс, — кардинал Ришелье, будучи в Тарасконе, лично выбрал и внес в списки имена этих надежных и преданных ему людей. По его приказу, верховный судья Сегье самолично прибыл в Лион, *дабы избежать*, говорится в наказах или повелениях, которые Ришелье посылал королю Людовику XIII через Шавиньи, *«дабы избежать всяких неурядиц, могущих произойти, если его там не будет. Г-н Марийак, — добавляет он, — был в Нанте на процессе Шале*»*. Г-н Шато-Неф присутствовал в Тулузе при казни г-на де Монморанси; г-н де Белиевр был в Париже на процессе г-на де Бирона. Высокое положение этих господ и разумение ими всех тонкостей правосудия весьма нам необходимы».

Итак, верховный судья Сегье спешно приехал на вызов; но в Лионе он получил приказ не являться в суд, дабы на него не повлияли воспоминания о его давнем расположении к узнику, с которым он виделся лишь с глазу на глаз. Прежде всего комиссары и он сам торопливо выслушали трусливые показания, данные герцогом Орлеанским в Вильфранше, в Божоле и затем в Биве в двух лье от Лиона, куда этот трусливый вельможа прибыл наконец по повелению кардинала, растерянный, дрожащий, с несколькими слугами, которых ему оставили из жалости, и под зоркой охраной французских и швейцарских стрелков. Кардинал заранее определил роль Гастона и продиктовал ему слово в слово все ответы; и в награду за эту покорность его избавили, вопреки установленному порядку, от тяжелой очной ставки с господами де Сен-Маром и де Ту. Затем верховный судья и комиссары допросили герцога Буйонского и, собрав нужные сведения, обрушились на двух молодых подсудимых, снасти которых никто не хотел. История донесла до нас лишь имена государственных советников, сопровождавших Пьера Сегье, имена остальных чиновников не сохранились, известно только, что среди них было шесть человек от гренобльского парламента и двое председателей суда. Во главе их стоял судья-докладчик, рекетмейстер Лобардемон, во всем ими руководивший. Жозеф что-то

часто и подобоострастно говорил судьям на ухо, исподлобья, с жестокой насмешкой посматривая на Лобардемона.

Было решено, что кресло послужит скамьей подсудимых, и все умолкли, чтобы выслушать ответы Сен-Мара.

Он сказал тихим, спокойным голосом:

— Передайте господину верховному судье, что я мог бы по праву обратиться в парижский парламент с просьбой об отводе назначенных судей, ибо среди них есть два моих врага, а во главе их стоит один из моих друзей, сам господин Сегье, которого я некогда утвердил в его должности, но я избавлю вас, господа, от многих беспокойств, признав себя виновным в заговоре, мною одним задуманном и осуществленном. Я желаю умереть. Следовательно, мне больше нечего сказать о себе; но во имя справедливости, оставьте жизнь тому, кого сам король назвал честнейшим человеком Франции и кто умирает только из-за меня.

— Введите его, — приказал Лобардемон.

Двое стражников отправились за г-ном де Ту и тотчас же привели его.

Он вошел и степенно поклонился с ангельской улыбкой на губах.

— Наконец-то настал день нашей славы! — молвил он, обнимая Сен-Мара. — Мы заслужим царство небесное и вечное блаженство.

— Мы только что узнали, сударь, из уст самого господина де Сен-Мара, — сказал Лобардемон, — что вам было известно о заговоре.

Не поднимая глаз, де Ту ответил без малейшего смущения все с той же светлой улыбкой:

— Господа, я провел жизнь за изучением людских законов и знаю, что свидетельство одного из подсудимых не может служить к обвинению другого. Я мог бы повторить уже сказанное мною, а именно, что мне все равно не поверили бы, если бы я без всяких доказательств изобличил брата короля. Вы видите, следовательно, что я могу распоряжаться и жизнью своей, и смертью. Однако, рассмотрев оба эти выхода, я ясно понял, что, какова бы ни была отныне моя жизнь, она все равно будет несчастна после утраты господина де Сен-Мара; итак, я признаю и объявляю вам, что знал о заговоре; я сделал все возможное, дабы отвратить от

него господина де Сен-Мара. Он считал меня своим единственным и верным другом, и я не хотел предавать его, а потому осуждаю себя по законам, собственно-ручно записанным моим родителем, который, надеюсь, прощает меня.

При этих словах друзья крепко обнялись.

— Друг, дорогой друг мой, как сожалею я о твоей смерти, виновником коей являюсь!— воскликнул Сен-Мар.— Я дважды предал тебя, но ты узнаешь, как это произошло.

Де Ту стал целовать его и утешать.

— Сколь счастливы мы, что так кончаем жизнь свою,— сказал он, подняв глаза к небу.— С точки зрения человеческой, я мог бы жаловаться на вас, сударь, но одному богу известно, как я вас люблю! Чем только мы заслужили мученический венец и счастье умереть вместе?

Судьи не ожидали столь трогательной сцены и с удивлением смотрели друг на друга.

— Будь у меня хотя бы копьё,— слышался чей-то хриплый голос (это был старик Граншан, незаметно проскользнувший в камеру; от гнева глаза его налились кровью), уж я сумел бы защитить его светлость от всех этих чернокопийщиков.

Два алебардщика тотчас же молча приблизились к нему; он умолк, отошел к окну, выходившему на реку, в котором еще не видно было проблесков зари, и, казалось, перестал интересоваться тем, что происходит в комнате.

Однако Лобардемон, боясь, как бы судьи не разжалобились, сказал громким голосом:

— А теперь, по повелению его высокопреосвященства, этих господ надлежит подвергнуть допросу с пристрастием, иначе говоря, обычным и чрезвычайным пыткам.

Возмущенный Сен-Мар позабыл о смирении и, скрестив руки на груди, шагнул к Лобардемону и Жозефу, которые в ужасе попятились. Первый невольно поднес руку ко лбу.

— Разве мы в Лудене?— вскричал узник.

Но де Ту, подойдя к своему другу, взял его за руку и пожал ее; Сен-Мар спохватился и, обратив взор на судей, продолжал спокойно:

— Мне кажется это весьма жестоким, господа; человека моих лет и звания не должны подвергать подобным формальностям. Я все сказал и готов все повторить. Я принимаю смерть по доброй воле и с величайшей радостью, а потому допрос с пристрастиями не нужен. У людей, подобных нам, не вырвать тайны путем телесных страданий; мы сдались по собственному желанию и в назначенный нами самими час; мы сказали все, что вам требовалось для предания нас смерти, больше вы ничего не узнаете; мы получили то, что хотели.

— Что вы делаете, друг мой? — перебил его де Ту. — Он ошибается, господа, мы не отказываемся от мученичества, ниспосылаемого нам богом, мы сами требуем его.

— Но разве нужны вам эти постыдные пытки, чтобы войти в царство небесное? — спросил Сен-Мар. — Ведь вы и так мученик, добровольный мученик дружбы! Господа, я один могу знать важные тайны: они известны лишь руководителю заговора; прошу подвергнуть меня одного допросу с пристрастием, если с нами полагается обращаться здесь, как с самыми гнусными злодеями.

— Как милости прошу у вас, господа, — молвил де Ту, — не лишайте меня страданий, какие должен претерпеть и он; не для того я последовал за другом, чтобы покинуть его в этот неоцененный час и не сделать всего от меня зависящего, дабы войти вместе с ним в райскую обитель.

Во время этого спора Лобардемон и Жозеф тоже вступили в пререкания; Жозеф был против допроса с пристрастием, опасаясь, как бы пытки не заставили Сен-Мара рассказать о его недавнем посещении; Лобардемон же считал, что смерти узников мало для полноты его торжества, и настоятельно требовал пыток. Судьи окружили двух тайных советчиков великого министра и внимательно слушали их; сочтя, однако, по некоторым признакам, что капуцин пользуется большим влиянием, чем судья, они стали на его сторону и единодушно высказались против пыток, тем более что Жозеф сказал в заключение, понизив голос:

— Мне известны их тайны; эти тайны нам не нужны, — они бесполезны, да и нити их ведут слишком далеко. Господину обер-шталмейстеру остается выдать

только короля, а его другу — королеву; о таких вещах лучше не знать. К тому же они ничего не скажут; я хорошо их изучил: один будет молчать из гордости, другой — из благочестия. Оставим их в покое: пытки их искалечат, обезобразят; они не смогут идти, и это испортит всю церемонию; их надобно поберечь, чтобы они достойно предстали перед народом.

Последнее соображение одержало верх; судьи удалились для совещания с председателем суда. Выходя из темницы, Жозеф сказал Лобардемону:

— Я дал вам вволю натешиться здесь; теперь вы позабавитесь, совещаясь с остальными судьями, а потом допросите трех заключенных в Северной башне.

То были трое судей Урбена Грандые.

Сказав это, он громко расхохотался и вышел последним, толкая перед собой ошеломленного докладчика.

Едва только мрачное судилище удалилось, как Граншан, освобожденный от двух своих телохранителей, бросился к Сен-Мару и схватил его за руку.

— Во имя неба, ваша светлость, идемте на террасу, — сказал он, — и я кое-что вам покажу; во имя вашей матушки, идемте...

Но в эту минуту дверь отворилась, и на пороге появился престарелый аббат Кийе.

— Дети мои, несчастные мои дети! — воскликнул старец, плача. — Увы, почему меня допустили к вам только сегодня? Дорогой Анри, ваша матушка, ваш брат и сестра — здесь, они скрываются неподалеку...

— Замолчите, господин аббат, — прервал его Граншан, — идемте на террасу, ваша светлость.

Но старик-священник продолжал обнимать своего воспитанника и не давал ему ступить ни шагу.

— Мы надеемся, мы очень надеемся на помилование.

— Я откажусь от него, — ответил Сен-Мар.

— Мы уповаем только на милость божью, — проговорил де Ту.

— Замолчите, — сказал опять Граншан, — судьи идут.

В самом деле, дверь опять отворилась перед злове-

щей вереницей судей, среди которых недоставало Жозефа и Лобардемона.

— Господа, — воскликнул славный аббат, обращаясь к комиссарам, — я счастлив сообщить вам, что прибыл из Парижа и что никто не сомневается там в помиловании всех заговорщиков. Я видел у его величества самого герцога Орлеанского, а что до герцога Буйонского, то его показания благоп...

— Молчать! — крикнул лейтенант шотландской гвардии Сетон.

И все четырнадцать комиссаров, войдя в комнату, снова заняли свои прежние места.

Когда господин де Ту услышал, что зовут повытчика лионского парламента, чтобы огласить приговор, он поддался одному из тех порывов религиозного восторга, которые наблюдались лишь у мучеников и святых перед лицом смерти; и, сделав несколько шагов навстречу этому человеку, он воскликнул:

— *Quam speciosi pedes evangelizantium pasem, evangelizantium bona!*¹

Затем он взял Сен-Мара за руку и, по установленному обычаю, стал на колени с непокрытой головой, чтобы выслушать приговор. Д'Эффиа продолжал стоять, но никто не посмел его приневоливать.

Приговор был составлен в следующих выражениях:

Между генеральным королевским прокурором, истцом по делам об оскорблении величества, с одной стороны;

И господами Анри д'Эффиа де Сен-Маром, обер-италмейстером Франции, от роду двадцати двух лет, и Франсуа-Огюстом де Ту, членом королевского Совета, от роду тридцати пяти лет, заключенными в замке Пьер-Ансиз близ Лиона, ответчиками и обвиняемыми, с другой стороны;

На основании чрезвычайного следствия, произведенного вышепоименованным генеральным королевским прокурором по делу названных д'Эффиа и де Ту, показаний, допросов, признаний, отрицаний, очных ставок, а также подлинного текста договора, заключенного с Испанией; принимая во внимание:

¹ Сколь прекрасны стопы благовестящих о мире, благовестящих о добре! (лат.)

1. Что тот, кто посягает на особу королевских министров, считается по древним законам и конституциям императоров виновным в оскорблении величества;

2. Что, согласно третьему ордонансу благочестивого короля Людовика XI, всякий, кто не доносит о заговоре против государства подлежит смертной казни;

Комиссары, наряженные его величеством, признали вышеназванных д'Эффиа и де Ту виновными в оскорблении величества, а именно:

Вышеназванного д'Эффиа де Сен-Мара в заговорах, преступных замыслах, союзах и договорах, заключенных им с чужеземцами против государства;

Вышеназванного де Ту в том, что он знал об этих действиях;

В наказание за каковыя преступления подсудимые приговариваются к лишению всех званий и прав и к смертной казни посредством отсечения головы на эшафоте, который и будет воздвигнут на площади Терро в здешнем городе;

Объявляется, что все имущество осужденных, движимое и недвижимое, конфискуется и поступает в королевскую казну; а имущество, дарованное королем им лично, также возвращается оной по изъятии из него суммы в шестьдесят тысяч ливров на дела благотворительности.

Выслушав приговор, г-н де Ту воскликнул громким голосом:

— Слава тебе, господи, слава тебе!

— Смерть никогда меня не страшила, — спокойно молвил Сен-Мар.

Тогда, согласно правилам, г-н де Сетон, лейтенант шотландской гвардии, шестидесятишестилетний старик, заявил, что передает узников в руки г-на Томе, старшины лионских купцов, и взволнованно простился с ними; его примеру последовали все стражники, которые молча, со слезами на глазах, подходили к осужденным.

— Не плачьте, — говорил им Сен-Мар, — слезы бесполезны; лучше молитесь за нас и помните, что я не боюсь смерти.

Он пожал им руки, а де Ту обнял их. После чего воины вышли один за другим, с трудом сдерживая слезы и закрывая лицо плащом.

— Изверги!— воскликнул аббат Кийе.— Ведь в поисках оружия против узников им пришлось прибегнуть к арсеналу тиранов! Но почему меня так поздно допустили к ним!

— Вас допустили в качестве духовника, сударь,— тихо сказал один из комиссаров,— два месяца никому из посторонних не разрешалось входить сюда...

Как только большие двери были затворены и портьеры опущены, старик Граншан воскликнул:

— Идемте на террасу, ради бога!— И он увлек туда своего хозяина и де Ту. Престарелый священник, хромя, последовал за ними.

— Что тебе надобно от нас в такую минуту?— спросил Сен-Мар с серьезностью, полной снисхождения.

— Взгляните на город,— сказал верный слуга.

Утренняя заря только что окрасила небо. На горизонте появилась ярко-желтая полоса, и на фоне ее резко выступили темно-синие очертания гор; легкий туман еще стоял над Лионом, скрывая кровли домов и окутывая воды Соны и городские цепи, протянутые от одного берега к другому. Свет нарождавшегося дня озарял золотым пламенем лишь колокольни Ратуши и Сен-Низье в Сите, монастыри кармелиток и Девы Марии на окрестных холмах и крепость Пьер-Анзис. Слышался радостный перезвон церковных колоколов в монастырях и селах. Одни тюремные стены хранили молчание.

— На что же прикажешь нам любоваться;— спросил Сен-Мар.— На красоту долин, на богатство городов или на покой этих селений! Увы, друзья мои, повсюду таятся страсти и горести, подобные тем, которые привели нас сюда!

Престарелый аббат и Граншан нагнулись над парапетом и взглянули в сторону реки.

— Туман: ничего не видно,— сказал аббат.

— Как медлит своим появлением наше последнее солнце!— проговорил де Ту.

— Не видите ли вы на том берегу, у подножья скалы, белый домик, он стоит между Алинкурскими воротами и бульваром Сен-Жан?— спросил аббат.

— Я ничего не вижу, кроме сероватых крепостных стен,— ответил Сен-Мар.

— Все скрывает проклятый туман!— продолжал Граншан; старик по-прежнему стоял, наклонившись вперед, как моряк, перешагнувший через перила мола, чтобы рассмотреть парус на горизонте.

— Тише!— сказал аббат.— Кто-то разговаривает неподалеку.

В самом деле, из маленькой башни, прилепившейся к краю террасы, доносился невнятный, глухой, необъяснимый шепот. Башенка была не больше голубятни, и до сих пор узники не замечали ее.

— Неужели уже идут за нами?— спросил Сен-Мар.

— Оставьте, не обращайтесь внимания: это башня с потайными колодцами,— ответил Граншан.— Я два месяца брожу возле крепости и знаю, что, по крайней мере, раз в неделю оттуда бросают в воду заключенных. Подумаем лучше о нашем деле; я вижу свет вон там, в дальнем окошке.

Но, несмотря на весь ужас своего положения, узники с несокрушимым любопытством взглянули на башенку. Она выдавалась над пучиной, в которой бурлила зеленая вода,— это было нечто вроде бесполезного потока, случайного рукава Соны, проложившего себе путь между скалами на страшной глубине. Там среди пены быстро вращалось колесо давно заброшенной мельницы. Трижды послышался скрежет, похожий на шум подъемного моста, который внезапно опустился бы, ударившись о каменные стены, и каких-то три темных тюка один за другим упали в воду, подняв фонтан брызг.

— Боже милостивый, неужели это люди?— вскричал аббат, крестясь.

— Мне показалось, что в водовороте кружатся коричневые рясы,— проговорил Граншан,— это друзья кардинала.

Тем временем в башенке раздался ужасный крик, сопровождаемый кощунственным ругательством.

Тяжелый люк заскрежетал в четвертый раз. Кто-то с шумом упал в зеленую воду, и под его тяжестью заскрипело огромное мельничное колесо; одна из широких лопастей колеса сломалась; человек, зажатый между трухлявыми балками, показался над пеной, которая окрасилась кровью; дико крича, он дважды показался на поверхности вместе с колесом и пошел ко дну. Это был Лобардемон.

Сен-Мар в ужасе попятился.

— Такова воля провидения, — сказал Граншан, — Урбен Грандые предсказал его смерть три года тому назад. Но время дорого, господа, не стойте здесь; он это или другой, не все ли равно — эти мерзавцы того и гляди сожрут друг друга, как пауки в банке. Но постараемся вырвать у них самый лакомый кусок. Слава богу, вот и сигнал! Мы спасены: все в порядке! Скорее сюда, господин аббат. Видите белый платок в окне? Наши друзья готовы.

Аббат тотчас же схватил за руки обоих узников и увлек их на ту сторону террасы, откуда они вначале обозревали окрестности.

— Выслушайте меня, — сказал он им, — и знайте, что ни один из заговорщиков не пожелал воспользоваться убежищем, которое вы им предоставили; многие из них поспешили, перерядившись, в Лион; они не поскупились на золото, и никто их не выдаст; решено напасть на вашу стражу и освободить вас. Это произойдет, когда вас поведут на казнь; сигнал подадите вы, Сен-Мар, надев шляпу в знак того, что пора начинать.

Добрый аббат рассказал, то плача, то улыбаясь своим надеждам, что после ареста его воспитанника он поспешил в Париж; все действия кардинала были окружены глубочайшей тайной; никто не знал места заключения обер-штальмейстера, и многие считали, что он сослан; когда же стало известно о полюбовном соглашении короля с Гастоном Орлеанским и герцогом Буйонским, все поверили, что жизнь остальных заговорщиков спасена, и о заговоре перестали говорить, — замешанных в нем было мало, да и само дело удалось замять. В Париже даже порадовались, узнав, что Седан и весь седанский край присоединены к королевству в обмен на *милостивый указ*, пожалованный герцогу Буйонскому, признанному невиновным, как и Гастон Орлеанский; все так превосходно уладилось, что парижане восхищались ловкостью кардинала и его милосердием к заговорщикам, которые якобы требовали его смерти. Ходили даже слухи, что он устроил побег Сен-Мару и де Ту и великодушно позаботился об их переправе за границу, после того как смело арестовал обоих посреди перпиньянского лагеря.

В этом месте рассказа Сен-Мар позабыл о смирении и, стиснув руку своего друга, воскликнул:

— *Арестовал?! Неужели надо отказаться даже от чести добровольной сдачи в плен? И всем пожертвовать, вплоть до уважения потомков?*

— Это желание тоже было суетным, — заметил де Ту, приложив палец к губам, — тише, выслушаем аббата до конца.

Не сомневаясь, что спокойствие молодых людей вызвано их радостью при мысли о скором побеге, и видя, что солнце еще не вполне рассеяло утренний туман, священник невольно поддался удовольствию, которое испытывают все старики, когда им случается рассказывать новости, даже огорчительные для слушателей. Он поведал, сколько им было потрачено труда, чтобы обнаружить убежище своего воспитанника, неизвестное ни при дворе, ни в городе, ибо имя Сен-Мара боялись произносить хотя бы шепотом. Он узнал о заключении обер-шталмейстера в крепости Пьер-Ансиз лишь из уст самой королевы, которая сообразовала прислать за ним и поручила передать это известие маркизе д'Эффиа и всем участникам заговора, прося сделать отчаянную попытку для освобождения их молодого вождя. Анна Австрийская даже отважилась послать в Лион множество вооруженных дворян из Оверни и Турени, чтобы содействовать этому смелому предприятию.

— Добрая королева очень плакала, когда я был у нее, и говорила, что готова пожертвовать всем своим имуществом, лишь бы вас спасти; она горько упрекала себя за какое-то письмо, — право, не знаю, какое. Говорила о благе Франции, но не объяснила, в чем оно состоит. Она мне сказала, что восхищается вами и закликает вас искать спасения, хотя бы из жалости к ней, ибо в противном случае вы оставите ей в удел вечные угрызения совести.

— Она ничего больше не сказала? — прервал его де Ту, поддерживая побледневшего Сен-Мара.

— Ничего, — ответил старик.

— И никто не говорил с вами обо мне? — спросил обер-шталмейстер.

— Никто, — сказал аббат.

— Хотя бы она мне написала! — молвил Анри вполголоса.

— Вспомните же, отец мой, что вас послали сюда как исповедника!— заметил де Ту.

Между тем престарелый Граншан упал к ногам Сен-Мара и, теребя его за одежду, звал на другую сторону террасы.

— Ваша светлость... господин... мой добрый господин,— кричал он прерывающимся голосом,— вы видите их? Вон там... это они... они...

— Но кто же, мой старый друг?— спросил его Сен-Мар.

— Как кто? Великий боже! Взгляните на то окно, разве вы их не узнаете? Там ваша матушка, сестра, брат.

В самом деле, при свете наступившего утра вдали можно было разглядеть женщин, махавших белыми платками; одна из них, одетая во все черное, простирала руки по направлению к тюрьме, порой она удалялась в глубь комнаты, видимо, для того, чтобы собраться с силами, затем ее снова подводили к окну, и она то воздевала руки, то прикладывала их к груди.

Сен-Мар узнал свою мать, свою семью, и силы на мгновение покинули его. Он склонил голову на грудь друга и заплакал.

— Сколько же раз придется мне умирать?!— воскликнул он.

Он помахал в ответ на приветственные знаки родных и сказал престарелому аббату:

— Скорее идемте вниз, отец мой; я исповедаюсь вам, и вы мне скажете перед судом всевышнего, стоит ли проливать кровь из-за тех дней, которые мне еще дано прожить.

И Сен-Мар поведал богу то, что было известно ему одному и Марии Мантуанской об их тайной и несчастной любви. «Он вручил своему исповеднику,— говорит священник Даниель,— портрет знатной дамы, обрамленный бриллиантами, кои завещал продать, а деньги употребить на дела благочестия».

Господин де Ту, исповедавшись, написал письмо. «После чего (рассказывает его духовник) он сказал: *Вот последние мои помыслы, обращенные к миру: отправимся в царство небесное.* И, расхаживая по комнате крупными шагами, он во весь голос, с непостижимым духовным жаром читал псалом *Miserere mei*,

*Deus*¹ и столь сильно вздрагивал, что как бы отрывался от земли и готовился выйти из телесной своей оболочки. При сем зрелище стражники онемели и дрожали все до одного от почтения и ужаса».

Двенадцатого сентября 1642 года в Лионе царил мир и тишина, когда на заре из всех городских ворот стали сходитья и съезжаться, к великому удивлению жителей, пехотные и кавалерийские войска, которые, как было известно, стояли лагерем и на квартирах весьма далеко от города. Французские и швейцарские стрелки, помпадурские полки, тяжело вооруженные всадники Моревера и карабинеры Ларока — все двигались в полном молчании по улицам; приставив мушкеты к луке седла, кавалеристы безмолвно окружили замок Пьер-Ансиз; пехотинцы выстроились в два ряда по берегам Соны, от ворот крепости до площади Терро — обычного места казни.

Четыре роты лионских буржуа, называемых *Знаменосцами*, — человек тысяча сто — тысяча двести, «были построены на площади Терро, — говорится в дневнике Монтрезора, — да так, что свободным осталось только пространство, насчитывающее с каждой стороны шагов восемьдесят, куда не допускали никого из посторонних.

Посреди пространства сего был воздвигнут эшафот семи футов вышиною, занимавший около девяти квадратных футов, а посреди него, немного ближе к переднему краю, поставили столб, вышиною в три фута или около того, перед коим поместили плаху в полфута вышиною, так что главный фасад или перед эшафота смотрел на скотобойню Терро, в сторону реки Соны; к оному эшафоту со стороны Дам де Сен-Пьер приставили лесенку в восемь ступеней».

Имена узников не были известны в городе; неприступные стены крепости хранили молчание, пропуская людей лишь по ночам, а в ее глубоких подземельях, на расстоянии каких-нибудь четырех футов друг от друга, порой годами томились отец и сын и даже не подозревали об этом. Велико же было изумление лионцев при виде столь пышных приготовлений, и люди стали сбес-

¹ Сжался, господи (лат.).

гаться со всех сторон, не зная, идет ли речь о празднестве или казни.

Тайну, сохраненную агентами министра, не менее тщательно берегли и заговорщики, ибо они рисковали в этом деле головою.

Нарядившись солдатами, рабочими и бродячими комедиантами и пряча под одеждой кинжал, Монтезор, Фонтрай, барон де Бово, Оливье д'Антрег, Гонди, граф дю Люд и адвокат Фурнье разместили среди толпы более пятисот дворян и слуг, переодетых, как и они; на дороге в Италию были приготовлены лошади, и несколько заранее купленных лодок стояли на якоре у берега Роны. Молодой маркиз д'Эффиа, старший брат Сен-Мара, одетый картезианским монахом, сновал в толпе, беспрестанно переходя от площади Терро к домику, где скрывались его мать и сестра вместе с г-жой де Понтак, сестрой несчастного де Ту; он успокаивал их, внушал им надежду и снова присоединялся к заговорщикам, чтобы удостовериться, готовы ли они.

Рядом с каждым солдатом, стоявшим в цепи, находился человек, который должен был его заколоть.

Огромная толпа напирала сзади на шеренгу солдат, прорывала их ряды и оттесняла все дальше и дальше. Испанец Амбросио, слуга Сен-Мара, переодетый каталонским музыкантом, взял на себя капитана копеечников и вступил с ним в спор, притворяясь, будто не хочет прекращать игру на шарманке. Словом, каждый заговорщик был на своем посту.

Аббат де Гонди, Оливье д'Антрег и маркиз д'Эффиа оказались возле торговых рыбой и устрицами, которые громко кричали и спорили. Кумушки ругали одну из своих товаров, более молодую и робкую, чем остальные. Брат Сен-Мара подошел к ним поближе, чтобы узнать, из-за чего они ссорятся.

— Ну зачем такому честному человеку, как Жан Леру, рубить головы двум христианам? Неужто потому, что он мясник? Я его жена и не потерплю этого, уж лучше...

— Что ты там мелешь, — говорили ей подруги, — какая тебе разница, съедобное ли мясо он рубит? Зато получишь сто экю, а на такие деньги всех троих ребят наново оденешь. Ну и посчастливилось тебе, что муженек твой мясник. Пользуйся же, голубушка, тем, что

господь бог посылает тебе по милости его высокопресвященства.

— Отстаньте, отвяжитесь,— продолжала молодая женщина,— не нужны мне такие деньги. Я видела в окно этих прекрасных молодых людей: они смиренные, как ягнята.

— А разве ягнят и телят не режут?— спросила женщина по фамилии Лебон.— Жалость, право, что такое счастье привалило нашей дурехе! Да еще из рук преподобного капуцина!

— Каким страшным делам радуется чернь! — неодуманно сказал Оливье д'Антрег.

Женщины услышали его слова и возмутились.

— Скажите пожалуйста, *чернь!*— говорили они.— А он-то сам кто такой, этот паренек, перемазанный известкой?

— Разве не понимаете, что это переодетый дворянчик?— воскликнула одна из них.— Взгляните на него — сразу видать — белоручка.

— Да, да, это какой-нибудь заговорщик из благородных; меня так и подмывает сбегать за начальником караула, пусть-ка молодчика арестуют.

Аббат де Гонди понял всю опасность положения и с ухватками истого столяра, в куртку и фартук которого он вырядился, набросился на Оливье и схватил его за шиворот.

— Что правда, то правда!— воскликнул он.— Этот лентяй вечно отлынивает от работы. Вот уже два года, как отец отдал его в ученье, а ему и горя мало, знай себе расчесывает свои белокурые кудри,— видно, девчонкам хочет понравиться. Ну же, марш домой!

Аббат ударил Оливье деревянной рейкой и, подталкивая его в спину, провел сквозь толпу и занял наблюдательный пост в другом месте. Он пожурил ветреного пажа и велел ему показать письмо, которое тот должен был передать г-ну де Сен-Мару тотчас же после его освобождения. Оливье два месяца протаскал это письмо в кармане.

— Оно переходило из рук в руки,— сказал паж,— и кавалер де Жар, выйдя из Бастилии, переслал мне его по просьбе одного из заключенных.

— В письме содержится, быть может, какая-нибудь тайна, важная для нашего друга,— заметил Гонди.— Я распечатаю письмо, вам следовало бы подумать об

этом раньше. Ба, да это от старика Басомпьера! Прочтем, что он пишет.

Любезное дитя мое,

Я узнал в глубине Бастилии, где все еще обретаюсь, что вы злоумышляете против тирана Ришелье, который непрестанно унижает наше доброе старое дворянство и парламент и подрывает основы, на коих зиждется государство. Я узнал, что дворяне облагаются податью и что мелкие людишки-судьи выносят им приговоры вопреки привилегиям, присущим самому званию дворянина, что их призывают в ополчение вопреки стародавним обычаям...

— Старый болтун!— прервал аббата де Гонди паж, громко расхохотавшись.

— Он не так глуп, как вы думаете; только отстал немного.

Я всем сердцем одобряю сей великодушный проект и прошу вас предварять меня обо всем.

— Так изъяснились еще при прежнем короле!— воскликнул Оливье д'Антрег.— Не мог он написать: *Доводить до моего сведения все происходящее*, как это принято теперь.

— Не мешайте мне читать, черт возьми!— проговорил аббат.— Через сто лет станут также насмехаться над нашим слогом.

Он продолжал:

Невзирая на мой почтенный возраст, я все же могу помочь вам советом, рассказав, что со мной произошло в тысяча пятьсот шестидесятом году.

— Право, мне некогда читать эту чепуху. Посмотрим, что там, в конце...

Когда я думаю о последнем обеде у госпожи д'Эффия, вашей матушки, и вспоминаю о том, что случилось со всеми сотрапезниками, мною овладевает глубокая печаль. Несчастный Пюи-Лоранс умер в Венсенской темнице от горя, что покинут его высочеством; де Лоне убит на дуэли, и я скорблю о его участи; ибо, хотя я не гораздо доволен своим заточением, он арестовал меня

весьма учтиво, и я всегда почитал его человеком галантным. Что до меня, я останусь в темнице до конца жизни господина кардинала; недаром, любезное дитя мое, нас было тринадцать за столом: никогда не следует смеяться над старыми поверьями. Благодарите бога, что с вами одним не приключилось никакой беды...

— Опять попал пальцем в небо! — сказал Оливье, смеясь от души; на этот раз даже аббат Гонди не мог не улыбнуться.

Они разорвали бесполезное письмо, боясь, что оно повредит несчастному маршалу, если попадет в чужие руки, и приблизились к площади Терро и цепи стражников, на которых им предстояло напасть, как только юный узник подаст условный сигнал.

С удовлетворением увидели они, что все друзья на посту и, по собственному их выражению, готовы пустить в ход пожи. Теснясь кругом заговорщиков, народ помимо воли благоприятствовал их замыслам. Рядом с аббатом появилась стайка девушек в белых вуалях и платьях; они шли к причастию, и монахини, надзиравшие за ними, решили, как и весь народ, что здесь готовится торжественная встреча какого-нибудь вельможи, и позволили своим воспитанницам взобраться на широкие каменные плиты, наваленные позади солдат. Девушки встали на них с грацией, свойственной их возрасту, подобные двадцати прекрасным статуям на едином пьедестале. Их можно было принять за весталок, которые присутствовали в древности на кровавых состязаниях гладиаторов. Они перешептывались, посматривали вокруг, смеялись и краснели все вместе, как то свойственно детям.

Аббат де Гонди заметил с досадой, что Оливье опять готов позабыть о роли заговорщика и о своей одежде каменщика; юный паж бросал на девушек выразительные взгляды и держался слишком изысканно для человека из народа; он даже осмелился приблизиться к ним, предварительно взбив рукой свои белокурые волосы, но тут, к счастью, появились Фонтрай и Монтезор в мундирах швейцарских солдат; за ними следовали молодые дворяне, одетые корабельщиками, с окованными железом палками в руках; лица их покрывала

бледность, не предвещавшая ничего доброго. Раздались звуки труб, игравших марш.

— Станем здесь, — сказал один из них, — они пройдут неподалеку отсюда.

Мрачный вид и суровое молчание этих зрителей до странности не вязалось с веселыми любопытными взглядами девушек и их детскими речами.

— Какое красивое шествие! — восклицали они. — Здесь человек пятьсот в латах, в красных мундирах, верхом на прекрасных конях; смотрите, у всадников желтые перья на шляпах!

— Это чужеземцы, каталонцы, — пояснил один из французских стражников.

— Кого же они сопровождают? — продолжали шептать девушки. — Какая красивая золоченая карета, но в ней никого нет. А вот трое пеших, куда они идут?

— На смерть! — сурово сказал Фонтрай, и все умолкли.

Слышно было лишь мерное цоканье копыт, но вдруг лошади остановились из-за задержки, которая случается в каждой процессии. И все увидели тогда скорбное, необычное зрелище. Рыдающий старик с тошнурой еле шел, опираясь на двух красивых, пленительных молодых людей, которые, держась за руки за его согбенной спиной, свободной рукой поддерживали его под локоть. Тот, кто шел справа от старца, был одет во все черное; лицо его было серьезно, глаза опущены. Другой, много моложе на вид, выделялся пышностью своего одеяния; на нем была куртка голландского сукна со сборчатыми вышитыми рукавами и отделкой из широких золотых кружев, стянутая в талии наподобие дамского лифа; штаны из черного бархата с пальмовыми ветвями, шитыми серебром, серые сапожки на красных каблуках с золотыми шпорами и алый плащ на золотых пуговицах дополняли его наряд, подчеркивая гибкость и изящество юношеского стана. Печально улыбаясь, он раскланивался направо и налево через головы стоявших шеренгой солдат.

Старый убеленный сединами слуга следовал понурившись за своим хозяином и вел под уздцы двух боевых коней в траурных пополах.

Девушки не могли сдержать слез при взгляде на этих людей.

— Так, значит, этого несчастного старика ведут на казнь?— вскричали они.— А сыновья поддерживают его?

— На колени, барышни,— сказала одна из монахинь,— помолитесь за него.

— На колени!— крикнул Гонди.— Помолимся господу об их спасении!

Все заговорщики повторили: «На колени! На колени!»— и показали пример народу, который молча последовал ему.

— Теперь нам лучше видно каждое его движение,— шепотом сказал Гонди Монрезору.— Встаньте и посмотрите, что он делает?

— Он остановился и что-то говорит, кланяется нам: мне кажется, он нас узнал.

Окна, стены, крыши домов, выстроенные помосты, каждый бугорок, откуда открывался вид на площадь,— все было усеяно людьми всех сословий и возрастов.

Огромная толпа безмолвствовала; стояла такая тишина, что можно было бы услышать полет мухи, малейшее дыхание ветерка и шуршание вздымаемых им песчинок, но воздух был недвижим, и солнце сияло в голубом небе. Народ слушал. Процессия приблизилась к площади Терро; сперва застучал молоток по доскам, затем раздался голос Сен-Мара.

Бледный молодой картезианец просунул голову между двумя стражниками; заговорщики, как один, поднялись на ноги среди коленопреклоненного народа, каждый из них поднес руку к поясу или груди и еще ближе придвинулся к солдату, которого ему предстояло заколоть.

— Что он делает?— спросил картезианец.— Надел ли он шляпу?

— Он бросил шляпу на землю далеко от себя,— равнодушно ответил стрелок, к которому обратился монах.



Глава XXVI ПРАЗДНЕСТВО

Боже мой, что такое мир сей?

*Последние слова
господина де Сен-Мара*

В тот самый день, когда зловещее шествие двигалось по улицам Лиона и происходили сцены, описанные нами выше, в Париже было дано великолепное празднество со всей роскошью и безвкусицей того времени. Всемогущий кардинал пожелал одновременно поразить своей пышностью два первых города Франции.

На этот праздник, устроенный под предлогом открытия кардинальского дворца, был приглашен король и весь двор. Став владыкой империи с помощью силы, кардинал захотел пленить сердца и, утомленный властью, возымел надежду понравиться. В зале, нарочно выстроенном к этому великому дню, готовились представить трегедию «*Мирам*», что, по свидетельству Пелиссона, довело расходы на празднество до трехсот тысяч экю.

Вся гвардия первого министра несла караульную службу во дворце; четыре роты его мушкетеров и стражников стояли шпалерами вдоль просторных лестниц и при входе в длинные галереи кардинальского дворца. Этот блистательный *пандемониум*, где повсюду прославлялись пороки, был отдан в этот день в безраздельную власть гордыни. На каждой ступеньке стоял стрелок кардинальской гвардии, держа в одной руке факел, а в другой длинный карабин. Толпа приглашенных проходила среди этих живых канделябров, тогда как в большом саду, под густыми каштановыми деревьями — ныне они заменены арками, — стояли две роты легкой кавалерии, вооруженные мушкетами и готовые выступить по первому знаку, при первом опасении своего властелина.

Кардинала, сопровождаемого тридцатью восемью пажками, внесли в обитую пурпуром ложу напротив королевской, где за зелеными занавесками, смягчавшими яркий блеск светильников, полулежал Людовик XIII. При появлении кардинала придворные, занимавшие остальные ложи, встали; оркестр заиграл блестящую увертюру, и вход в партер был открыт для горожан и военных. Три бурных людских потока хлынули в театр и мгновенно заполнили его; стало так тесно, что от малейшего движения толпа начинала колыхаться, как колыхается хлебное поле под дуновением ветерка. Порой чья-нибудь голова описывала круг наподобие циркуля, словно ноги этого человека приросли к месту; нескольких зрителей вынесли без чувств. Против своего обыкновения, министр наклонился над барьером, раскланялся, и на его изможденном лице появилось некое подобие улыбки. Одни только ложи ответили на эту гримасу — партер безмолвствовал. Ришелье хотел показать, что не боится мнения публики, и велел пустить в свой новый дворец всех без разбора. Теперь он раскаивался в этом, но слишком поздно. В самом деле, беспристрастные зрители оставались столь же холодны, как и сама *трагедия-пастораль*; тщетно актрисы-пастушки, усыпанные драгоценными камнями, в пышных *фижмах*, украшенных гирляндами цветов, в сапожках на красных каблуках и с посошками, увитыми лентами, умирали от любви посреди длинной тирады в двести томных стихов; тщетно *совершенные любовники* (прекраснейший идеал той эпохи) морили себя голодом в одинокой пещере и велеречиво оплакивали смерть пастушек, прикрепляя к волосам ленты любимого цвета своих красавиц; тщетно придворные дамы являли все признаки восторга и, склонившись на барьер ложи, пытались даже изобразить весьма лестный обморок — хмурый партер не подавал иных признаков жизни, кроме непрерывного покачивания длинноволосых темных голов. Кардинал кусал себе губы и во время двух первых действий старался принять безразличный вид; но молчание, среди которого прошел третий и четвертый акт, нанесло такой удар его авторскому самолюбию, что он велел приподнять себя и в этой неудобной и смешной позе, наполовину высушившись из ложи, стал знаками обращать внимание придворных на наиболее удачные места и указывать,

когда следует аплодировать; некоторые ложи рукоплескали, но невозмутимый партер по-прежнему хранил молчание; предоставляя актерам играть трагедию для избранных, он упорствовал в своем безразличии. Тогда владыка Европы и Франции бросил испепеляющий взгляд в эту кучку людей, осмелившихся не восторгаться его детищем, и, вспомнив Нерона, пожалел, что у народа не одна голова.

Вдруг темный неподвижный партер ожил и, к великому удивлению лож и, особенно, самого министра, разразился аплодисментами; Ришелье признательно раскланялся; но тут же замер, обнаружив, что рукоплескания прерывают актеров всякий раз, когда они намереваются продолжать игру. Король велел отдернуть до сих пор спущенные занавески своей ложи, дабы понять, чем вызван этот бурный восторг; придворные перегнулись через барьеры лож; тут все заметили среди публики, сидящей на сцене, бедно одетого молодого человека, который с трудом отыскал себе свободное место; все взоры обратились к нему. Он казался очень смущенным и старался закрыться черным, слишком коротким плащом. *Сид! Сид!* — кричал партер, не переставая аплодировать. Испуганный Корнель убежал за кулисы, и вновь наступила тишина.

Кардинал, вне себя от гнева, приказал задернуть занавески ложи и отбыл в свои покои.

Вот тут-то разыгралась другая сцена, издавна подготовленная Жозефом, который перед отъездом из Парижа наставил на этот счет людей из свиты Ришелье. Кардинал Мазарини крикнул, что его высокопреосвященство проще всего вынести через длинное застекленное окно, которое находилось на высоте двух футов от пола и вело во внутренние дворцовые покои; он приказал распахнуть это окно, и пажы пронесли в него кресло. Тотчас же сотни голосов провозгласили исполнение великого пророчества Нострадамуса. Люди переговаривались вполголоса: *«Красный колпак — это монсеньер кардинал; сорок унций — это Сен-Мар; все кончится — это де Ту: ¹ какое значительное предзнаменование! Его высокопреосвященство властвует и над будущим и над настоящим!»*

¹ См. примечание на стр. 280.

Ришелье плыл на своем передвижном троне по длинным роскошным галереям, слушая сладостный шепот этой новой лести; но нечувствительный к шуму голосов, обожествляющих его гений, он отдал бы все их речи за одно слово, одно движение застывшего, непреклонного народа, пусть даже это слово было бы криком ненависти; ибо вопли можно заглушить, но как отомстить за молчание? Из рук народа можно вырвать оружие, но кто помешает ему ждать? Преследуемый назойливым призраком публичного мнения, мрачный министр почувствовал себя в безопасности лишь в глубине своего дворца, среди трепещущих, подобострастных придворных, поклонение которых вскоре отвлекло его от мысли о том, что горстка людей посмела не восхищаться им. Он приказал поместить свое кресло, словно королевский трон, посреди просторных дворцовых покоев и припался внимательно считать, сколько могущественных и покорных вельмож окружают его: он сосчитал их и восхитился собой. Главы всех знатных семей, князья церкви, председатели всех парламентов, губернаторы всех провинций, маршалы и главнокомандующие армией, нунций, послы всех государств, посланники и сенаторы многих республик неподвижно раболепно стояли вокруг, как бы ожидая его приказаний. Никто уже не смел выдержать его взгляд, никто не смел вымолвить слово ему наперекор, затанть не согласное с ним мнение или хотя бы возыметь самостоятельную мысль. Безмолвная Европа внимала ему в лице своих представителей. Время от времени он властно возвышал голос и бросал этому пышному сборищу благосклонное слово, как бросают медяк в толпу бедняков. И тогда по горделивому взгляду и самодовольной осанке можно было сразу узнать вельможу, осчастливленного подобной милостью; у всех на глазах он вдруг преобразался, словно поднявшись на ступень в иерархии власти, — таким неожиданным поклонением и лестью окружали придворные этого счастливец, мелкую радость которого кардинал едва ли замечал. Гастон Орлеанский и герцог Буйонский стояли в толпе, но министр не соблаговолил обратиться к ним; он намекнул только, что было бы неплохо разрушить несколько крепостей, долго говорил о необходимости мостовых и тротуаров на парижских улицах и сказал в двух словах Тюренну, что его следо-

вало бы послать в Италию, в армию принца Тома, где ему надлежит получить маршальский жезл.

В то время как среди шумного празднества в своем роскошном дворце Ришелье вершил одним мановением руки большие и малые дела Европы, королеве доложили в Лувре, что пора ехать к кардиналу, где король ожидает ее после представления. Серьезная Анна Австрийская никогда не присутствовала на спектаклях, но она не могла отказаться от празднества первого министра. Она была в домашней молельне, уже готовая к отъезду и убранная своими излюбленными жемчугами; стоя перед большим зеркалом рядом с Марией Маптуанской, она забавлялась тем, что собственноручно заканчивала туалет юной принцессы, одетой в длинное розовое платье, которая внимательно, но с несколько скучающим и капризным видом осматривала свой наряд.

Королева видела в Марии собственное свое творение и, более взволнованная, чем юная герцогиня, со страхом думала о той минуте, когда нарушится это недолговечное спокойствие, хоть и прекрасно изучила чувствительный, но ветреный характер Марии. Со времени разговора в Сен-Жермене и рокового письма, она была неразлучна с Марией и заботилась лишь о том, чтобы направлять ее по намеченному пути; ибо характерной чертой Анны Австрийской было непреодолимое упорство в достижении цели, которой она стремилась подчинить все события и все страсти с поистине геометрической точностью; и конечно, этому рассудочному, негибкому уму королевы следует приписать все беды ее регентства*. Зловещий ответ Сер-Мара, его арест, приговор — все было скрыто от принцессы Марии, первоначальная ошибка которой заключалась, надо сознаться, в самолюбивой досаде и минутном забвении. Однако у королевы было доброе сердце, и она горько раскаивалась в том, что опрометчиво написала столь решительные слова, и изо всех сил старалась смягчить их последствия. Рассматривая свой поступок с точки зрения блага Франции, она радовалась, что одним ударом задушила в зародыше междоусобную войну; которая могла бы поколебать самые основы государства; но когда она бывала со своей юной подругой и присматривалась к этому прелестному созданию, погубленному ею в цвете лет, ибо коронованный старец никогда не

возместит Марии ее невозвратимой утраты, когда она думала о безраздельной преданности и полном самоотречении двадцатидвухлетнего юноши, обладавшего столь благородным характером и почти неограниченной властью над страной, она жалела Марию и восхищалась в глубине души человеком, о котором поначалу так плохо судила.

Королеве хотелось хотя бы поведать той, которую он так самозабвенно любил и которая столь плохо его знала, сколь многого стоил этот человек; но до сих пор она все еще надеялась, что заговорщикам, собравшимся в Лионе, удастся его спасти, и тогда, зная, что он находится на чужбине, она все скажет своей милой Марии.

Герцогиня Мантуанская сперва опасалась войны, но, окруженная приближенными королевы, которые сообщали ей лишь новости, удобные их повелительнице, она узнала или подумала, будто знает, что заговор не состоялся, что король и кардинал почти одновременно вернулись в Париж, что Гастон Орлеанский, некоторое время находившийся в опале, вновь появился при дворе и что герцог Буйонский также 'вошел в милость после уступки им Седана; и если обер-штальмейстера еще не видно, то причиной тому люта я ненависть, которую питает к нему кардинал, и значительное участие, принятое им в заговоре. Кроме того, простой здравый смысл и врожденное чувство справедливости говорили ей, что, поскольку Сен-Мар действовал лишь под началом брата короля, его прощение не заставит себя ждать после прощения Гастона Орлеанского. Итак, все содействовало успокоению первоначальной тревоги ее сердца, но ничто не смягчало самолюбивой обиды на Сен-Мара, столь безучастного, что он даже не сообщил ей о своем убежище, неведомом самой королеве и всему ее двору, тогда как, по словам Марии, она думает только о нем. Впрочем, за последние два месяца балы и карусели чередовались с такой быстротой и столько неотложных *обязанностей* отвлекали ее, что у Марии оставалось лишь время туалета, когда она бывала почти одна, чтобы погоревать и пожаловаться на свою участь. Каждый вечер, правда, она начинала размышлять о неблагодарности и непостоянстве мужчин — мысль новая и глубокая, которая неизменно занимает молодую особу в возрасте первой любви, но она

всегда засыпала, не доведя эти мысли до конца; большие черные глаза Марии смыкались от усталости после бала прежде, чем эти раздумья успевали принять определенные очертания и вызвать в памяти ясные образы прошлого. Тотчас же после пробуждения Мария видела вокруг себя молодых придворных дам, и едва она успевала одеться, как надо было спешить к королеве, где ее ожидало неизменное, но уже менее неприятное поклонение польского воеводы; поляки успели научиться при французском дворе многозначительной сдержанности и красноречивому молчанию, которые так нравятся дамам, ибо они подчеркивают важность скрываемых тайн и возвышают женщину, которую поклонник слишком уважает, дабы посметь страдать в ее присутствии. Мария считалась нареченной короля Владислава; и она сама, надо сознаться, так свыклась с этой мыслью, что ей показалось бы чудовищным, если бы другая королева заняла польский трон; она без радости ожидала минуты, когда придется взойти на престол, однако заранее принимала дань уважения, оказываемую ей как будущей польской королеве. Вот почему она сильно преувеличивала, сама себе в том не признаваясь, мнимые недостатки Сен-Мара, о которых королева говорила ей в Сен-Жермене.

— Вы свежи сегодня, как розы этого букета, — заметила Анна Австрийская. — Ну как, готовы вы, дорогое дитя? Что за недовольная гримаска? Подойдите поближе, я застегну на вас сережку... Быть может, вам не нравятся топазы? Хотите другой убор?

— О нет, государыня! Я думаю, что мне не следовало бы наряжаться, ведь никто лучше вас не знает, как я несчастна. Мужчины очень жестоко поступают с нами! Я постоянно вспоминаю ваши слова, они вполне оправдались. Конечно, он не любил меня; ведь если бы он меня любил, то отказался бы от затей, которая так меня огорчала, я говорила ему об этом; помнится даже, и это самое важное, — прибавила она с серьезным и даже торжественным видом, — я предсказывала ему, что он станет бунтовщиком; да, государыня, *бунтовщиком*; я говорила об этом в церкви Святого Евстафия. Вы, ваше величество, были вполне правы, и я очень несчастна! В его сердце больше честолюбия, чем любви.

При этих словах глаза Марии увлажнились от досады, и слеза быстро скатилась по ее щеке, подобная жемчужине на лепестке розы.

— Увы, это так...— продолжала она, застегивая браслеты,— и главное доказательство тому, что он даже не сообщил мне, где находится, а ведь уже прошло два месяца с тех пор, как он отказался от своей затеи (вы же сами сказали мне, что устроили его побег). А я тем временем проливала слезы, умоляла вас вступить за него; я ловила каждое слово, из которого могла хоть что-нибудь узнать о его участи; я думала только о нем; и даже теперь я каждый день отказываюсь от польского трона; я хочу доказать, что храню верность до конца, что даже ради вас не нарушу своего слова, что моя привязанность гораздо сильнее его привязанности и что мы, женщины, стоим больше мужчин; но сегодня, мне кажется, я могу поехать на праздник,— там даже танцев не будет.

— Да, да, дорогое дитя, едемте скорее,— сказала королева, желая прекратить эту огорчавшую ее детскую болтовню, тем более что она сама была виновницей наивных заблуждений герцогини.— Едемте, вы увидите, какое согласие царит между королем, Гастоном Орлеанским и кардиналом, и, быть может, мы услышим какую-нибудь добрую весть.

И они отправились на празднество.

В длинных галереях кардинальского дворца обе знатные дамы были холодно встречены королем и министром, которые играли в шахматы на узком низком столике среди теснившихся вокруг них безмолвных придворных. Все дамы, прибывшие с королевой или после нее, разошлись по дворцовым залам, и вскоре в одном из них зазвучала сладостная музыка, служа аккомпанементом множеству частных разговоров, которые велись возле игорных столов.

Мимо королевы прошли с почтительным поклоном новобрачные — счастливый Шабо и прекрасная герцогиня Роганская; они, казалось, избегали людей и искали укромный уголок, чтобы поговорить о самих себе. Их встречали с улыбкой и смотрели им вслед с завистью: блаженство влюбленных сияло в их глазах и отражалось на лицах окружающих.

Мария проводила их взглядом.

— И все же они счастливы, — сказала она королеве, вспомнив об осуждении, которым подвергалась юная чета.

Анна Австрийская ничего не ответила и, опасаясь, как бы чье-нибудь опрометчивое слово не раскрыло печальной истины, встала со своей юной подругой позади короля. Вскоре к ним подошли Гастон Орлеанский, польский воевода и герцог Буйонский и непринужденно-шутливо заговорили с королевой. Бросив, однако, строгий, испытующий взгляд на Марию, польский посол сказал ей:

— Вы сегодня *поразительно* красивы и веселы.

Она была озадачена этими словами и тем, что он с мрачным видом отошел от нее; она обратилась к герцогу Орлеанскому, но тот промолчал, притворившись, будто не расслышал ее слов. Мария взглянула на королеву, и ей показалось, что она бледна и взволнована. Между тем никто не смел приблизиться к кардиналу-герцогу, который медленно обдумывал ходы; один Мазарини стоял, опершись на подлокотник его кресла, и следил за игрой с подобострастным вниманием, восторженно воздевая руки при каждом ходе кардинала. Напряженная работа мысли на мгновение развеяла удовольствие министра: он только что подвинул ладью, поставив *короля* Людовика XIII в трудное положение, называемое *патом*, при котором шахматный король, не подвергаясь непосредственной опасности, лишен возможности двигаться в каком бы то ни было направлении. Кардинал поднял глаза, посмотрел на противника и улыбнулся, скривив рот, ибо, по всей вероятности, не мог удержаться от некоего тайного сопоставления. Затем, видя потухшие глаза и бескровное лицо монарха, он сказал на ухо Мазарини:

— Ей-богу, мне кажется, что он отправится на тот свет раньше меня, — он очень изменился.

Но тут кардинал сильно закашлялся; он часто ощущал в груди острую, упорную боль; при этом зловещем признаке он поднес платок к губам и отнял его окровавленным; он незаметно бросил платок под стол и строго посмотрел вокруг, как бы для того, чтобы пресечь всякое беспокойство.

Людовик XIII, безразличный ко всему на свете, стал расставлять фигуры для следующей партии своей исхудалой трясущейся рукой. Эти двое умирающих

словно бросали жребий, чтобы узнать, когда наступит их последний час.

В эту минуту пробило полночь. Король поднял голову:

— Гм, гм, ровно двенадцать часов тому назад господин обер-шталмейстер, наш любезный друг, провел прескверную минуту, — холодно сказал он.

В ответ на эти слова рядом с ним раздался пронзительный крик; он содрогнулся и отпрянул в сторону, опрокинув шахматный стол. Мария Мантуанская лежала без чувств на руках королевы; Анна Австрийская вся в слезах сказала на ухо королю:

— Вы беспощадны, государь!

И она принялась по-матерински ухаживать за юной принцессой, вокруг которой теснились придворные дамы. Мария пришла в себя, но лишь для того, чтобы лить нескончаемые потоки слез. Как только она открыла глаза, Анна Австрийская сказала ей:

— Увы, это правда, бедное дитя мое, — вы польская королева.

Нередко случалось, что те же события, которые исторгали слезы в королевских дворцах, вызывали ликование за их стенами; ибо, по мнению народа, радость неизменно сопутствует празднествам. Пять дней длились увеселения в честь приезда министра, и каждый вечер под окнами кардинальского дворца и Лувра толпились парижане, — видно, последние смуты привили им вкус к общественной жизни; они бродили по улицам, присматриваясь ко всему с оскорбительным и даже враждебным любопытством, и то шествовали молчаливыми рядами, то беспричинно хохотали или улюлюкали. Ватаги молодых людей дрались на перекрестках или плясали на площадях, как бы выражая этим надежду на новые развлечения и безрассудную радость, при виде которой сжималось сердце. Следует заметить, что унылая тишина царила именно в тех местах, которые, по приказанию министра, были отведены для народных гуляний, и что люди презрительно проходили мимо освещенного фасада его дворца. Если здесь и раздавались возгласы, то лишь для того, чтобы насмешливо прочесть и перечесть надписи, которыми неизвестные писаки снабдили в пылу глупого угодни-

чества портрет кардинала-герцога. Один из этих портретов даже охраняла стража, но все же кто-то ухитрился издалека бросать в него камни. Кардинал был изображен на нем в форме генералиссимуса и в шлеме, осененном лаврами. Внизу имелась следующая надпись:

Да, герцог, Франция твою лелеет славу.
Как бога Марса, чтит Париж тебя по праву!

Однако эти прекрасные слова не могли убедить народ в том, что он счастлив; и в самом деле, он не больше любил кардинала, чем бога Марса, но участвовал в его празднествах, видя в них предлог для беспорядков. Весь Париж был в волнении; длиннородые мужчины несли факелы, кувшины, полные вина, и оловянные стаканы, которыми они громко чокались, и, держась за руки, пели в унисон резкими, грубыми голосами старинную песню Лиги:

Прошла непогода,
Пляши веселей!
Есть мир и свобода,
И нет королей.

Прогоним заботу,
Усталая голь.
Зовет на работу
Бобовый король.

Садись, Жан из Майна,
Ушли короли...

Жуткие толпища, оравшие во все горло эту песню, прошли по набережным к Новому мосту, отбрасывая к стенам высоких домов редких прохожих, которых привлекло на улицу любопытство. Двое молодых людей, закутанных в плащи, столкнулись в этой суতোлке и тут же узнали друг друга при свете факела, который горел у подножия недавно воздвигнутого памятника Генриху IV.

— Итак, вы снова в Париже, сударь? — спросил Корнель у Мильтона. — А я-то думал, вы в Лондоне.

— Слышите, сударь, что поет народ? Слышите? Что за ужасный припев:

Ушли короли...

— Это еще что, сударь, вы прислушайтесь к их разговорам.

— Парламентов больше нет, вельмож тоже нет,— говорил какой-то мужчина,— давайте плясать, теперь мы хозяева; старикашка кардинал скоро околочурится, останется лишь король да мы.

— Вы только послушайте, что говорит этот мерзавец!— продолжал Корнель.— Этим все сказано, вся наша эпоха — в этих словах.

— Неужели это дело рук вашего министра, которого у вас и даже у других народов называют великим? Не могу понять этого человека.

— Погодите, я все вам объясню,— ответил Корнель,— но выслушайте сначала последние строки письма, которое я получил сегодня. Станем поближе к фонарю, у статуи покойного короля. Мы сейчас одни, толпа отхлынула, слушайте:

Из-за оплошности, которая препятствует порой осуществлению самых благородных предприятий, нам не удалось спасти господ де Сен-Мара и де Ту. Следовало бы подумать, что, подготовленные к смерти долгим раздумием, они отвергнут нашу помощь; но такая мысль не пришла в голову ни одному из нас; мы слишком торопились их спасти и посему совершили еще одну ошибку, а именно рассеялись в толпе, чем лишили себя возможности принять внезапное решение. На горе свое, я стоял у самого эшафота и видел, как подошли к его подножью несчастные наши друзья, поддерживая бедного аббата Кийе, которому суждено было видеть смерть своего воспитанника, при рождении коего он присутствовал. Он рыдал, и сил его доставало лишь на то, чтобы лобызать руки обоих друзей. Мы все шагнули вперед, готовясь броситься на стражников, едва только последует условный сигнал; но тут я с болью увидел, что господин де Сен-Мар с небрежением бросил шляпу далеко от себя. Между тем наши приготовления заметили, и католонская стража, охранявшая эшафот, была удвоена. Я ничего более не видел, но слышал плач. После трижды повторенных, как то подобает, звуков трубы повывчик лионского суда, сидевший в седле неподалеку от эшафота, прочитал смертный приговор, который ни тот, ни другой не стали слушать. Господин де Ту сказал господину де Сен-Мару:

— Кто же из нас умрет первым, дорогой друг?

Помните ли вы о святом Гервасии и о святом Протасии?

— Будет так, как вы сочтете нужным,— молвил Сен-Мар.

Второй духовник, возвысив голос, сказал г-ну де Ту:

— Вы — старший.

— Истинно, так,— сказал господин де Ту и, обратившись к господину обер-шталмейстеру, продолжал: — Вы великодушнее меня, не укажете ли вы мне путь к славе небесной?

— Увы, я открыл вам путь к бездне,— ответил вала Сен-Мар,— но давайте бестрепетно примем смерть, и мы вкусим славу небесную и райское блаженство.

После сего он обнял друга и взошел на эшафот с проворством и легкостью, достойными удивления. Он обошел его кругом и оглядел сверху огромное скопление народа, выражение лица у него было уверенное, без тени страха, и держался он степенно и приветливо; затем он сделал еще один круг и, словно не узнавая никого из нас, поклонился на все четыре стороны с видом величавым и приятным; затем он стал на колени, поднял глаза к небу, воздавая хвалу богу и вручая ему свою душу; в то время, как он целовал распятие, священник велел народу молиться за него, а господин обер-шталмейстер, подняв руки с распятием и соединив их над головой, обратился с той же просьбой к народу. Затем он по доброй воле бросился на колени перед плахой и, обхватив ее руками, положил на нее голову, возвел глаза к небу и спросил у исповедника: «Отец мой, так ли я держу голову?» Пока ему обрезали волосы, он возвел очи горе и молвил, вздыхая: «Боже мой, что такое мир сей? Боже мой, прими мою мученическую смерть во искупление грехов моих». И, обратившись к палачу, который стоял рядом, но еще не вынимал топора из дрянного мешка, принесенного им с собой, он спросил: «Чего же ты ждешь, почему медлишь?» Духовник, приблизившись, дал ему крест, а он с невероятным присутствием духа попросил держать распятие у него перед глазами, которые он просил не завязывать. Я заметил трясущиеся руки престарелого аббата Кийе, поднимавшего распятие. В эту минуту голос, ясный

и чистый, как голос ангела, запел: Ave, maris stella¹. Среди полной тишины я узнал голос господина де Ту, ожидавшего у подножия эшафота; народ повторил за ним святыя слова молитвы. Господин де Сен-Мар крепче обнял плаху, и в воздухе сверкнул топор, сделанный на манер английских. По многоголосому крику, раздававшемуся на площади, в окна домов и на башнях, я понял, что топор опустился и голова скатилась наземь; по счастью, у меня достало сил подумать о загробной жизни и начать молитву за упокой его души; молитва моя слилась с той, которую громким голосом читал наш несчастный и благочестивый друг де Ту. Я поднялся с колен и увидел, что он устремился на эшафот с такой быстротой, словно летел на крыльях. Священник и господин де Ту вместе читали псалмы; осужденный молился с горячей верой серафима, мнилось, что душа его увлекает за собой тело в царство небесное; затем он преклонил колена и стал лобызать кровь Сен-Мара, как кровь мученика, но сам принял еще более мученическую смерть. Не знаю, было ли угодно господу послать ему милость сию, только я с ужасом увидел, что палач, вероятно напуганный первой казнью, неловко опустил топор на голову несчастного, который поднес к ней руку; народ испустил продолжительный вопль и ринулся к эшафоту, понося палача; негодяй окончательно смешался и нанес второй удар, от коего наш друг упал, раненный, на помост, тогда палач навалился на него, дабы поскорее прикончить. Другое странное событие испугало народ не менее, чем жуткое сие зрелище. Старый слуга господина де Сен-Мара, держа его лошадь, как то подобает на погребальном шествии, остановился у подножия эшафота и, словно в столбняке, смотрел на своего господина, вплоть до ужасного его конца, затем рухнул мертвый, словно пораженный тем же ударом, от которого скатилась голова казненного.

Я пишу вам наспех об этих горестных событиях с борта генуэзской галеры, где находятся вместе со мной Фонтрай, Гонди, Д'Антрег, Бово, дю Люд и другие заговорщики. Мы плывем в Англию, где будем ожидать, чтобы время избавило Францию от тирана, коего

¹ Славься, звезда морей (лат.).

мы не могли одолеть. Я навсегда оставляю службу у малодушного монарха, предавшего нас.

М о н т р е з о р.

— Вот как кончили свою жизнь двое молодых людей, которых вы видели некогда столь могущественными,— сказал Корнель.— Их последний вздох был также последним вздохом монархии; отныне во Франции будет царствовать лишь двор; старинная знать и сенаты уничтожены.

— Так вот каков этот «великий» человек!— воскликнул Мильтон.— Чего он добивается? Уж не создания ли республики, не для того ли он разрушил оплот вашей монархии?

— Не приписывайте ему слишком многого,— ответил Корнель.— Он хотел одного — царствовать до конца своих дней. Он трудился для настоящего, а не для будущего; он продолжал дело Людовика Одиннадцатого, но ни тот, ни другой не ведали, что творят.

Англичанин рассмеялся.

— Я полагал,— молвил он,— что подлинный гений поступает иначе. Этот человек поколебал то, что он должен был укрепить, и все им восхищаются! Мне жаль ваш народ.

— Не жалейте! — горячо воскликнул Корнель.— Человек умирает, но народ обновляется. Наш народ, сударь, наделен бессмертной силой, и ничто ее не сокрушит; воображение не раз увлечет его по ложному пути, но разум высшего порядка всегда поможет возобладать над заблуждениями.

Эти двое молодых и уже великих людей прохаживались, рассуждая таким образом, между статуей Генриха IV и площадью Дофин, посреди которой они на минуту остановились.

— Да, сударь,— продолжал Корнель,— я убеждаюсь каждый вечер, что великодушная мысль неизменно находит отклик в сердце французов, и каждый вечер ухожу домой, ошарашенный тем, что видел. Благодарность повергает бедняков ниц перед этой статуей доброго короля; как знать, какой памятник воздвигнет другая страсть рядом с этим? Как знать, куда жажда славы приведет наш народ? Как знать, не поставят ли на том месте, где мы с вами находимся, пирамиду, вывезенную с Востока?

— Эти тайны принадлежат будущему,— ответил Мильтон.— Я восхищаюсь, как и вы, вашим пылким народом, но боюсь, как бы он не повредил сам себе; кроме того, я плохо его понимаю и готов оспаривать, что он умен, когда он дарит своим восхищенным людям, подобных тому, кто сейчас правит вами. Жажда власти — суетная страсть, а этот человек снедаем ею, хоть и не имеет силы взять власть до конца. Ирония судьбы! Он тиран, подвластный другому господину. Этого колосса на глиняных ногах чуть было не свалил прикоснувшийся к нему пальцем ребенок. Разве таков настоящий гений? Нет, нет! Когда гений покидает горные сферы ради человеческой страсти, он должен, по крайней мере, полностью отдаться ей. Если ваш Ришелье ничего не желает, кроме власти, почему он не берет ее целиком, а заимствует у монарха, слабая голова которого кружится и никнет? Я скоро встречу с человеком, пока еще неизвестным, которым, мнится мне, владеет та же презренная страсть; но, по-моему, он пойдет дальше. Зовут его Кромвель.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 21. *Святой Людовик*. — Имеется в виду король Франции Людовик IX (1226—1270).

С. 24. «...этот надменный выскочка..». — Речь идет о кардинале Ришелье, который по происхождению принадлежал к среднему дворянству, а не к дворянской аристократии.

С. 35. «...поразивший тебя удар». — Король Генрих IV был убит католическим фанатиком Равальяком в 1610 г.

С. 40. *Людовик Великий* — Людовик XIV, король Франции (1643—1715).

С. 46. «...сторонники Лиги» — члены католической Лиги (1576), боровшиеся с гугенотами (французскими протестантами) во время религиозных войн (1560—1594) и выступавшие одновременно против королевского абсолютизма. Главой Лиги был герцог Гиз.

Король-бearnц — король Генрих IV (1589—1610) происходил из Беарна (провинция на юго-зап. Франции).

«...хотя кинжал и не дал королю поседеть...» — Генриха IV убили, когда ему было пятьдесят семь лет.

С. 48. *Дон Базилио* — персонаж средневековых театральных представлений; лгун, клеветник, интриган.

Нерон — римский император (54—68), известен своею жестокостью.

С. 56. «...из чина Престолов...». — Чины или разряды ангельские и их названия заимствованы здесь из пользовавшегося в средние века большим авторитетом сочинения Дионисия Ареопагита, или, вернее, Псевдодионисия, т. к. имя этого писателя-мистика первых веков христианства было псевдонимом. В сочинении об «Иерархии небесных сил» этот автор называет девять чинов ангельских, причем некоторые обозначены отвлеченными понятиями: Престолы, Господства, Власти. Собственные имена здесь обозначают ангелов, отпавших от бога и превратившихся в демонов.

С. 65. «...из чина Властей...». — См. прим. стр. 62.

Солецизм — ошибка против правил синтаксиса того или иного языка. Здесь «варваризмы и солецизмы» вообще ошибочные словоупотребления.

С. 86. *Господин Рони*, Максимилиан де Бетюн, герц. Сюлли — министр финансов короля Генриха IV; отличался большой бережливостью, освободил государственную казну от долгов.

С. 100. *Кончини* — временщик во времена регентства Марии Медичи (1610—1617) и муж ее фаворитки Леоноры Галиган, которая купила своему мужу за счет королевы маркизат Д'Анкр, Кончини, жадный и невежественный авантюрист, занял пост главы правительства, но его правление вызвало сильную оппозицию как со стороны аристократии, так и со стороны оттесненного от уп-

равления короля. В 1617 г. он был убит капитаном королевской гвардии Витри, который позже был возведен в звание маршала.

Аббат де Гонди, впоследствии кардинал де Ретц — политический деятель и писатель. Принимал участие в заговорах против Ришелье. Играл большую роль при Людовике XIV.

С. 104. *«А в Англии все еще заседает Долгий парламент»*. — События, о которых рассказывается в романе, происходят в то время, когда в Англии развертывалась буржуазная революция. Долгий парламент был создан 3.XI — 1640 г.

Страфффорд, Томас, граф, лорд Уентворт (1593—1641) — министр Карла I. По требованию Долгого парламента был предан суду и казнен.

С. 110. *Густав-Адольф* (1611—1632) — шведский король, вождь протестантских войск в Тридцатилетнюю войну и союзник Франции, поскольку он выступал против исконных врагов Франции Габсбургов, сидевших на престолах Испании и Германской Империи; убит при Люцене в 1632 г.

Католический король — король Испании.

«Христианнейший монарх» — король Франции. Здесь говорится о проекте отлучения от церкви французского короля за его союз с протестантскими князьями Германии и с Густавом-Адольфом.

Мазарини — итальянский политик (1602—1661), впоследствии фаворит королевы Анны Австрийской и первый министр Франции (с 1643 г.).

С. 118. *«Мы исцеляем только золотушных...»*. — Для этой эпохи характерна была вера в то, что короли исцеляют болезни путем возложения рук на больного. Считалось, например, что английские короли исцеляют проказу, французские — золотуху.

С. 126. *«...за удовольствие рискнуть своей жизнью пришлось бы поплатиться... головой»*. — Ришелье запретил дуэли во Франции под страхом смертной казни; кровь свою дворяне должны были, по его мнению, проливать только за короля и за Францию на войне.

С. 147. *Де Ту* Жак Огюст (1553—1617) — французский политический деятель, занимавший высшие судебные и административные должности. Отличался религиозной терпимостью. Его «Универсальная история» вызвала негодование католической церкви и была ею запрещена.

С. 160. *Брелан* — карточная игра.

С. 161. *«Вы могли утонуть в сточной канаве»*. — По свидетельству современников, Жозеф при осаде Ларошеля предложил проникнуть в крепость через сточные канавы.

С. 162. *«...я проведу повсюду тростью Тарквиния...»*. — Легендарный царь Древнего Рима Тарквиний Гордый, известный своей жесткостью, отдавал тайные приказы об уничтожении своих врагов, сбивая тростью головки цветов мака.

С. 163. *«...как к Иакову, спустилась бы с небес лестница...»*. — Библейская легенда о праотце Израиля Иакове, который видел во сне лестницу, спускающуюся с небес.

С. 165. *Князья мира* — так называли себя сторонники графа Суассонского, замышлявшие устранить Ришелье.

Кроканы — крестьяне, поднявшие восстание (кон. XVI в. — нач. XVII в.) против дворян, грабивших их во время религиозных войн во Франции. Их клич был: аух stoquants (на грызунов), откуда они и получили свое название.

С. 168. *Девора* — библейская героиня древних евреев, воительница.

С. 172. *Сисара*. — Согласно библейской легенде, Сисара был военачальником войска Ханаанского, разгромленного восставшими израильтянами. Сисара бежал, но погиб от руки конейки Иаили, вознившей в его висок кол.

С. 185. «...мы тоже не желаем соседствовать на треножнике «единства»...» — т. е. не желаем соблюдать обязательные правила эстетики классицизма: единства времени, места и действия.

«...отиял у короля сто дней царствования». — Речь идет о вторичном правлении Наполеона I, продолжавшемся около ста дней (20 марта — 22 июня 1815 г.).

С. 187. *Сите* — центральная часть Парижа, расположенная на острове, между двумя рукавами реки Сены; там же находится кафедральный собор города, собор Парижской богородицы.

С. 204. «Сто пятьдесят лет спустя...» — намек на Марию-Антуанетту (1755—1793), французскую королеву, жену Людовика XVI, казненную во время французской революции. Она была дочерью императрицы Марии-Терезии (Австрия).

С. 206. *Семела* — в древнегреческой мифологии дочь фиванского царя Кадма и возлюбленная Зевса, которая пожелала увидеть своего возлюбленного не в том виде, в каком он обычно появлялся, а во всем величии бога. Зевс явился в сверкании молний, испепеливших смертную Симелу.

С. 211. «*Астрейя г-на д'Юрфе*» — *Д'Юрфе* Оноре (1568—1625) — создатель французского пасторального романа; его роман «*Астрейя*» — сентиментальная пастушеская идиллия, изображающая условно-изысканную любовь пастушка Селадона к пастушке Астрее. Чувства героев и их язык отличаются крайней вычурностью и жеманностью.

С. 215. «*Увы, в наши дни тайные палаты Арсенала могут возникнуть, чем старинная магистратура времен Хлодвига...*». — Тайная канцелярия Ришелье, хочет сказать де Ту, теперь сильнее, чем парламент или старинные учреждения времен первого короля франков Хлодвига (V—VI в.). Де Ту в данном случае вспоминает сочинение одного из публицистов времени религиозных войн во Франции (XVI в.) Отмана, который в своем сочинении «*Франко-Галлия*» неосновательно доказывал, что такие учреждения, как Генеральные штаты или парламенты, возникли еще при Хлодвиге.

С. 216. *Марион Делорм* — блестящая куртизанка, в салоне которой встречались аристократы, деятели искусства и науки.

С. 241. «...он перечитывал жизнеописание Карла Пятого и, вообразив себя в монастыре св. Юста, служил по себе заупокойную обедню...». — После отречения от престола короля Испании и императора Священной Римской империи (XVI в.) бывший император Карл V поселился в монастыре св. Юста в Испании, где, как рассказывается в одной из хроник, он незадолго до своей смерти произвел репетицию собственных похорон.

С. 243. *Диана де Пуатье* — любовница короля Франциска I, после его смерти ставшая любовницей его сына, короля Генриха II.

С. 266. *Скюдери* — посредственный французский писатель, брат прециозной писательницы Скюдери Мадлен (1607—1701). Ее главное сочинение «*Клелия, или Римская история*» — псевдо-исторический, галантно-авантюрный роман, отличавшийся вычурным манерным языком.

С. 267. *Юный Поклеп* — Ж.-Б. Мольер, осмеявший в своей комедии «Смешные жеманницы» прециозный стиль салонов XVII в.

С. 268. «*Первые строфы поэмы...*». — Речь идет о поэме английского поэта Джона Милтона (1608—1674) «Потерянный рай».

С. 275. «*Друзья, что такое великая жизнь, если не замысел юных лет, выполненный в зрелые годы?*» — любимая мысль А. де Виньи, много раз повторяемая в его поэзии.

С. 276. «*Я видел Лигу...*» — Имеется в виду Католическая Лига (1576), которая была союзом католических вельмож, направленным против абсолютизма. Во главе ее стояли герцоги Гизы.

«*Война ради общественного блага...*» — выступление против Людовика XI (1461—1483) крупных феодалов, боровшихся против централизаторских устремлений этого короля. Реакционная сущность этого выступления была прикрыта лозунгом борьбы «за общественное благо».

Жак Клеман — фанатик, убивший французского короля Генриха III 1 августа 1589 г.

С. 277. *Ратисбонский договор*. — 13 октября 1630 г. было заключено соглашение, в силу которого Франция не должна была вмешиваться в дела Германской Империи и, в свою очередь, Германия не должна была вмешиваться в дела Франции. Соглашение было заключено французскими дипломатами вопреки желанию Ришелье, который вскоре расторг его, и в 1635 г. французские войска вступили в Германию.

С. 279. «*...он хочет стать патриархом Франции и главою галликанской церкви*». — Ришелье старался ограничить вмешательство папы в дела французской (галликанской) церкви. Отсюда обвинения его в желании стать патриархом и главою французской церкви.

С. 280. *Нострадамус* — знаменитый астролог XVI в.

С. 333. *Граф Эссекс* — командующий парламентской армией во время английской революции.

Карл Первый — английский король, глава контрреволюционных войск во время английской революции; его жена Генриетта-Мария Французская, сестра короля Людовика XIII, в это время отправилась в Европу искать помощи против восставшего народа.

Ферфакс Томас — главнокомандующий парламентской армией во время английской революции.

С. 334. «*В лагере индепендентов проповедуют республику...*». — *Индепенденты* — партия мелкого дворянства, ремесленников и мелких торговцев во время английской революции, возглавляемая Кромвелем; самое радикальное крыло этой партии требовало упразднения королевской власти в Англии.

«*Стюартам не везет...*». — Династия Стюартов сидела на английском престоле с 1603 г. В 1649 г. Карл I Стюарт был казнен.

С. 345. *Процесс Шале*. — Речь идет о заговоре против Ришелье. Шале был казнен в 1629 г.

С. 368. «*...негибкому уму королевы следует приписать все беды ее регентства*». — Регентство Анны Австрийской (1643—1661) ознаменовалось смутами Фронды.

С. СКАЗКИИ

Виньи Альфред де
В50 Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII: Роман/Пер. с фр. Е. Гунста, О. Моисеенко; Предисл. и прим. С. Сказкина.— Мн.: Маст. лит., 1989.— 383 с.

ISBN 5-340-00602-6.

В основу сюжета романа известного французского писателя Альфреда де Виньи (1797—1863) положен имевший место в 1642 году исторический факт заговора Сен-Мара, любимца короля Людовика XIII, против кардинала-министра Ришелье. Автор рисует колоритные типы представителей абсолютизма, душивших не только свободу, но и живые человеческие чувства, а также их противников — людей вольнолюбивых и честных.

4703010100—157
В————— БЗ 89—89
М 302(03)—89

ББК 84.4Фр

Литературно-художественное издание

ВИНЬИ АЛЬФРЕД де
СЕН-МАР,
или
Заговор во времена Людовика XIII
Р о м а н



Ответственный за выпуск *Ф. Д. Жичко*
Художник *В. А. Тарасов*
Художественный редактор *Е. М. Малышева*
Технический редактор *Г. П. Тарасевич*
Корректор *Л. П. Билова*

ИБ № 3395

Сдано в набор 12.01.89. Подп. к печати 14.07.89. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,69. Уч.-изд. л. 20,62. Тираж 450 000 экз. (2-й завод 200 001—250 000 экз.). Зак. 3074. Цена 3 р.

Издательство «Мастацкая літаратура» Государственного комитета БССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа, 220005, Минск, Красная, 23.

Фотонабор и верстка выполнены с использованием автоматизированной системы переработки текстовой информации АІККОРД, разработанной в УНИИПП, г. Львов.

